

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Филиппов Т. И.	Хомяков Д. А.
Св. Нил Сорский	Гиляров-Платонов Н. П.	Шарапов С. Ф.
Св. Иосиф Волоцкий	Страхов Н. Н.	Щербатов А. Г.
Иван Грозный	Данилевский Н. Я.	Розанов В. В.
«Домострой»	Достоевский Ф. М.	Флоровский Г. В.
Посошков И. Т.	Григорьев А. А.	Ильин И. А.
Ломоносов М. В.	Мещерский В. П.	Нилус С. А.
Болотов А. Т.	Катков М. Н.	Меньшиков М. О.
Пушкин А. С.	Леонтьев К. Н.	Митр. Антоний Храповицкий
Гоголь Н. В.	Победоносцев К. П.	Поселянин Е. Н.
Тютчев Ф. И.	Фадеев Р. А.	Солоневич И. Л.
Св. Серафим Саровский	Киреев А. А.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Муравьев А. Н.	Черняев М. Г.	Башилов Б.
Киреевский И. В.	Св. Иоанн Кронштадтский	Митр. Иоанн (Снычев)
Хомяков А. С.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Белов В. И.
Аксаков И. С.	Тихомиров Л. А.	Распутин В. Г.
Аксаков К. С.	Соловьев В. С.	Шафаревич И. Р.
Самарин Ю. Ф.	Бердяев Н. А.	
Погодин М. П.	Булгаков С. Н.	
Беляев И. Д.		

ТЕРТИЙ ФИЛИПPOB

**РУССКОЕ
ВОСПИТАНИЕ**

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2008

Филиппов Т. И. Русское воспитание / Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева. / Отв. ред. О. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 448 с.

В книге впервые после 1896 публикуются основные труды русского государственного деятеля и мыслителя, богослова и публициста славянофильского направления Т. И. Филиппова. Он считал, что основой русского воспитания должна быть любовь к Отечеству, которая «требует любви ко всему отечественному, ко всему, что относится к целостности Отечества». Основу воспитания составляет Церковь и русский язык. По мнению Филиппова, церковные Соборы и патриаршество делали Церковь живой действенной силой, обеспечивающей симфонию властей. Такой строй Церкви наиболее соответствовал национальным особенностям русского народа. Филиппов оказал большое влияние на мировоззрение русских писателей, и, прежде всего, А. Н. Островского и Аполлона Григорьева.

ISBN 978-5-902725-21-3

© Институт русской цивилизации, 2008.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тертий Иванович Филиппов был одним из тех деятелей политики и культуры, которые оказали огромное влияние на всю русскую жизнь конца XIX столетия. Выходец из социальных низов русской провинции, старообрядец по вероисповеданию, благодаря исключительно личным заслугам, без всякой протекции, Тертий Иванович сделал блестящую карьеру. Он был одним из самых высокопоставленных чиновников Российской империи, имея высший гражданский чин Действительного тайного советника (II классный чин, что соответствовало полному генералу среди военных и обер-камергеру среди придворных чинов и давало ему право титуловаться как «Ваше Высокопревосходительство»). Филиппов занимал должность Государственного Контролера, оказывавшего самое непосредственное влияние на политическое и экономическое развитие страны. Он был кавалером многих российских и иностранных орденов. Портрет Филиппова кисти И. Е. Репина находится в Русском музее в Петербурге.

И при этом Тертий Филиппов был другом композиторов М. П. Мусоргского, М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова, покровителем Ф. Шаляпина, давним соратником по борьбе за народность русского искусства драматурга А. Н. Островского, поэта и критика Аполлона Григорьева и писателей А. Ф. Писемского и Н. С. Ле-

скова. Более полутора десятка лет Филиппов переписывался с Константином Леонтьевым, на философские и политические взгляды которого он оказал большое влияние. Третий Филиппов дал также «путевку в жизнь» философам В. В. Розанову и А. И. Введенскому, историку А. В. Васильеву, социологу И. И. Каблицу (Юзову), некогда очень популярному драматургу В. П. Череванскому и еще ряду литераторов, которые работали под его руководством на государственной службе. Требовательный начальник, Филиппов, тем не менее, вполне одобрял внеслужебное художественное творчество своих подчиненных, обеспечивая им возможность публикации в ведомственных изданиях.

Третий Филиппов был одним из виднейших славянофилов, активно участвовавшим в издательской и культурной деятельности славянофильского движения. Без Третья Филиппова, активно пропагандировавшего русскую народную музыку, трудно представить себе развитие музыкальной культуры России того времени. Переписка Филиппова с Достоевским, Львом Тихомировым и Константином Леонтьевым дает очень много для понимания развития русской философской мысли. Кстати, Третий Филиппов оказался, наряду с Константином Победоносцевым, одним из немногих славянофилов, сделавших карьеру на государственной службе.

Третий Филиппов был крупным ученым в области церковной истории, и неслучайно стал в 1893 году почетным членом Академии наук. Вместе с тем Третий Филиппов также был почетным членом Императорского Географического общества, Общества истории и древностей российских. Он был и светским богословом, без которого трудно представить религиозную жизнь не только России, но и православного Востока в конце XIX столетия. Не случайно Филиппов был награжден право-

славным иерусалимским патриархом почетным званием епископа Гроба Господня. Как вице-президент Палестинского общества, созданного в 1882 году при его активном участии, и один из создателей Русского археологического института в Константинополе (кстати, единственного археологического научного института за пределами Российской империи) Филиппов сыграл видную роль в развитии мирового византиеведения.

И тем не менее, в наши дни это имя незнакомо даже большинству профессиональных историков. «Мы ленивы и нелюбопытны» — пенял русским людям А. С. Пушкин. Действительно, о многих великих государственных деятелях мы судим лишь по тем пристрастным суждениям, которые оставили нам проигравшие деятели. Воспоминания и дневники Тертия Филиппова до сих пор остаются неопубликованными. В исторической науке пока о жизни и деятельности Тертия Филиппова судят лишь по тенденциозным сообщениям (а то и вовсе измышлениям) его политических недоброжелателей.

Думается, что пришла пора воздать должное одному из самых оригинальных русских политиков, богословов и собирателей музыкального фольклора. Поэтому мы предлагаем на суд читателей некоторые сочинения Тертия Филиппова, по которым можно составить представление о нем как о личности, выяснить основу его взглядов и почувствовать дух эпохи, в которой он жил и действовал.

* * *

Тертий Иванович родился 24 декабря 1825 года в городе Ржеве Тверской губернии в семье местного аптекаря. Старинный Ржев впервые упоминается в летописях

в 1216 году, но на самом деле город старше на несколько веков. Его можно назвать типичным городом русской глубинки. Разумеется, это не означает, что Ржев являлся захолустьем. Русская провинция всегда была богата талантами, и Ржев не является исключением.

Уроженцами Ржева были знаменитый преподобный Арсений, строгий подвижник и затворник, основавший Арсеньев монастырь в Великом Новгороде. Согласно преданиям, когда Иван Грозный прибыл в Новгород и расправлялся со знатью и народом, царь посещал Арсения. «Насытился ли кровию, зверь кровожадный? — сказал ему праведник. — Кто может благословить тебя, кто может молить Бога о мучителе, облитом кровию христианскою?» Иван Грозный молча выслушал Арсения и позвал его с собой в Псков. Но когда наутро прибыли за ним гонцы, они обнаружили в келье мертвого старца.

Другим великим ржевитянином был преподобный Дионисий. Он был архимандритом Троице-Сергиевой лавры в годы Смуты начала XVII века. Вместе с келарем лавры Авраамием Палицыным Дионисий сыграл выдающуюся роль в обороне монастыря от банд поляков и в организации ополчения Минина и Пожарского. Рассказывают, что когда Минин прочитал грамоту Дионисия, он сказал: «Святой Сергей явился ко мне во сне и приказал возбудить уснувших; прочтите грамоты Дионисиевы в Соборе, а там что будет Богу угодно». Ежегодно 12 мая (25-го по новому стилю) отмечается как день преподобного Дионисия.

Одним из древнейших русских аристократических родов являлся род князей Ржевских, первый представитель которого впервые был упомянут в летописи под 1314 годом. Один из первых Ржевских, Родион Федорович, участвовал в Куликовской битве. В дальнейшем из

Ржевских вышло много государственных деятелей, военачальников, поэтов. В родстве с Ржевскими по материнской линии был А. С. Пушкин.

И в дальнейшем Ржевская земля дала немало выдающихся людей. Здесь родились и жили оригинальный мастер-самоучка Терентий Волосков, и лихой партизан 1812 года Александр Никитич Сеславин.

Вот таков был Ржев, когда в нем открыл глаза маленький Тертый. Он навсегда сохранил привязанность к своей малой Родине. В современном Ржеве до сих пор сохраняется название «Филиппова дача» для обозначения одного из самых живописных уголков города, рядом с островами на левом берегу Волги. Правда, большая часть города была разрушена в годы Великой Отечественной войны, и от Филипповой дачи также осталось одно название. Лишь несколько деревьев, включая великанский вяз высотой более 20 метров, свидетельствуют о том, что когда-то здесь был парк и уютный дом Тертия Филиппова.

Два века тому назад Ржев имел еще одну особенность, которая, впрочем, роднила его со многими городами Центральной России. Ржев был одним из центров старообрядчества. Большинство жителей города крестились двумя перстами, хотя многие из них формально относились к официальному «никонианскому» вероисповеданию. Правда, в 1800 году часть старообрядцев, сохранив свои прежние обряды, вернулись в состав Русской Православной Церкви, составив единоверие. Большинство ржевитян, включая и семью Тертия Филиппова, исповедовали единоверие.

Интересно, что язык, на котором говорили ржевитяне, как, впрочем, и всей российской провинции в то время, был очень близок к церковнославянскому. Не случайно впоследствии даже литературное творчество

Тертия Филиппова было намеренно переполнено славянизмами.

Такова среда, в которой вырос и сформировался как личность Тертый Филиппов.

* * *

Учился он в тверской гимназии (единоверие давало возможность учиться в учебных заведениях наряду с чадами Церкви греко-российской), затем закончил историко-филологический факультет Московского университета. Образование Филиппов получил весьма качественное. Он превосходно знал древнегреческий и латынь, творения Отцов Церкви, каноническое право, русскую историю. Но самой большой любовью Тертия Ивановича стала русская песня. Он всегда прекрасно пел, знал множество мелодий.

С 1848 по 1856 год он преподавал русскую словесность в 1-й Московской гимназии. Какие мысли вкладывал молодой учитель в души учеников, можно свидетельствовать по его речи «О началах русского воспитания», произнесенной им в разгар Крымской войны в 1854 году. За годы своего учительства сблизился с кружком славянофилов.

Сердцевину и творческую основу национально-го своеобразия каждой страны, по мысли славянофилов, составляет вера. В России это Православие. Кроме православной веры, другой особенностью России славянофилы справедливо считали крестьянскую общину. Коллективистский характер русского общества в значительной степени способствовал широкому укоренению в России самых различных социалистических теорий и, напротив, привел к тому, что идеи либерализма от Ека-

терины II до Ельцина не имели никакого воздействия на массы. Заметим, что на Западе левые исповедуют коллективистские теории, а для правых характерен упор на индивидуальные права. В России и для левых и для большинства правых присущ своеобразный культ коллективизма, и отличия левых с правыми заключаются лишь в степени признания социального равенства между группами людей, будь то сословия, классы или другие социальные группы.

Тертий Филиппов в славянофильских кругах быстро выдвинулся в число самых ярких и оригинальных публицистов. Он не претендовал на создание универсальной философской системы, поскольку исходил из того, что уже в творениях Отцов Церкви мы можем найти все то, что предлагала самая новейшая европейская философия. Но вот особенности национального воспитания русских людей (актуальнейшая особенно в наши дни проблема!), жизнь Русской Церкви, превращенной в незначительное госучреждение имперской властью, положение старообрядцев, собирание и популяризация народных песен, — все это составляло круг научных интересов Тертия Филиппова. Вскоре ему представилась возможность выступить на страницах славянофильской печати.

У славянофилов всегда были проблемы с популяризацией своих взглядов. В 1845 году у них неожиданно появился свой печатный орган — журнал «Москвитянин». Его прежний редактор, известный историк М. П. Погодин передал заведование журналом одному из виднейших славянофилов Ивану Киреевскому. Тот сразу же стал помещать в «Москвитянине» стихи В. А. Жуковского, Н. М. Языкова, Л. А. Мея, Константина Аксакова, публицистические статьи Хомякова и братьев Киреевских. В результате количество подписчиков сразу же удвои-

лось. Однако Киреевский выпустил только три номера журнала. Из-за конфликтов с Погодиным и придирок цензуры он оставил редактирование, а выпуск журнала был приостановлен. Правда, издание «Москвитянина» было возобновлено в 1847 году. «Москвитянин» приносил убытки, и в 1850 году Погодин решил привлечь к изданию молодых авторов славянофильского направления. Так появилась «молодая редакция» журнала, в которую входили драматург А. Н. Островский, поэт и критик А. А. Григорьев, писатель А. Ф. Писемский. «Молодая редакция» поместила в журнале ряд произведений, ставших русской классикой, но в целом помещать теоретические статьи она не могла.

Филиппов не просто сам стал участником «молодой редакции». Под его непосредственным влиянием драматург А. Н. Островский и поэт А. А. Григорьев вошли в состав «молодой редакции». Интересно, что Аполлон Григорьев примкнул к кружку славянофилов под влиянием песни, исполненной Тertiем. В романе А. Л. Писемского «Взбаламученное море» есть эпизод, в котором славянофил Тertiев (намек на Филиппова более чем прозрачен) исполняет «Ваньку-ключника» в трактире. Также под влияние его личности попал и стал другом на всю жизнь драматург Александр Островский. В 1856 году драматург гостил у Филиппова во Ржеве. Вероятно, именно Ржев выделен под именем города Калинова в знаменитой «Грозе».

В 1852 году славянофилы решили выпустить литературно-художественный «Московский Сборник». Собственно, под таким названием они выпускали сборники в 1846 и 1847 годах при финансовой поддержке симбирского помещика В. А. Попова, но в силу цензурных давлений и отсутствия значительных концептуальных статей эти сборники не стали заметным этапом

развития славянофильской теории. Теперь славянофилы могли надеяться на участие всего «генералитета» своего движения.

Организационную и финансовую сторону взял на себя обладающий значительным состоянием Александр Иванович Кошелев, а редактором издания стал Иван Аксаков. Вышло два тома «Сборника».

Первый том вышел в свет в апреле 1852 года. Самым же значительным произведением в «Московском Сборнике» был некролог Гоголю, умершему в феврале, принадлежащий перу И. С. Тургенева.

«Сборник» стал одним из важнейших культурных событий того времени. В первый же месяц разошлось 750 экземпляров «Сборника» (для того времени – значительная цифра). Но читатели больше обращали внимание на оппозиционный тон издания. Реакция властей последовала незамедлительно. Второй том сборника был запрещен. Цензор князь В. В. Львов, пропустивший первый сборник, был уволен с должности. Тургенев за некролог Гоголю был по высочайшему повелению отправлен на съезжую, а затем на год сослан в деревню.

* * *

В 1856 году Филиппов неожиданно стал одним из важных правительственных экспертов, чьи рекомендации могли помочь России справиться с последствиями только что закончившейся злосчастной Крымской войны. Как специалиста по фольклору Морское министерство командировало его на Дон и Азовское море для исследования быта, нравов и обычаев местного населения. Подобное поручение от моряков было не случайно: после поражения в Крымской войне России было запреще-

но иметь на Черном море военный флот. Однако русское морское командование было готово в случае необходимости быстро вооружить торговые суда и мобилизовать жителей черноморских губерний в возрождающийся флот. Подобное поручение пришлось по вкусу Филиппову: можно было изучать фольклор и при этом служить Отечеству. С поручением он справился блестяще, и его рекомендации были использованы при воссоздании Черноморского флота в 1870 году.

По возвращении с юга Третий Иванович оставил работу учителя, став чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре Святейшего Синода графе А. П. Толстом. Репутация знатока церковной истории и канонического права, а также обширные знания в области богословия, прекрасное владение греческим языком быстро сделали Третья Иванoviча чем-то вроде министра по связи с восточными православными и инославными (несторианами и монофизитами) церквями. До Филиппова никто связями с единоверцами на Востоке не занимался. Не случайно с такой горечью писал Филиппов в статье «Несколько слов о несторианах» о том, что в России совершенно не знают о том, что в Турции и Персии живут в крайней бедности и угнетении тысячи христиан древних церквей. При этом, отмечал Филиппов, западные миссионеры уже установили контакты с восточными церквями, зато Русская Церковь проявляла непонятное равнодушие к восточным христианам. Разумеется, это объяснялось вовсе не отсутствием подвижников в русском Православии, а той ненормальной ситуацией, что сложилась в Церкви в синодальный период. Превратившись в малозначимое госучреждение, управляемое бюрократическими методами, Церковь отчасти утратила свои качества пастыря и защитника. Впрочем, полагал Третий Иванович, все может измениться в луч-

шую сторону, если Русская Церковь вновь займет подобающее ей место в русской жизни.

Кроме того, занимался также Филиппов вопросами реорганизации духовных учебных заведений. Это была очень важная работа, ведь именно из числа семинаристов как раз в 50—60 годы вышло множество нигилистов и революционеров. И причиной этого было казенное, заформализованное, оторванное от жизни и от религиозной практики преподавание в духовных заведениях. Не без влияния Филиппова в 1863 году выпускников духовных семинарий стали принимать в университеты и военно-учебные заведения. Впрочем, когда руководитель специального комитета по реформе духовных заведений арх. Дмитрий (Муретов) предпринял было попытку вообще превратить все духовные учебные заведения в общеобразовательные школы, причем в этом его поддержало большинство членов комитета, Филиппов резко высказался против.

Тертий Иванович при этом не прекращал публицистическую деятельность. В 1856 году московские славянофилы стали издавать журнал «Русская Беседа». Его редактором первоначально стал основной спонсор издания А. И. Кошелев, позднее редактирование целиком легло на плечи Ивана Аксакова. Т. И. Филиппов (вместе с П. И. Бартеневым и М. А. Максимовичем) стал соредактором «Русской Беседы».

Журнал действительно стал одним из образцов русской национальной журналистики, в чем есть и заслуга Тертия Филиппова. Как соредактор, он во многом определял направление издания. Среди значительных статей журнала, в которых излагались славянофильские взгляды на многие стороны общественного, экономического и культурного развития России, можно назвать «Обращение к читателям» А. С. Хомякова, незакончен-

ная статья только что умершего Ивана Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии», «Два слова о народности в науке» Ю. Ф. Самарина, «Предсмертное неоконченное сочинение А. С. Хомякова», «О правде и искренности в искусстве» А. А. Григорьева, «Соображения касательно устройства железных дорог в России» А. И. Кошелева.

Журнал внес большой вклад в развитие русской литературы. В «Русской Беседе» были опубликованы стихи И. и К. Аксаковых, В. А. Жуковского, И. С. Никитина, Каролины Павловой, А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, К. П. Победоносцева, А. С. Хомякова, Т. Г. Шевченко, неизвестное до этого стихотворение А. С. Пушкина («Страдалец произвольной муки», 1859 г., кн. 3). Помещались поэтические переводы славянских поэтов. Из прозы, ставшей событием в литературной жизни России, были помещены произведения С. Т. Аксакова («Литературные и театральные воспоминания», 1856, №4; 1858, т.1—3; «Встреча с мартинистами», 1859, кн.1), пьеса А.Н.Островского «Доходное место».

Филиппов поместил объемную рецензию на пьесу своего друга А. Н. Островского. Впрочем, его роль в журнале определяли не его собственные статьи, а общее направление издания.

* * *

В 1864 году Филиппов перешел на службу в Государственный Контроль, в котором прослужил до конца своих дней. Государственным Контролем называлось существовавшее с 1810 года ревизионное ведомство, проверявшее финансовую отчетность учреждений империи, разрабатывавшее и утверждавшее годовой

бюджет. Правда, первые полвека его существования различные ведомства контролировали себя сами, и Государственный Контроль не играл заметной роли. Как раз в 1864 году Государственный Контролер В. А. Татаринов сумел добиться подчинения себе всех ведомств Российской империи (кроме министерства Двора), и Государственный Контроль превратился в одно из самых значимых госучреждений страны. Государственный Контроль по своему положению напоминал нынешнюю Счетную Палату, но при этом обладал и многими полномочиями прокуратуры. Третий Филиппов, отличавшийся замечательными организаторскими способностями, а также удивительно цепкой памятью и хорошим знанием законов, быстро продвинулся в этом учреждении по служебной лестнице.

С 1878 года Филиппов состоял товарищем (т. е. заместителем) Государственного Контролера, с 1883 стал сенатором и в 1889 — Государственным Контролером. Понятно, что занимать такую должность должен человек с организаторским талантом, знаток всей бухгалтерии и, самое главное, неподкупный. Филиппов полностью отвечал этим требованиям. Когда было помещено официальное сообщение о назначении Филиппова Государственным Контролером, один из его биографов, К. А. Скальковский, справедливо отмечал: «Мы глубоко убеждены, что «Правила и формы сметного, кассового и ревизионного порядка» ему так же хорошо известны, как творения Вальсамона, Аристинна и Зонары». (Речь шла о византийских канонистах XII века — Феодоре Вальсамоне, Алексее Аристине и Иоанне Зонара.)

Чиновники прозвали своего начальника «Тертым», переделав так его имя, поскольку никто не мог провести Филиппова.

Однако деятельность высокопоставленного чиновника не была единственной в его жизни. Несмотря на занятость на службе, Филиппов много печатался в различных изданиях национального направления, в частности в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, в «Гражданине» кн. В. П. Мещерского, был, как уже говорилось, одним из основателей журнала «Русская Беседа». Филиппов также справедливо имел репутацию авторитетного светского богослова.

Принципиальность Филиппова проявилась, в частности, в вопросе о болгарской автокефалии. В публичных чтениях 1870—72 годов в петербургском Славянском комитете (членом которого он был с момента основания в 1869 году) Филиппов вступил в полемику со своими соратниками по славянофильскому лагерю. Дело в том, что в 1872 году болгарская православная церковь самовольно провозгласила свою автокефалию, отделившись от Константинопольского патриархата. Это вызвало тяжелый раскол среди балканских христиан. Так, Константинопольский патриарх отлучил болгарскую церковь (причем это отлучение было снято только в 1945 году). Подавляющее большинство славянофилов, да и все русское общество приветствовали болгарскую автокефалию, видя в этом успех славянского движения. Однако только Филиппов, а также еще Константин Леонтьев, осуждавший распространившееся в России «болгаробесие», обратили внимание на каноническую незаконность провозглашения автокефалии. Разумеется, Филиппов поддерживал борьбу болгар за независимость от турецкого ига, но он считал, что благородное дело требует благородных средств. Автокефалия болгарской церкви, провозглашение которой носило характер внутрицерковного переворота, игнорировавшего все канонические правила и постановления, могла быть эффективным по-

литическим действием в конкретный исторический момент, но оборачивалось стратегическим поражением, ведь создавался прецедент вмешательства в церковную жизнь сиюминутных политических пристрастий. С позиций сегодняшнего дня можно признать, что Третий Филиппов был прав, и болгарская автокефалия, которая действительно стала первым шагом к обретению Болгарией независимости в 1878 году, все же способствовала упадку Вселенской Церкви на Балканах. В конце концов, Болгария была освобождена русскими войсками, а балканские христиане оказались в духовном плане расколота на множество мелких националистических церквей, «балканизированных» так же, как и все общество на Балканах. Показательно, что в освобожденной Болгарии к власти пришли представители либеральной интеллигенции, быстро повернувшие молодое государство к разрыву отношений с Россией, несмотря на искреннюю любовь к России болгарского народа.

Религиозно-философские вопросы Третий Филиппов рассматривал на заседаниях созданного с его активным участием в 1872 году петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения, имевшего право рассматривать актуальные вопросы жизни Церкви. Заседания общества стали заметным явлением в интеллектуальной жизни России. Так, частым посетителем заседаний общества был Ф. М. Достоевский. Материалы заседаний Общества публиковались на страницах известного охранительного издания, газеты-журнала «Гражданин», редактируемого князем В. П. Мещерским. Кстати, Филиппов радел за Православие не только своими статьями и речами. Он был одним из щедрых спонсоров Оптиной пустыни и еще ряда обителей.

Помимо текущих проблем Русской Церкви, Филиппов много занимался старообрядчеством. Как исследова-

тель фольклора и чиновник экономического ведомства, он видел, что старообрядцы сохранили в своем быту исконные русские традиции и при этом оказались умелыми промышленниками, обеспечив не только благосостояние своей общине, но и в значительной мере способствовали индустриальному подъему России. Филиппов всячески защищал старообрядцев, выступая за полную отмену всех существующих для них ограничений. Он считал себя «мирским ходатаем за старообрядцев». Защищая ревнителей старой веры, Филиппов проходил все инстанции, вплоть до царя. «Опять этот несносный Филиппов пришел просить за своих бородатых друзей!» — добродушно ворчал император Александр III, получив прошение от Государственного Контролера о внеочередной аудиенции.

В 1873—74 годы, в Обществе любителей духовного просвещения произошла знаменательная полемика между Филипповым и профессорами Духовной академии Иваном Федоровичем Нильским, специалистом по расколу, и Иваном Васильевичем Чельцовым, редактором журнала «Христианское Чтение», по вопросу о единоверии, ставшем вскоре важным событием культурной и религиозной жизни страны. Третий Филиппов, выступая в Обществе любителей духовного просвещения с сообщениями о единоверии, для решения многих актуальных вопросов жизни Церкви и для примирения со старообрядцами предлагал созвать Вселенский Собор. По мысли Филиппова, Собор должен был снять клятвы на старообрядцев 1667 года и придать новый импульс русскому и вселенскому Православию. Напомним, что со времен правления Екатерины II и Павла I были разрешены старые, «дониконовские», обряды, однако Соборное определение 1667 года не было пересмотрено. Это автоматически делало старообрядцев людьми второго сорта.

Разумеется, Тертий Филиппов, как единоведец, как государственный чиновник и как гражданин, не мог с этим смириться и поэтому выступил с предложением созыва Вселенского, или, если не удастся получить поддержку от восточных патриархов, Поместного Собора Русской Церкви по старообрядческому вопросу.

Однако его инициатива не вызвала энтузиазма ни в Святейшем Синоде, руководство которого опасалось превращения Вселенского Собора в чисто политическое мероприятие, ни у иерархов Восточных церквей. Понимая всю сложность и проблематичность созыва Вселенского Собора, Филиппов осторожно, в иносказательных выражениях проводил мысль о восстановлении патриаршества в России. Но и это звучало чуть ли не революционно для синодальных чиновников. У священноначалия предложение Филиппова не вызвало никаких практических действий. И неудивительно, что патриаршество было восстановлено в России только в 1917 году, причем оно тут же попало в пленение на семь десятилетий. Старообрядцы же получили право на автономное существование, создание собственных училищ и кладбищ и возможность занятия государственных должностей только по указу от 17 апреля 1905 года, а клятвы на старообрядцев были отменены вообще только в 1971 году.

В 1894 году при непосредственном участии Филиппова в столице Османской империи был создан Русский Археологический институт в Константинополе (РАИК). Директором института стал ученый-византиист Федор Иванович Успенский. Интересно, что твердая позиция Филиппова во время конфликта болгарской Церкви с константинопольской патриархией сыграла свою роль в том, что греческое духовенство предоставило возможность сотрудникам Института изучать рукописи афонских монастырей, а турецкий султан разрешил

РАИК проводить раскопки по всей Османской империи с правом сохранения за собой половины найденного. Сотрудники РАИК не только открыли и описали многие памятники византийской истории, но изучали историческое наследие народов, некогда входивших в состав Византии. Так, сотрудники РАИК открыли и исследовали древнюю столицу Болгарии Плиску. Интересно, что греческое духовенство не только Османской империи, но и собственно Греции, в знак признательности к Филиппову за его бескомпромиссную позицию в греко-болгарской церковной распре, разрешило сотрудникам РАИК вести раскопки на территории Греческого королевства. Кстати, сам Филиппов стал членом Афинского Археологического общества.

Истинное призвание Филиппов нашел в собирании русских народных песен. Он не только старательно их записывал, расшифровывал «крюковую» нотную запись старинных песен, но и много сделал для популяризации песенного фольклора среди просвещенного слоя общества. Став членом Русского Географического Общества, Филиппов создал при нем в 1884 году специальную песенную комиссию для снаряжения фольклорных экспедиций. Вместе с Н. А. Римским-Корсаковым Филиппов выпустил сборник «40 народных песен». Этот сборник вошел в историю как «филипповский». Композитор М. П. Мусоргский с голоса Третья Ивановича записал и переложил для оркестра и хора пять русских песен. Сам Модест Петрович говорил, что Филиппов может считаться соавтором либретто к опере «Хованщина». Именно Третий Филиппов стоял у истоков создания в 1888 году Великорусского народного оркестра под руководством Василия Васильевича Андреева.

Вообще Третий Иванович оказался добрым ангелом для многих русских музыкантов. Так, Мусоргско-

го он постоянно поддерживал морально и материально, устроив его на службу в Государственный Контроль, что было немаловажно при полной житейской несобранности композитора. После смерти Мусоргского Филиппов стал его душеприказчиком, а также собрал и издал его сочинения. Композитора М. А. Балакирева Филиппов смог устроить управляющим Придворной хоровой капеллой, а Н. А. Римского-Корсакова – его заместителем. Благодаря Филиппову молодой Федор Шаляпин дебютировал на сцене столичного оперного театра.

Свою принципиальность вместе с христианскими чувствами Филиппов продемонстрировал в отношении писателя Николая Лескова. Замечательный беллетрист, славянофил по своим взглядам, Лесков, однако, отличался тяжелым характером и болезненно воспринял некоторые критические замечания Филиппова в адрес своих произведений. Последовал разрыв всяких личных отношений. Но когда Филиппов в 1895 году узнал о том, что Лесков лежит при смерти, одинокий и брошенный, он немедленно явился к писателю. Прося прощения за все причиненные вольные и невольные обиды, Государственный Контролер Филиппов встал перед Лесковым на колени (хотя виновником их разрыва был сам Лесков). Как отмечал биограф Филиппова, А. И. Фаресов, «...спустя несколько дней... Лесков действительно скончался, и его примирение с Т. И. Филипповым было одной из последних радостей его земной жизни».

Десятилетие 1889—1899 годов, когда Филиппов был Государственным контролером, было временем бурного экономического подъема, возрождения интереса к народному творчеству, да и в целом — временем культурного расцвета. И в этом во всем была также и заслуга Тертия Ивановича. Известно, что «тертый» Го-

сударственный Контролер раскрыл несколько махинаций, в которых были замешаны высокопоставленные чиновники.

Тертий Иванович Филиппов скончался 29 ноября 1899 года. Умер выдающийся мыслитель России. В силу многих исторических обстоятельств, более чем на сто лет он оказался незаслуженно забытым. В настоящем издании впервые после 1917 года публикуется все самое значительное, написанное Филипповым.

Сергей Лебедев

О НАЧАЛАХ РУССКОГО ВОСПИТАНИЯ

Речь, произнесенная в торжественном собрании первой Московской гимназии 3 октября 1854 года преподавателем русского языка и словесности Тертием Филипповым.

Милостивые государи!

Одна из главнейших обязанностей просвещенного человека есть внимание к общественному воспитанию: ибо от его направления весьма много зависит образ мыслей и нравственность будущих поколений, а с тем вместе и весь будущий ход народной жизни. Кто способен отвлекаться от влияния текущих обстоятельств и смотреть на настоящее в связи с прошедшим и будущим; кто притом, по любви к Отечеству, его потребности включает в число своих собственных нужд, тот, без сомнения, не может остаться равнодушным к ходу народного образования и не решится сложить с себя все заботы о нем, предоставив их исключительно тем, кому оно поручено правительством; тому, вместе с важностью этого дела, откроется и трудность, и многосложность его; тот поймет, что вести его с успехом и уберечь от вредных влияний может только дружное и согласное действие воспитателей и общества. И потому не удивля-

юсь, дамы и господа, что вы так благосклонно приняли приглашение нашей гимназии и поспешили к нам, хотя, без сомнения, знали наперед, что за труд своего посещения вы будете вознаграждены лишь ощущением исполненного долга. Но как свойственно было вам, во исполнение своих обязанностей к просвещению, почтить нас своим присутствием, так еще свойственнее нам на такое высокое внимание ваше отвечать глубочайшею благодарностью. Считаю себя счастливым, что вслед за достойным начальником вашим и я имею возможность выразить вам чувства нашей признательности и уверить вас, что, ободренные вашим сочувствием к нашим занятиям, мы обратимся к ним с большею надеждою на успех и с новою ревностью, чтобы тем оправдать в милости, вновь оказанный нам правительством, и ваше внимание, и доверие к нам общества, свидетельствуемое числом наших воспитанников.

И если попечение об общественном воспитании во всякое время составляет долг просвещенного члена общества, то в настоящее время не делается ли этот долг обязательнее, нежели когда-либо прежде? Западная образованность, за которую мы так решительно следовали в деле знаний, искусств и общежития, в наше время выразила себя в таких печальных явлениях, которые о самом существе ее дают весьма невыгодное понятие. Лучшие представители нашей словесности уже издавна с замечательною проницательностью и предусмотрительностью старались обратить внимание общества на существенные недостатки западного просвещения и на различие его начал от основных начал просвещения русского; но привычка относиться к Западу с безотчетным уважением, воспитанная в нас его полутораугольным влиянием, мешала решительности нашего суждения, так что ясные, как день, доказательства и мнения казались

нам сомнительными предубеждениями в пользу своего. Наконец, последние события сильнее и решительнее всяких рассуждений раскрыли нам глаза на самих себя и на Запад и, можно сказать, устыдили медленность нашего мышления и наше равнодушие к своей народной сущности. Мы много употребили усилий для того, чтобы в делах внешней мудрости сравняться с Западом. Опасаться за распространение в нашем Отечестве нужных знаний нельзя: за будущие успехи нашего народного образования ручается с избытком и постоянная заботливость о нем правительства, и развитая уже любознательность общества. Нам теперь должно подумать о другом: как бы привести в ясность наши неопределенные отношения к европейскому просвещению, как отделить в нем нужное и полезное для нас от того, чего нам должно избегать, как лишнего и даже вредного. Нужно наконец привести во всеобщее сознание то, что нас отделяет от Запада и что составляет основные начала нашей самобытной жизни, и потом, приведя эти начала в живое сознание, поставить их краеугольным камнем русского воспитания.

В воспитании усматриваются две цели, тесно между собою связанные: первая имеет в виду развитие общих человеческих свойств независимо от случайных условий, вторая достигается применением общих начал воспитания к историческим условиям; первая имеет в виду человека, вторая — гражданина. В первом случае основанием делу служит религия: она воспитывает в нас те вечные, всеобщие стихии духа, которые необходимы всякому человеку без различия места, времени и народности. Хотя она собственно prepares нас к жизни, ожидающей человека по ту сторону гроба, но, тем не менее, в ней находится единственное руководство и для вашего земного пути: ибо только тот способен пройти беспрепятственно путь земной жизни, кто видит в ней приурочение к

вечности, а не заключает в ее тесные пределы всех своих ожиданий. Науки и искусства суть цвет человеческой деятельности; они не только украшают и услаждают нашу жизнь, но и составляют существенную ее принадлежность, без коей нет полноты жизни: однако благо человеку и народу, который в своей жизни отводит им принадлежащее им место и не теряет из виду их отношений к высшей духовной деятельности человека — религиозной. В противном случае из орудий блага они становятся источником частного и общественного зла, разрушают внутренний мир человека и благосостояние общества.

Мы знаем, что Запад стоит во главе человечества в деле знаний и искусств, однако замечаем там крайнее смущение совести в отдельных лицах и страшное колебание всех общественных основ в государствах. Причины тому очевидны. Оторвавшись от истинных начал жизни, проповеданных Евангелием, западный человек ищет для нее новых оснований и, разумеется, не находит: ибо их нет. Все, что бы ни создал человек сам от себя в замене отвергнутой им истины, все будет ложь; до истинных законов человеческого естества не может возвыситься наше поврежденное умствование, они открыты только божественному видению. Итак, в основание человеческого воспитания должно положить учение христианское: оно одно может указать человеку, в чем состоит истинное просвещение, истинная добродетель и истинное счастье; без него он нигде и ни в каком случае не может быть ни счастлив сам, ни полезен другим.

Но, говоря о христианском воспитании, мы не должны забывать и того, что оно должно быть не какое иное, как предлагаемое православною Церковью: ибо единственная и неизменная хранительница правой веры в то же время есть по необходимости и единственная сокровищница истинного разумения вещей и чистых нрав-

ственных понятий. Кроме исключительной истины и чистоты своего учения, православие дорого русскому народу и по бесчисленным благодеяниям, которые оно оказало ему в течение его истории. Православию мы обязаны всем: оно спасло нас в древний период нашей жизни от тысячи бед, татарских, литовских, польских и т. д.; оно охраняло нас от западных искушений и доселе сохраняет невредимую нашу народность от бесчисленных иноземных влияний; и в годину настоящих испытаний оно — причина нашей брани, оно же — и наша защита, и наше упование. Оно и до конца жизни нашего народа да будет ее неизменным основанием, источником нашего величия и славы, нашею первою похвалою!

Вторая цель воспитания состоит в применении общих его начал в той среде, в которой Провидение судило жить человеку. Конечно, внутреннее воспитание должно возносить человека над всеми случайными условиями его быта; но оно должно достигать этого, не разрушая его законных связей с Отечеством, обществом и семьей; напротив того, своею силой и священным действием своим оно должно укреплять и освящать их. В сущности, нет ничего противоположнее христианского учения об этом предмете учениям нашего времени о всемирном гражданстве: христианство, воспитывая человека в любви к своему народу и всему окружающему, стремится распространить эту любовь на все человечество; учения космополитические, внушая безразличную любовь ко всему, доводят до полного равнодушия к своему и чужому. И потому за общими началами воспитания, образующими человека, необходимо должно следовать (я говорю не о хронологической последовательности, а о мере важности) воспитание народное, связующее человека с его местными, временными и вообще историческими условиями. Этой цели воспитания преимущественно пред

другими предметами способствует отечественная история, отечественная словесность и отечественный язык. Преподавание двух последних предметов в этом заведении поручено высшим начальством мне; позвольте, дамы и господа, представить вам краткий обзор моих занятий, указать на объем их и на приноровление моего преподавания к вышеупомянутой цели народного воспитания.

Я начинаю свои занятия с четвертого класса и от моих товарищей принимаю воспитанников, знакомых уже с теориею нашего языка. В первый год наших занятий они ее повторяют, причем рядом с нею идет класс языка церковнославянского. Очевидная важность изучения его, как языка богослужебного, понятна всем; знакомство с ним открывает воспитаннику весь внешний смысл Св. Писания и богослужения, по местам затруднительный, а иногда и вовсе непонятный для людей, по навыку, а не научно знающих тот язык. Таким образом, он становится у нас в России весьма важным вспомогательным предметом и в религиозном образовании. Но, кроме этого всем известного значения, церковнославянский язык имеет еще другое: его судьба тесно связана с самыми коренными вопросами в истории нашего времени. Обязанный своим происхождением принятию славянскими племенами православной веры, он впоследствии явился главным орудием ее хранения. Западные наши соплеменники, рано отторгнутые от православия насилеи римского духовенства, скоро утратили славянское богослужение и таким образом лишились последней связи со своими православными родичами. В течение многих веков Славяне жили во взаимном отчуждении, позабыв свое племенное и религиозное единство; каждый из славянских народов был занят своею судьбой, вырабатывал свою отдельную народность под влиянием различных исторических обстоятельств. Нашему столетию принадлежит

честь того великого умственного движения в племенах славянских, которое привело их к ясному разумению их истории и через то к сознанию их исконного родства и бывшего некогда единоверия. Церковнославянский язык получил, таким образом, особую важность, как орудие утраченного религиозного единства. Сверх того, в его древнейших свойствах каждое из славянских наречий находит что-нибудь свое, что естественно должно усиливать еще более их стремление ко взаимности, как к чему-то не новому, уже бывшему, следовательно, законному. Церковнославянский язык становится, стало быть, некоторым средоточием, около которого собираются эти стремления.

Далее: совмещая в себе множество свойств, разбросанных по различным славянским наречиям, и таким образом, делаясь средоточием, по силе словопроизводства, по богатству звуков и древнейших форм подходя ближе всех наречий к языку древле-славянскому, церковный язык является полнейшим и преимущественным представителем нашего племени в ряду языков индо-европейской семьи и в этом обнаруживает свое новое, можно сказать, всемирно-историческое значение. У нас в Отечестве он имеет особенную важность по своей теснейшей связи с нашим языком, проходящей через всю историю сего последнего. Я не говорю уже о древнем периоде нашей словесности, когда язык церковнославянский так сливался с языком устным, народным, что эти две стихии никак почти нельзя разнять в древнерусских письменных памятниках; но даже впоследствии, в новый период нашей словесности, церковнославянский язык не переставал и не перестает обогащать наш язык своими сокровищами и охранять его от вторжения иноплеменных выражений. В эпоху преобразования России, когда к нам настужь растворились двери всему чуждому, и в язык наш вошло

много варваризмов, смутивших его чистоту. Чтобы положить предел этому наплыву и вывести нашу речь из хаотического состояния, великий учредитель нашего нового языка прибегнул к языку церковнославянскому, как оплоту его чистоты. И последующие великие писатели наши не уклонялись от влияния этого языка: и не только духовные витии, которым свойственно украшать свою речь славянскими речениями и возвышенный слог которых так близко подходит к торжественному строю речи церковнославянской, но и на лучших представителях нашей светской литературы его влияние отразилось очень заметно, например: на Державине, Карамзине, Жуковском и особенно на Пушкине.

Познакомившись с церковнославянским языком, мы переходим к изучению древнерусского языка, которому посвящается отдельный класс. Здесь мы знакомимся с русским языком на всем пространстве древнего периода его истории: от языка первобытной нашей письменности, встречаемого в проповеди митрополита Иллариона, летописи Нестора, Слове о полку Игореве, богатырских песнях, до языка схоластических писателей, который мы видим в силлабических виршах Симеона Полоцкого и его современников и в произведениях духовного красноречия того времени. А между тем, рядом с этим практическим изучением нашего языка идет преподавание риторики, цель которого, собственно, состоит в том, чтобы познакомить воспитанников с общими правилами построения речи, но оно не остается бесплодным и по отношению к языку: отрывки, приводимые в пример риторических правил из лучших наших писателей от Ломоносова до Пушкина и Гоголя, знакомят воспитанников с языком и слогом нового периода русской словесности.

Таким образом, поскольку можно уместить в тесные пределы отмеренного нам времени, мы изучаем

исторически язык нашего народа от начала нашей письменности до последнего времени. И пусть изучение это не особенно глубоко: оно важно, как семя, от которого ожидать плодов должно в будущем. Во всяком случае, и в этом ограниченном размере оно есть залог патриотических убеждений в воспитаннике; оно сближает и роднит его с его народом и Отечеством: ибо язык есть образ народа или, лучше сказать, сам народ, выразивший себя в своем слове. Вам известны, дамы и господа, печальные следствия того могущественного влияния, которое имеет на наше общество язык французский: пристрастие к этому языку находится в прямом противоречии с патриотическим воспитанием, ибо оно переносит наше сочувствие от своего к чужому. «Любить отечество и иметь пристрастие к чему-либо вне отечества», говорит ревнитель русского слова¹, «значит не любить отечества. Любовь к отечеству требует любви ко всему отечественному, ко всему, что относится к целостности отечества. Вера, законы, нравы, обычаи отечественные суть предметы, которые сердце каждого сына отечества должно обнимать всею крепостью, как свое родное, природное. Особенно же язык отечественный, которым выражаются мысли и чувствования, внутренний характер и дух соотечественников, которым изображены законы и вера отцов, которым прославляется Бог в стране отечественной, сей язык требует любви твердой, постоянной, пламенной, которая бы в употреблении и в слышании его находила свое приятнейшее удовольствие и утешение». И потому, повторяю еще раз, несмотря на необширный объем исторического изучения русского языка в гимназиях, следствия его должны быть самые благотворные. И вы увидите, что просвещенные распоряжения правительства, клонящиеся к усилению преподавания отечественного языка, увенчаются пол-

ным успехом и поселят в юношестве сознательное уважение ко всему, что носит на себе печать нашей народности. Юноши наши будут говорить и по-французски, и по-английски, и на всех других языках, но уже не из тщеславного щегольства своим мнимым образованием, но в нужных случаях, чтобы помочь незнакомству иностранцев с нашим языком.

Затем мы переходим к теории словесных произведений, сначала прозаических, потом поэтических. Главное внимание при сем обращается на объяснения внутреннего построения словесных произведений, на условия, коим подлежат различные роды их. Теоретическое изучение словесности сопровождается примерами, которые берутся преимущественно из писателей отечественных и из произведений иноземных, усвоенных русской словесности переводами наших знаменитых писателей. Было время, когда в преподавании словесности преимущественно перед практическим знакомством с нею изучали правила и законы ее видов, отчетливо разъясняли взаимное различие их и особенные их свойства, но не знакомили достаточно воспитанников с живыми примерами, столь важными для смысла теории, и тем придавали какую-то мертвенность нашему предмету, в сущности, живому и привлекательному. Такой метод, убивающей дух предмета, противодействуют современные мнения о преподавании, советуя в средних учебных заведениях обогащать воспитанников преимущественно чтением и личным знакомством с образцовыми произведениями словесности. Если бы выбирать из этих двух метод, то без сомнения, должно предпочесть последнюю первой; но и относительно ее нельзя обойтись без некоторых замечаний: она, в свою очередь, переступая законные границы, вредит надлежащему познанию предмета. В наше время так нетрудно встретить молодого

человека с большою начитанностью, которая не столько радуется за него, сколько печалит: этот способ чтения всего без разбора и отчета приводит читателя к крайнему смешению понятий. Все роды словесных произведений с особенностями назначения каждого из них и с особенностями условий, свойственных каждому из них, сливаются в голове неразборчивого читателя в одну хаотическую грудю: он читает и поэму, и ораторскую речь, и сатиру, и басню, выщипывая из них какие-нибудь общие мысли и занимаясь общностью их содержания, упуская вовсе из виду частную красоту каждого рода, ему только свойственную. От этого такой упадок и такое смешение художественных понятий в наше время: от этого и наша критика такая, какая она есть. Да и в отношении к обогащению мышления такая метода более вредит, нежели приносит пользы, ибо мышление обогащается не столько простым знакомством со многими предметами, сколько уразумением отношений, между ними по природе существующих, и умением всякой вещи указать ее место, существом ее определяемое.

Наконец, в заключение гимназических занятий проходится курс истории русской словесности. Запас сведений, заготовленный предыдущими занятиями в классе и собственною начитанностью учеников, здесь пополняется и приводится в стройный порядок; те писатели, с которыми ученики познакомились из отрывков, изучая историю языка или прилагая примеры к правилам риторики и пиитики, вновь предстают пред них, но уже в полноте своей деятельности, поясняемой притом теоретическими замечаньями. Многообразная духовная жизнь нашего народа, выразившаяся в его словесности, раскроет здесь воспитаннику свой смысл, поскольку он может воспринять его, и обоймет его могуществом своего влияния.

И древний период нашей истории, в течение которого возростали корни начала русской жизни, явится ему во всем своем величии и святине. Там пройдут перед ним и глубокомысленные церковные витии первых трех веков нашего христианства, Илларион, Кирилл и Серапион; там услышит он правдивые сказания нашего честного Нестора о первых временах нашего государства и чудную повесть о подвижниках печерских, основателях народного благочестия; там расскажет ему игумен Даниил о своем благочестивом посещении Св. Мест, столь вожделенных для сердца христианина; там прочтет ему благоверный Мономах свое Поучение, повергающее мысль в прах перед величием древнего русского христианина, и митрополит Никифор своим посланием укажет на любовные отношения церкви русской к верховной власти, чуждые даже тени совместничества или соперничества; там прозвучит перед ним скорбная песнь о пленении Игоря и радостная повесть о Куликовской битве, предтече освобождения нашего Отечества; там услышит он стихи нашей нищей братии, в которых выразилось глубокое сочувствие русского человека к богоугодному житию праведников, и песнь нашего народа, какой нет другой в мире (ибо по народу и песнь), откликающуюся и на важные события нашей истории, и на красоты внешней природы, и на живые ощущения внутреннего мира души; там услышит он священный призыв духовного пастыря, спасающего отчизну во дни безначалия, и ответный глас истинных сынов и спасителей Отечества; там, наконец, он возблагодарит перед ревностью Святых Отцов наших — Иосифа Волоцкого, Геннадия, Максима Грека, Димитрия Ростовского и иных, которые сохранили святую православную Церковь нашу от всех опасностей, грозивших ей со стороны стригольников, жидов, раскольников и других врагов ее, и которые завещали нам оружие для ее защиты,

как бы предчувствуя, что жизни русской предстоят новые и сильнейшие искушения.

При таком действии на воспитанника нашей древней словесности можно ожидать, что и в произведениях нового ее периода он сумеет отличить существенные явления от несущественных. Ничто не воспрепятствует в таком случае духу великих наших писателей обнять его ум своим благотворным влиянием и уберечь его от насилия беглых современных мнений. Высокая нравственная чистота, лежащая в основе всей их деятельности, будет постоянною охраною его от искушений, всюду расставленных на скользком пути юности; возвышенность и глубина их помыслов не даст ему погрязнуть в тине низких страстей или ограничить свои стремления в жизни какими-нибудь мелочными выгодами себялюбия; наконец их пламенная любовь к Отечеству, любовь деятельная и самоотверженная, научит его приносить все свои дарования и силы в жертву Отечеству и с тем вместе вселит в него глубокое и сознательное уважение к нашей народности.

На этих двух началах нашей жизни, то есть на православии и народности, создается третье его основание — самодержавие, которое от православия заимствует свое освящение, а в истории находит блистательное опытное подтверждение своей истине.

Эти основные начала нашей жизни давно уже известны нашим правительством и поставлены им в основание русского воспитания. Оживить смысл их в сознании учащегося юношества и тем предохранить его от проникающих всюду современных заблуждений — вот что составляет задачу русского воспитателя, желающего оправдать доверенность к нему правительства, которое за все свои благодеяния, нам оказываемые, требует от нас одного: верного исполнения своих мудрых предначертаний.

В заключение речи хочу сказать несколько слов вам, юные друзья мои, в напутствие вашего нового поприща. В последний раз обращаю к вам слово свое с правом, ибо вижу вас в стенах того заведения, в котором столько лет вы слушали мои наставления. Вы вступаете в ту прекрасную пору жизни, которая обыкновенно почитается лучшею и счастливейшею. Я очень хорошо знаю и живо чувствую все привлекательные свойства юности, тем более, что сам едва переступаю за ее черту; но не хочу скрыть от вас и опасностей этого возраста. Чистота побуждений еще не ручательство за чистоту умствования и действий; не много таких сердец, которые, предваряя опыт, отвращаются от всего того, что содержит в себе примесь порока; редко встречается такой чистый смысл, который, при первой встрече с вещью, еще до внимательного разбора ее, отделил бы в ней от истины ложь. Большая часть людей, можно сказать, все идут путем опыта и проходят, один более, другой менее, искушения зла; и потому необходимо строгое и постоянное внимание к себе. Берегитесь самонадеянности, которая так тесно связана с неопытностью и незнанием меры своих средств, не почитайте всего себе известным и охотнее преклоняйте слух свой к указаниям воздерживающей вас любви, нежели к обаянию на все соизволяющей лести. Воспитывайте в себе строгое понятие о своих обязанностях в обществе, которое отныне будет смотреть на вас уже не как на безответственных детей, а как на юношей, способных давать себе разумный отчет во всем. Более же всего храните чистоту сердца и совести и не уступайте ее никаким внушениям и требованиям лжеименного разума.

Кончу словами великого вселенского учителя: «Возвышайся более жизнью, нежели мыслию: ибо жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль довести до великого падения»².

ЗАПИСКА О НАРОДНЫХ УЧИЛИЩАХ

«Записка о народных училищах» составлена была в 1862 году, в ту пору, когда против бесспорного дотоле права Церкви руководить первоначальным обучением народа впервые возвысился голос министерства народного просвещения, которое из верного союзника Церкви внезапно обратилось в завистливого и недоброжелательного соперника. Бороться с таким неожиданным нападением в области правительственной выпало на долю бывшему в то время обер-прокурору Святейшего Синода А. П. Ахматову, которому в помощь и представлена была эта записка, изображающая главные и самые крупные черты вопроса об отношениях народной школы к Церкви как в нашем Отечестве, так и на Западе. Исход борьбы известен: вопреки всеобщему и исконному убеждению самого народа, желающего для своих детей только такой школы, которая из Церкви исходит и к Церкви ведет, и в нарушение правительственных преданий, школа была искусственно оторгнута от Церкви и насильственно уклонена на те странные и исполненные опасностей пути, по коим она поныне блуждает.

В настоящую минуту, когда зловещие указания опыта возбудили внимание Правительства к сему роковому вопросу и когда возникают надежды, что право-

славному Русскому народу, вместо подносимого ему столько времени камня, дадут, наконец, чистый и питательный хлеб, всякое слово в ограждение народной школы от «странных и различных научений» получает особую цену и право на распространение между людьми, способными внимать угнетенной предубеждениями истине. Их просвещенному вниманию составителю «Записки о народных училищах» поручает и свои любовью к церкви, народу и истине внушенные размышления.

Назначение первоначальных народных училищ состоит, прежде всего, в нравственном воспитании народа. Из предметов обучения, обыкновенно вносимых в программу первоначального училища, этому главному его назначению может соответствовать только один Закон Божий; все же прочие предметы его программы: чтение, письмо, счисление и даже какие-нибудь начатки наук по природе своей не содержат в себе ни малейшей нравственно действующей силы и могут лишь сделаться орудием нравственного воспитания, если только люди, которым вверена школа, захотят и сумеют употребить их для этой, а не для противной цели.

Более обширный курс учения в народной школе был бы в настоящее время для нас решительно не по силам: безрассудно было бы гнаться за излишним, когда нет достаточных средств устроить как следует необходимое. Такое стремление тем более могло бы показаться странным, что даже у тех народов, которые преимущественно пред другими прославились цветущим состоянием своих народных школ, почитают необходимым избегать разнообразия в их программе. Так, при определении курса народных училищ в Пруссии в 1854 году, правительство этой страны заботилось преимущественно о том, чтобы удержать народное образо-

вание в пределах необходимо нужных и простых и не допускать в его программу разнообразных полезных предметов (*Vielerlei*)*.

Впрочем, какая бы программа ни была принята в первоначальных училищах, хотя бы самая обширная и разнообразная, нравственно-воспитательное значение этих заведений через то еще не было бы упрочено: ибо развитие и обогащение ума не состоит в необходимой и неперенной связи с просвещением и утончением совести. Не всякое образование ума приводит к преуспеянию нравственному: существуют самые ясные и неопровержимые доказательства того, что с развитием народной образованности, при превратном ее направлении, умножаются порочные наклонности народа и увеличивается число его преступлений. Посему справедливо будет заключить, что если желают сохранить народные школы верными их главному и существеннейшему призванию воспитывать народ в началах истинной нравственности, то средств к достижению этой цели следует искать отнюдь не в расширении их учеб-

* Поборником разнообразия в прусской палате был депутат Гаркордт, но все его возражения против простоты первоначального обучения были победоносно опрокинуты знаменитым Шталем, автором регулятивов 1854 года. Известный статистик Франции Quetelet в начале 30-х годов нашего века составивший карту Франции и Нидерландов, в которой обозначены местности этих государств, с одной стороны, по степени образованности народа, с другой, по количеству совершаемых уголовных преступлений, показал, что центральные департаменты Франции, в которых совершалось наименее преступлений, были самыми невежественными; что, наоборот, в Эльзасе и департаменте Сены, самых просвещенных во Франции, совершалось ежегодно преступлений всякого рода более, чем в соседних местностях. М. Fayet в 1850 году сообщил Парижской Академии нравственных и политических наук, что в продолжение двух последних десятилетий число преступлений и проступков ежегодно возрастало в большей пропорции в департаментах более образованных, нежели в менее образованных.

В известном сочинении Dupanloup (т. 1, стр. 326) приводятся многие другие, столь же неопровержимые доказательства той мысли, что между образованием ума и усовершенствованием нравственным нет неперенного соотношения (*прим. Т. И. Филиппова*).

ной программы. «Чтобы сделать народ нравственным, говорит Vinet, самый верный и краткий путь учить его нравственности».

Между тем для народа не может быть никакого иного источника нравственных понятий, кроме религии; понятие о долге, лежащее в основании всякой нравственной деятельности, в народе может быть прочно связано только с идеею о Боге; следовательно, предлагать ему нравственное учение независимо от вероучения значило бы трудиться совершенно напрасно и строить на песке. И хотя бесспорно, что истинной нравственности без религии нет не только для низших слоев народа, но и для всех его классов богатых, просвещенных и довольных; но эти классы имеют, по крайней мере, некоторую возможность вообразить себе противное и в жалком самообольщении довольствоваться ограниченной и низкой мерою нравственных идей, истекающих из постижений естественного разума. Для народа невозможно даже такого рода самообольщение, и потому сообщать народу нравственные начала — значит учить его вере и воспитывать его в ее правилах.

Но религиозное воспитание народа не может быть совершенно одним преподаванием в народной школе предметов веры даже и тогда, если бы из общего числа учебных часов для сих предметов была определена часть более приличная их важности, чем та, которую уделяют ему проекты министерства народного просвещения¹.

Знаменитый автор французского закона о первоначальном обучении (*Loi sur L'instruction primaire*, 28 juin 1833), разительными и горькими указаниями опыта убежденный в несчастных последствиях народного обучения, свободного от влияния веры, говорит:

«Чтобы обучение народа было на самом деле здоровым и полезным обществу, ему необходимо быть глу-

боко религиозным. Под этим я разумею не только то, что обучение предметам веры должно получить в программе народного училища свою часть и что религиозные упражнения ее воспитанниками должны быть строго соблюдаемы; нет! народ не может быть воспитан религиозно такими ничтожными и механическими средствами. Народное воспитание должно совершаться посреди религиозной атмосферы так, чтобы религиозные впечатления и навыки проникали в него со всех сторон. Религия не есть занятие или упражнение, которому можно назначить свое место и свой час; это — вера, это — закон, который должен постоянно и всюду чувствоваться и который только при этом условии (а се ргіх²) производит на душу и жизнь спасительное действие. Влияние религии в народных школах должно быть преобладающим, если священник не доверяет учителю и удаляется от него, если учитель почитает себя независимым соперником, а не верным помощником священника; тогда нравственное значение школы утрачено, и она (из благодеяния народу) легко может обратиться в опасность (для него)*».

Этими замечательными словами необыкновенного человека ясно и определительно обозначаются два предмета: 1) какое место в программе и вообще в жизни народной школы принадлежит религии и 2) в какие отношения к народной школе должен быть поставлен священник - законоучитель, если желают, чтобы народная школа была благом, а не опасностью для страны.

Свидетельство Гизо³ тем особенно важно, что оно приходит из Франции, из той страны, законы которой до последнего времени старались изгонять отовсюду, особенно из области общественного и народного воспита-

* Mémoires etc. par M. Guizôt, t. III., p. 69 (Мемуары г-на Гизо, т. 3, с. 69) (прим. Т. И. Филиппова)

ния, влияние религии и духовенства, и от того самого человека, которому принадлежит закон 1833 года, поставивший этому влиянию немалые препятствия.

Главный и существенный порок этого закона, по признанию самого Гизо, состоял в том, что его начертаниями ослаблено было влияние на народную школу церкви. Учитель школы был поставлен этим законом в совершенно независимое отношение к приходскому священнику (кюре), и хотя священник признан был непременно членом общинного совета, учрежденного для наблюдения над народною школою; но председательство мэра, сопряженное с решительнейшим перевесом его над значением священника, и совместничество других независимых членов общинного совета, делало влияние священника на народную школу совершенно ничтожным, в той же почти мере, как предположено это сделать во вновь изготовленном проекте нашего министерства народного просвещения*.

«Поставляя священника и учителя народной школы, говорит знаменитый автор книги «О воспитании», в такое странное взаимное равенство, измеряя тем же уровнем авторитет и характер обоих, унижали одного и надмевали неизбежно другого. Кто же удивится, что такой закон произвел во Франции, по энергическому и столь часто повторяемому выражению Тьера, 40.000 anticurés, 40.000 священников атеизма и социализма**».

Что касается до других стран Западной Европы, то в большей части их определенное словами Гизо отношение к народной школе религии и ее наставника или положи-

* В другом проекте, изготовленном тем же министерством, даже и не упоминается о каком бы то ни было влиянии священника на народную школу (прим. Т. И. Филиппова).

** De l'éducation, par M. Dupanloup, т. 1, р. 315—316. Гизо оправдывается, впрочем, тем, что закон его подвергся весьма значительным изменениям, прошед через две палаты (прим. Т. И. Филиппова).

тельно узаконено, или же соблюдается преобладающею силою мнения большинства.

Так, в Пруссии, по силе ныне действующих законов (регулятивы 1854 г.), в существенном согласных и с прежними постановлениями, лица духовного звания принимают самое близкое участие в управлении народными школами. Каждая суперинтендентура или деканат (в католических округах) составляет народно-учебный округ, управляемый инспектором, так что с званием суперинтендента или католического епископа (в Пруссии) совмещается и должность инспектора народных училищ в округе. В случае отказа суперинтендента или епископа от инспекторской должности ее возлагают на старших после них лиц (непременно) духовного звания.

Ведению суперинтендента подлежат собрания училищных старшин (Schulvorsände), заведывающие сельскими школами. Хотя председательство в этих собраниях и предоставляется попечителю из мирян, но по силе действительного влияния, и там главное лицо есть пастор: так как должность попечителя ограничивается в настоящее время только правом предлагать высшему начальству (и то чрез суперинтендента) кандидатов для занятия учительских мест. В его отсутствие председательствует в собраниях пастор.

Должность местного инспектора и ревизора народных школ поручается также лицам духовного звания. Этим ревизорам принадлежит наблюдение за умственной, нравственной и хозяйственною частью народных училищ; им вменено в непременную обязанность созывать ежемесячно всех учителей на общие совещания, на которых рассматриваются письменно разработанные и предварительно представленные учителями задачи по предметам их занятий. Этим же ревизорам предоставляется свидетельствовать о поведении народных учителей.

Деятельность народного учителя ограничивается одними учебными занятиями. В служебном отношении он непосредственно подчинен местному пастору, который, будучи членом собрания старшин, исключительно заведывает учебною частью школы, как духовный наставник всей общины (Seelensorger) и как преподаватель главного предмета.

Главное назначение народной школы, по прусскому уставу, состоит в сообщении народу истинно религиозного воспитания, в пробуждении ясного сознания христианских обязанностей и в указании способов, посредством которых учение веры может и должно быть применяемо ко вседневной жизни: так, чтобы эти правила и наставления сроднились с образом мыслей учащегося, укрепились в его сердце и перешли бы наконец в самую жизнь. (Наставления учителям сельских и низших городских школ 16 декабря 1794 г.)

Так как главная задача народной школы заключается именно в том, чтобы во вверенном ее попечению юношестве были насаждены и развиты семена христианской жизни, то первое место в учебной программе элементарного курса занимает Закон Божий (регулятив 3 октября 1854 г.). Сравнительно с другими предметами, входящими в программу прусской народной школы, курс Закона Божия особенно обширен.

Достоинно внимания, что из всех протестантских государств Германии, Пруссии (вместе с Саксонией) принадлежит никем неоспариваемое первенство в отношении к благоустройству народных училищ: ее школы почитаются наилучшими образцами германских заведений этого рода как в самой Германии, так и у чужих народов*.

* См., например, знаменитый Rapport de M. Cousin, представленный им министерству народного просвещения из Германии в 1831 году, или не менее замечательное сочинение англичанина: The social conditional and education of people in England and Europe, by Joseph Kay (прим. Т. И. Филиппова).

В Англии коренное право церкви на воспитание, и в особенности на народную школу, даже до последнего времени признавалось почти повсюду как нечто данное, как факт; на учителя всегда смотрели как на самого близкого, естественного помощника пастору; обыкновенно говорили: пастор есть учитель духовной школы, а учитель школы есть светский пастор. Последние прения о школах, бывшие в парламенте, ясно показали, что большинство еще доселе в пользу сочетания школы с церковью. Как в верхней, так и в нижней палате всего сильнее указывали на необходимость сохранения религиозного характера в деле народного воспитания и всячески старались поощрять о том оставить за разными церковными корпорациями. Генлей, член нижней палаты, всякую другую систему воспитания назвал просто помойной системой, из воды и молока, без силы и жизни.

Люди противоположного направления, желающие лишить народную школу религиозного характера, пользуясь упущениями господствующей церкви в деле народного образования и упорством ее представителей в некоторых неизвинительных предрассудках, успели, было, сильно подействовать на общественное мнение в Англии, но не надолго.

Вообразив, как будто бы оставалось выбрать одно из двух — или светское, или религиозное воспитание, — большинство стало на сторону церкви. Лучше хотели остаться с нею при всех невыгодах ее одностороннего воспитания, чем подать руку ее противникам и таким образом послужить к разведению *змеиного семени* по всей земле. Воспитание, вполне отданное в руки администрации, думает большинство англичан, будет заключаться только в образовании ума, которое без образования религиозного вместо благословения приносит проклятие.

Вот почему, как скоро являлись какие-либо попытки лишить народные школы религиозного их характера, в самое короткое время собирались невероятно огромные суммы, единственно с той целью, чтобы основать новые школы на началах церкви. События 1848 и 1849 годов в остальной части Европы еще более утвердили их в исключительности сего направления. Там и доселе ссылаются на 1848 год, чтоб доказать, как опасно образование народа, которое не простирается далее пределов этой земли.

Нельзя не видеть, что там, где кончилось влияние религии на народ, порывы его к свободе не знают меры, потому что все движения страстей считаются позволенными. Всякому народу необходимы твердые основы, людям нужен наставник, который учил бы их во имя Христово и научил бы их, по крайней мере, тому, что скорби и лишения — необходимое условие нашей жизни. Потому-то и в бесчисленных английских сочинениях касательно образования и воспитания народа пробным камнем действительности народного воспитания полагается не иное что, как способность народа к самоограничению и готовность его на борьбу со страстями.

То воспитание, говорят англичане, которое не дает народу ни религии, ни нравственной и гражданской свободы, не заслуживает имени воспитания. (Письма о воспитании в Англии доктора Визе, С. 107 и 113.)

В Дании все элементарные школы, исключая копенгагенские, существующие на особом положении, находятся под управлением особых комиссий из прихожан, в которых приходские пасторы бывают непременно и самыми деятельными членами, а в деревенских приходах даже непременно председателями. Пасторы по закону наблюдают за порядком учения в школе, за учителями и учениками, заботятся о снабжении школы всем нужным и ведут отчетность.

Низшим церковнослужителям закон предписывает быть наставниками приходских детей, в особенности в предметах веры; посему должность дайнов или дьячков в Дании стараются соединять с должностью наставников народных школ.

Так как число богословских кандидатов, выдерживающих экзамен на пасторскую должность, бывает, по крайней мере, вдвое более того, чем сколько нужно их для замещения свободных пасторских мест, то, по крайней мере, половина студентов до получения пастырской должности (а это продолжается иногда весьма долго) должна искать других занятий. Посему очень многие из этих будущих пасторов занимают временно учительские места в народных школах.

Пробсты или благочинные суть ближайшие начальники над духовенством и народными школами. Они наблюдают за поведением и исправностью пасторов, дайнов и учителей, принимают и ревизуют отчеты о состоянии школ, производят в них экзамены и т. д.

Епископам и суперинтендентам принадлежит высший надзор за состоянием народного образования⁴.

Можно было бы значительно продолжить ссылки и указания на иностранные законодательства, на мнения замечательных людей, на многоразличные свидетельства опыта, благоприятствующие мысли о необходимости теснейшего союза между народной школой и церковью, но пределы настоящей записки не позволяют вполне воспользоваться этой возможностью.

Переходя к России, встречаемся со следующими вопросами:

Существовало ли доселе в нашем законодательстве какое-либо систематическое воззрение по вопросу о первоначальном народном обучении?

Замечалась ли в самом народе какая-либо ясно и определительно выраженная склонность к тому или другому способу его обучения или воспитания?

Кем и в какой мере эта склонность, если она выразилась, была доселе удовлетворяема?

Ввиду этой склонности в чем состоит задача тех властей, которые призваны устроить судьбу народного обучения или воспитания в России?

То, что для этой цели намереваются в настоящее время предпринять, сообразно ли с природою предмета, с уроками, почерпаемыми из чужого опыта, с желаниями народа, с ожиданиями церкви и государства, наконец, с нашими средствами.

Все наши доселе бывшие постановления, касавшиеся этого предмета, не представляют полной и стройной законодательной системы, охватывающей все стороны вопроса и его существеннейшие отношения. Причина тому заключается, конечно, в том, что размеры, которых до сих пор достигало дело народного образования в России, были весьма необширны, и через то самый вопрос о его устройстве возбуждал слишком мало участия как в обществе, так и в законодателях. При всем том частные законоположения, касавшиеся сего вопроса, склонялись постоянно к той мысли, что в первоначальной народной школе духовенству должно предоставить естественное законное первенство. Такое начало принято было в основание при устройстве в 1836 году сельских школ в ведомстве государственных имуществ, куда наставники определялись (как и доселе определяются) епархиальными начальствами из лиц, им подведомых. Епархиальному же начальству предоставлено было в 1850 году определять в тех школах: порядок преподавания и наблюдения за ним, правила испытаний и отчетности, выбор учебных руководств и книг для чтения.

Что касается до собственного воззрения народа на главную цель образования и школы, то оно издревле и к великому счастью до наших дней выражалось всегда одинаково неизменно, в пользу церковного влияния.

«В народе, — говорит один из замечательных наших писателей⁵, — существует особое воззрение на грамотность. Грамота для него есть дело в некоторой степени священное: она есть дверь, отверзаемая к уразумению Божественного Писания. Книжная мудрость в народном словоупотреблении почти равнозначительна богословию; начетчик означает человека, изучившего много священных книг. Таким образом, понятие о книжном обучении у простолюдина неразрывно связывается с понятием об истолковании слова Божия; в простом учителе чтения он ждет видеть наставника в Законе Божьем. Поэтому он отдает дитя свое в обучение преимущественно лицу, которое признает за священное».

На основании этих совершенно верных соображений автор брошюры, предложив самому себе вопрос: кому должно быть вверено первоначальное обучение народа, имел полное право дать следующий, сколько решительный, столько и справедливый ответ: «Духовенству. Ответ так не сомнителен, что только намеренное желание поколебать в народе христианские начала, или же совершенное незнание народных склонностей, могут отвечать иначе. Народ сам признает духовенство законным своим учителем».

В какой же мере отвечали стремлению народа те, у которых он преимущественно желал учиться? Если до последнего времени учительная деятельность русского духовенства не произвела плодов, которыми могла бы гордиться история нашего просвещения, то причины тому скрываются в множестве различных обстоятельств нашей общественной жизни: в жалком со-

стоянии нашего просвещения вообще, в стесненном и бедственном положении духовенства, у которого отняты были средства даже к собственному образованию, и наконец, в крепостной зависимости целой половины народа, державшей его во мраке и вредно действовавшей на общий строй русской жизни.

Но лишь только человеколюбие царя изрекло слово народного освобождения и лишь только освобожденный народ с неимоверною, всех изумившею, жаждою, столь противоположной его прежнему равнодушию, устремился к учению: русское духовенство явило не менее изумительную готовность и способность послужить внезапно возникшей и с каждым днем усиливающейся потребности народа. В течение 2—3 лет оно усадило учредить по всему необъятному пространству Русской земли такое количество народных школ, которое могло бы показаться невероятным, если бы не было вполне достоверным и несомненно засвидетельствованным. Общее число их в настоящее время простирается до 18 229, что составляет $\frac{3}{4}$ числа приходских сельских церквей в России. Есть епархии, и их немало, в которых каждый приход имеет уже свою народную школу, и в этих школах, помещающихся по большей части в домах священно- и церковнослужителей, учатся уже сотни тысяч (более 300 тыс.) детей обоего пола, у тех же священно- и церковнослужителей и у их жен. И все это множество детей народа посещает школы не только без всякой платы своим неимущим наставникам, но нередко приходится встречать в печати известия, что такой-то священник построил для своей приходской школы дом, другой пригласил себе в помощь учителя из окончивших курс семинаристов и платит ему из своих последних достатков 25, 50 и 75 руб. в год; третий выписал на свой счет учебные в другие полезные народу книги

и разные учебные принадлежности. В некоторых епархиях уже учреждены, а в иных учреждаются, особые блюстители народных школ, заводимых духовенством, которые обязываются обзирать школы своего участка, доводить до сведения епархиального начальства о их состоянии и нуждах, подавать наставникам советы и т. п. В консисториях учреждаются особые учебные столы, в которых производятся дела, относящиеся исключительно к церковно-народным училищам. Таким образом, русское духовенство, никем не поддержанное, лишенное не только какого-либо деятельного пособия от правительства, но даже всякой нравственной опоры со стороны общества, оскорбляемое дурно направленною литературою, по местам встречающее даже противодействие от лиц, имеющих в крае большую силу (например, поляков-владельцев в западных епархиях), и от представителей местной гражданской власти, имеющих на образование народа свой взгляд, — это русское духовенство, при таких обстоятельствах, явилось в высшей степени верным своей существенной обязанности обучать народ и заслужило полнейшее право на всеобщую и глубокую признательность: благодаря его святой ревности, 3/4 сельских приходов в России уже имеют даровые народные школы.

Явление поразительное, которое объясняется единственно тем и вместе очевидно доказывает то, что нравственная связь духовенства с народом, несмотря на все неблагоприятные для нее влияния всей нашей истории за последние 150 лет, в такой еще мере жива и крепка, что может производить дела, едва вероятные и без нее решительно невозможные. Счастливо государство, которое в помощь своим трудным предприятиям может призвать такую великую и спасительную силу; в союзе с нею оно совершит легко и скоро то, о чем без

ее содействия невозможно было бы и подумать. Разве есть какая-нибудь и для кого бы то ни было (для лиц, корпораций, учреждений и т. д.) возможность в течение 2—3 лет завести около 20 тыс. училищ? Но, между тем, это, по-видимому, невозможное и невообразимое явление есть совершившееся и никакому сомнению не подлежащее событие; совершитель этого события есть русское духовенство. Можно этому радоваться или этим огорчаться, видеть в этом средство к спасению народа или к утверждению в нем суеверия, — это зависит от личных расположений и взглядов каждого; но никто не может отвергнуть того, что 3/4 всех сельских церквей в России имеют при себе народные училища благодаря усердию и жертвам нашего русского духовенства.

4) Ввиду этого многозначительного явления в чем же должна состоять задача правительства относительно устройства училищ для первоначального народного образования? Ответ его может быть затруднителен. С теми средствами, которыми оно располагает, ему следует прийти на помощь к скромным и бескорыстным деятелям, которые, не дожидаясь ничьего содействия, по свободному побуждению своей любви к народу, приняли на себя заботы о его обучении и устроили уже 3/4 того количества училищ, которое составляет край желаний самого правительства*. Отказать в таком содействии начинаниям духовенства и стараться исхитить из рук его воспитание народа правительство могло бы без греха лишь в том случае, если бы оно:

а) убедилось, что направление и дух учрежденных духовенством школ не соответствует в каком бы то ни было отношении (религиозном, нравственном, учебном

* Проект министерства предполагает учредить в каждом сельском приходе по школе (прим. Т. И. Филиппова).

или политическом) его собственным намерениям и воззрениям на цель народного образования. Или:

б) думало, что эти школы, согласуясь с видами правительства, не угодны, однако, самому народу и устроены не по его мысли и склонности, и что, следовательно, поддержка их со стороны правительства была бы тяжким и непростительным насилием народу: так как поистине безрассудно и не нравственно употреблять из народа извлеченные средства на насильственно навязываемое ему образование, от которого он отвращается. Или, наконец:

в) надеялось открыть от себя такое же или даже большее количество школ, какое основано духовенством, и при том такого же или даже лучшего качества, с меньшими издержками и общественными или государственными неудобствами.

Можно с уверенностью сказать, что ни убедиться в первом, ни думать второго, ни надеяться на последнее русское правительство не может.

а) Оставаясь верным выраженному им самим* и совершенно справедливому воззрению на первую и главную цель народной школы, воззрению общему, как выше показано, и всем просвещенным народам Европы, русское правительство не может в этом отношении найти ни одного слова не в пользу тех школ, которые заведены духовенством. Если бы оно завело и свои особые народные школы, все же никому, кроме духовенства, оно не могло бы вверить исполнения главной их задачи, т. е. утверждения воспитанников в религиозно-нравственных понятиях посредством преподавания Закона Божия. Преподавать же из Закона Божия духовенство и в школах министерства стало бы

* § 1 Проекта общего плана устройства народных училищ (прим. Т. И. Филиппова).

то же самое, в том же, конечно, духе и (если бы министерство не поставило от себя преград) в том же раз-
мере, как оно преподает теперь в своих собственных училищах. Общее влияние приходского священника и вообще духовенства на народную школу признанное, как выше показано, законодательством и общественным мнением просвещеннейших стран Европы за необходимое условие того, чтобы школа не обратилась из благодеяния в опасность для народа, конечно, не может быть менее действительно в школах, учрежденных духовенством, чем в тех, которые были бы заведены самим министерством. И так как правительство, знакомое, конечно, с историею, современным состоянием в уставами народных школ в Западной Европе, не могло не признать и со своей стороны необходимость этого влияния и вследствие того постановило (§ 40 проекта) правилом, чтобы общее наблюдение за православным характером народной школы принадлежало законоучителю, то и в этом отношении министерство должно бы, по-видимому, признать учрежденные духовенством школы вполне соответствующими своим собственным воззрениям на цель школ.

В отношении к учебной программе заведенные духовенством школы также сообразны с намерениями министерства; предметы обучения в них те же самые (чтение, письмо, начало арифметики), какие предполагаются проектом и в будущих школах министерства. Нельзя не порадоваться, что в этом отношении ни духовенство, ни министерство не выходят из пределов, указываемых здравым разумением цели первоначальных училищ и тех средств, которые в настоящее время могут быть употреблены для открытия их в числе, достаточном для удовлетворения повсеместно обнаруженной народной потребности. Когда предстоит неимо-

верно трудная для правительства задача устроить такое огромное количество школ для первоначального обучения народа, то увеличивать затруднения усложнением программы этих школ (как выше показано, и вообще вредным и неуместным) значило бы подвергнуть самое дело народного образования опасности многообразных неудач и даже вреда.

Франция, находившаяся в 30-х годах нашего века по отношению к этому вопросу в положении весьма сходном с нынешним положением России, то есть, занятая созданием прочной и разумной системы первоначального народного образования и учреждением самых школ, была вовлекаема в эти затруднения и опасности людьми неблагоприятными, не понимавшими существенной цели народных школ и не соображавшими своих положений со средствами государства и народа.

Но мнения истинных друзей просвещения и народа постоянно устремлялись против неумеренности и недальновидности этих ревнителей разнообразия (*multiplcitate*) и указывали на необходимость держаться самых скромных размеров обучения и обращать особенное внимание на нравственное или, что то же, религиозное воспитание народа...

Враги религиозного направления первоначальных народных школ обыкновенно прибегают к разнообразию программы, думая ею заменить даже самое действие религиозно-нравственного воспитания. Доктор Визе в своих превосходных письмах о воспитании в Англии с ужасом говорит о некоторых народных школах Манчестера, Ливерпуля и Эдинбурга, учрежденных противниками **National Society**, которое, как известно, воспитывает народ на началах господствующей церкви.

«В этих школах, — говорит он, — устроенных исключительно для светского воспитания, о религии и не

упоминается: она совершенно оставлена на личный произвол каждого. Чему ж они учат молодых людей в этих школах, чтобы с самых юных лет подготовить их для жизни? Почти невероятно, чему! Между прочим, их учат популярной физиологии, краниологии, анатомии».

«Науки эти, — прибавляет прусский педагог, — конечно, имеют свою цену, но заменяют ли они ту строгую религиозную систему воспитания, которая дала Англии столько высоких людей, столько добродетельных членов общества?»*

К счастью для нашего народа, министерство народного просвещения не обнаруживает стремления к разнообразию и широте школьной программы и желает ограничиться в этом отношении теми же предметами, которые преподаются в школах, открытых духовенством**: это счастливое обстоятельство показывает, что и учебное устройство школ духовенства сообразно с воззрениями правительства.

Разность между воззрениями министерства и духовенства может возникнуть при вопросе о методе первоначального обучения и способе приготовления народных учителей; ниже предложены будут замечания о том, чего можно ожидать в этом отношении от министерства и от духовного ведомства, и может ли этой разностью быть оправдано стремление министерства,

* Там же, с. 115, русский перевод Е. Н. Попова.

** Странно, что два особые проекта по устройству народных училищ, обнародованных от одного и того же министерства, в этом параграфе, равно как во многих других существенно важных частях своих, противоречат друг другу. По проекту Устава общеобразовательных учебных заведений министерства (§ 15), курс учения в народных училищах начинается с наглядного учения, затем преподается Закон Божий, русский язык, чтение и письмо, арифметика и пение; а по проекту общего плана устройства народных училищ (§ 58) ни наглядного обучения, ни пения, ни даже письма не полагается. Но тот и другой проект согласно избегают вредного разнообразия программ (прим. Т. И. Филиппова).

оставив без внимания 20 тыс. существующих народных школ, вновь заводить свои.

В отношении политическом школы, учрежденные духовенством, не только совершенно безопасны, но, можно сказать, спасительны как для самого народа, так и для государства и для всего общества. Православная церковь и ее служители хотя и учат не бояться могущих только тело убить, но в то же время приписывают беспрекословное повиновение властям, как от Бога поставленным. Ни неверию, ни мятежному сопротивлению от Бога поставленной власти никогда не научит своих воспитанников служитель церкви.

Конечно, никто не имеет права сомневаться в том, что министерство желает и своим школам внушить такое же христианское направление и такую же верность политическим обязанностям; но, с другой стороны, всякий обязан крепко подумать о том, успеет ли оно в своих желаниях при том образе действий, который намерено избрать. Нельзя предположить, чтобы министерство имело надежду или намерение в своих школах преподавать народу какие-либо политические понятия, которые простирались бы за пределы политической морали катехизиса: это дело невозможное, опасное и, что всего лучше, вовсе ненужное. Итак, и в этом отношении народные школы, основанные духовенством, должны не только удовлетворять требованиям министерства, но представляться ему тем желаемым образцом, к которому его школы могут и должны приближаться*.

б) Что народные школы, основанные духовенством, отвечают требованиям и желаниям самого народа, тому нет лучшего и более сильного доказательства, как

* Правда, § 13 проекта устава и т. д. предполагает нечто особенное касательно внушения 10—15-летним детям понятия о их правах; но нельзя думать, чтобы в этом параграфе был выражен общий взгляд правительства, а не частное воззрение министерства (прим. Т. И. Филиппова).

самое их существование и число, и количество обучающихся в них детей. Никто не мог и не хотел привлечь в эти школы детей приманкой или принуждением: 20 тыс. первоначальных школ с 300 тыс. учеников есть плод свободного расположения духовенства просвещать народ и столь же свободного желания народа учиться у своих духовных пастырей. И в этом смысле совершенно справедливы слова вышеупомянутой брошюры. «Истинно понятая свобода образования в России требует мер, которые бы, согласно с собственными склонностями народа, помогали ему глубже и сознательнее утверждаться в церковном учении. Следовательно, свобода-то образования и требует, чтоб обучение народа вверено было духовенству*.

Справедливость этой посылки и выведенного из нее заключения не в силах опровергнуть никто, если бы кому-нибудь и понадобилось это для своих целей: ибо посылка есть бесспорный и живой факт, а заключение выведено совершенно согласно с законами общей логики, равно для всех обязательной. Желание подчинить свободу просветительной деятельности духовенства и свободу народного расположения стеснительным условиям правительственной регламентации с целью взять в свои руки чужое дело, конечно, может действовать искусительно и склонять к презрению законов силлогизма; но чтобы своему властолюбию принести в жертву не только логику, но и высшее духовное благо народа, или своим личным всегда ограниченным соображением подчинить его свободное и всеобщее настроение, которого причины скрываются в бесконечно разнообразных и, к счастью, неизгладимых влияниях всей исторической его жизни, — для этого надобно или без меры презирать народ, или слишком уже недалеко видеть, или,

* Там же, стр. 7.

наконец, иметь необыкновенно твердую совесть, способную без трепета принимать на себя самую тяжкую ответственность.

в) О том, есть ли для министерства возможность завести в 2—3 года 20 тыс. школ, было бы странно и рассуждать. Наконец, что дешевле: заводить школы вновь, следовательно, строить или покупать для них помещения, учреждать для образования народных учителей особого рода заведения, платить этим специально для народных школ приготовленным учителям жалованье, потом платить также жалованье — и большое — директорам народных училищ и их помощникам и т. д. или же учрежденным уже училищам, по мере добровольно оказываемых ими услуг народному образованию, приходить на помощь с денежными пособиями, не создавая при этом нового непроизводительного разряда людей, не платя директорам и их помощникам и не учреждая нормальных школ? Ответ ясен.

Ясно и то, что в общественном и политическом отношении несравненно удобнее и безопаснее оставить народу тех учителей, которых он сам выбрал и которых церковь благословила учить его на основании своих божественных истин, нежели создать особый класс народных учителей направления неизвестного (это еще самый успокоительный эпитет), обеспеченного, несмотря на значительные издержки на него казны, весьма неудовлетворительно, от народа оторванного и никакого иного пути перед собою не имеющего, следовательно, непременно недовольного.

Таким образом, для правительства решительно нет ни политических, ни нравственных, ни экономических, ни педагогических, одним словом, никаких причин при устройении системы народного обучения оставить без поощрения и содержания школы, основанные духовен-

ством, и совместно с ними, как будто в перебой, заводить какие-либо особые училища, уничижая чрез то достохвальные подвиги духовенства и показывая явное презрение к его жертвам на общую пользу народа и самого правительства. Однако несмотря на то, министерство не только имеет это намерение, но сделало уже важные шаги к его осуществлению: на основании Высочайшего Повеления 18 января 1862 года, им исходатайствованного, оно заводит уже свои училища рядом с училищами, учрежденными духовенством, полагая, без сомнения, что для подобного соперничества или, вернее сказать, противодействия духовенству оно имеет достаточные и достойные уважения основания. Важность дела побуждает внимательно рассмотреть эти основания, если они есть, и вникнуть в существо и достоинство намерений министерства.

5) Исходатайствованное им Высочайшее Повеление 18 января сего года изложено (без сомнения, г.Управляющим министерством) в таком виде: Высочайше повелевается:

а) «Учрежденные ныне и впредь учреждаемые (вероятно: те, которые будут впредь учреждаемы?) духовенством народные училища оставить в заведовании духовенства, с тем чтобы министерство оказывало содействие преуспеянию оных по мере возможности».

б) «Оставить на обязанности министерства народного просвещения учреждать во всей Империи, по сношении с подлежащими ведомствами, народные училища, причем министерству следует пользоваться содействием духовенства во всех случаях, когда министерство признает сие нужным и когда духовенство найдет возможным оказать ему содействие».

Если министерству вменяется в обязанность обращаться к содействию духовенства только в тех случаях,

когда оно само (т. е. министерство) признает это нужным, иначе, когда оно захочет или когда ему заблагорассудится, то для него открывается полная и законная возможность даже вовсе не обращаться к духовенству за содействием, если оно того не захочет, или же, если министерство не решится явно оскорбить нравственного приличия и общественного чувства, предоставить духовенству такую малую долю влияния на свои школы, которая будет вовсе ни для кого не заметна и не ощутительна.

Что намерения министерства клонятся именно к тому, это с очевидностью выражено в изъяснении Высочайшего Повеления 18 января, предложенном в отношении г. Управляющего министерством к Киевскому митрополиту (от 3 июля сего года за № 5062),

«Министерство народного просвещения, — сказано там, — с своей стороны обязано, во-первых, не нарушать общих правил, связующих духовное ведомство, а во-вторых, предоставлять законоучителям такое вознаграждение, которое привязывало бы их к преподаванию и обеспечивало образование юношей в духе религиозной чистоты. Далее сего обязанности министерства народного просвещения не идут: следовательно, соглашение с духовным ведомством обязательно преимущественно в отношении приискания законоучителей».

В этом премрачном изъяснении Высочайшего Повеления не все понятно: без нового разъяснения невозможно уразуметь, к чему именно обязало себя министерство, обещая не нарушать общих правил, связующих духовное ведомство, и что это за общие правила и в каком смысле они связуют духовное ведомство. Но в дальнейших словах отношения, несмотря на примечаемую и в них неточность, понятно выражена мысль, что министерство не признает за духовным ведомством никакого другого

права на учреждаемые министерством школы, кроме права (вернее будет сказать, обязанности) назначать в них, впрочем, не по своему избранию, а по соглашению с министерством, законоучителей.

Приметить можно, что и это необширное право исполнять свою непрременную обязанность министерство оставляет за духовным ведомством только потому, что не видит возможности отнять его.

«Что касается, — сказано в том же отношении г. Управляющего министерством, — до условий определения в будущие училища законоучителей, то само собой разумеется, что без законоучителей училища обойтись не могут, равно и то, что законоучители не могут быть взяты иначе, как из духовного ведомства».

Действительно, было бы не совсем удобно оставить народные школы без законоучителей или пригласить в них для преподавания Закона Божия студентов или кандидатов университета; и нельзя не воздать г. Управляющему министерством должной чести за то, что он это понял.

Но в то же время нельзя не сказать и того, что, соглашаясь принимать от духовного ведомства законоучителей для своих народных школ, министерство только покорялось необходимости и хотело соблюсти приличия: ибо, по его намерению, и в первоначальных училищах влиянию законоучителей оставляется такая же малая мера, какая предоставлена ему в средних и высших училищах министерства; а это значит, что этого влияния вовсе никто не будет ни замечать, ни испытывать. Из слов г. Управляющего министерством очевидно, что и та весьма ограниченная доля влияния на народную школу, которая определялась § 40* Проекта

* В § 40 «Независимо от обязанностей по обучению Закону Божию законоучитель имеет постоянное наблюдение, чтобы и вообще преподавание в училищах всех прочих предметов совершалось в духе православной веры и христианского благочестия» (прим. Т. И. Филиппова).

общего плана устройства народных училищ, законоучителю предоставлена не будет и что все отношения его к народным школам министерства будут ограничиваться преподаванием уроков трех в неделю. Здесь прилично припомнить вышеприведенные слова Гизо:

«Необходимо, чтобы народное образование было глубоко религиозное. И я разумею под этим не только то, что преподавание предметов веры должно иметь там свое место; нет! народу нельзя сообщить религиозного воспитания такими ничтожными и механическими средствами».

«Необходимо, чтобы народное воспитание сообщалось и воспринималось среди религиозной атмосферы, чтобы религиозные впечатления и навыки проникали в него со всех сторон. Религия не есть занятие и упражнение, которому назначается свое место и свой час; это — закон, который должен быть ощущаем постоянно и повсюду и который этим только путем производит на душу и жизнь спасительное влияние».

Уже и средние, и высшие училища министерства подвергаются горьким и, к сожалению, совершенно справедливым обвинениям в том, что влияние религии на их жизнь вовсе не существует и что должностное, мертвенное отношение к ним законоучителей, состоящее в одном преподавании предмета, не может вовсе препятствовать разрушительному и всюду проникающему действию духа неверия и нестроения. Г. Пирогов в одном из своих педагогических рассуждений с откровенностью, его отличающею, решительно объявил (что всем, впрочем, очень хорошо известно), что богословская кафедра в университетах при настоящем положении дел не приносит никакой пользы, вследствие чего и предлагает уничтожить обязательное преподавание богословия в университетах. Оставляя в стороне стран-

ность заключения, нельзя не признать истины того явления, из которого оно выведено. Сословия, ближайшие к народу, начинают уже подумывать об учреждении своих особых гимназий, которые намереваются подчинить руководству духовных лиц, дабы чрез то водворить в них то религиозное настроение, которое совершенно утрачено в гимназиях министерства, находящихся со служителями и учителями веры в самых далеких и чисто официальных отношениях.

Важные для общества и весьма поучительные для министерства признаки! Изумительно, что они не производят на министерство ни малейшего действия: ибо, оставляя их без всякого внимания, оно и для народных школ, которых главное и существенное назначение состоит именно в религиозно-нравственном воспитании народа, не хочет от учителей веры принять ничего, кроме должностных уроков, освобождая учителя народной школы от всякого влияния священника.

Для того, кто желает видеть, легко предусмотреть, каковы будут плоды таких школ.

«Если священник, — говорит Гизо, — не доверяет учителю и удаляется от него; если учитель считает себя независимым соперником священника, а не верным ему помощником, тогда нравственное значение школы утрачено, и она (из благодеяния народу) легко может обратиться в опасность (для него)».

То же самое, только еще яснее и убедительнее говорят законодательства, общественное мнение и опыты просвещеннейших стран Европы, на которые указано было выше.

Можно ли предположить, чтобы министерству были незнакомы такие простые и, кажется, бесспорные соображения? Как ни обидно для его правительственной чести такое предположение, но предстоит необходимость

на него решиться: ибо другое предположение (третьего же не может и быть по закону дилеммы), будто министерство заведомо презирает столь ясные и всеобщим опытом всех просвещенных народов подтверждаемые указания и, вопреки им, хочет послужить, как выражаются в Англии, разведению по земле змеиною семени, будет для него еще оскорбительнее, как обвинение в злых намерениях, на которое можно решиться только тогда, когда действий министерства нельзя будет объяснить неопытностью.

Министерство народного просвещения, по видимому, не имеет намерения посягать на существование народных школ, учрежденных духовенством, и желает делить с ним труды народного обучения.

«Совместничество (?) в этом деле духовенства и министерства,— сказано в том же отношении г. Управляющего, — составляет одно из условий успеха в деле народного образования; остается только дойти до разумного и справедливого уравновешения взаимного (совокупного?) действия означенных ведомств в деле, общем для них во многих отношениях».

В чем же, по мнению г. Управляющего министерством, будет состоять справедливое уравновешивание действий обоих ведомств?

Во-первых, в том, что духовное ведомство и министерство совершенно независимы друг от друга в деле открытия и развития (?) народных училищ;

Во-вторых, в том, что прежде устроенные (духовенством) училища могут свободно оставаться и содержаться* на прежних основаниях, на которых они учреждены.

Это значит, что правительство, по истолкованию г. Управляющего министерством, не запрещает духовен-

* В Высочайшем Повелении 18 января ничего, впрочем, не сказано о способах содержания народных школ обоих ведомств (прим. Т. И. Филиппова).

ству и на будущее время учить народ без всякого вознаграждения, жертвовать на пользу народа свое время, свой труд, свои дома и деньги (одним словом, гонения на духовные школы воздвигать не намерено); но само не обещает ему ни малейшего денежного пособия.

«Засим, — говорит г. Управляющий министерством, — и не должно быть речи о распределении между прежними приходскими училищами тех денежных средств, которые предоставлены министерству на новые учебные заведения».

Это значит, что весь новый налог по 27 1/2 коп. с души (более 1/4 всех подушных), который предполагают вновь взимать с народа на учреждение первоначальных училищ и который составит миллионы рублей, сполна будет предоставлен в распоряжение министерства.

Неужели подобное уравновешивание двух ведомств в самом деле представляется г. Управляющему министерством справедливым? Если бы дело не было так серьезно, то в этом эпитете можно было бы предполагать посильную шутку. Если же рассуждать о деле без всяких шуток, то нельзя не понять, что такое распределение средств, которые правительство намерено назначить на содержание первоначальных школ, приведет неизбежно, хотя и мало-помалу к тому, чего на словах как будто не хочет министерство; а именно к тому, что училища, открытые духовенством, станут одно за другим закрываться и народ лишится средств получать образование, какого он сам ищет и в школах министерства конечно не найдет.

Постоянные жертвы вообще не в природе человеческой, невозможно поэтому рассчитывать на то, чтобы русское духовенство, само нищее и требующее помощи, могло постоянно жертвовать народу своим трудом, временем и имуществом. С него слишком довольно той

заслуги и чести, что оно в самую нужную минуту народной жизни явило такую удивительную ревность к общему благу и в такой мере облегчило правительству исполнение одной из самых трудных в самых важных его задач. И не будет ли оно в совершеннейшем праве покинуть начатый им подвиг, если увидит, что все средства, извлекаемые из безвозмездно просвещаемого им народа, перед его глазами раздаются тем, которые нимало для народа не трудились и которые будут народу чужды по духу и, следовательно, будут стараться внести в народ собственный дух?

В высшей степени достойно замечания то, как министерство приступило к учреждению народных школ.

«Действуя в точных пределах своих обязанностей, — сказано в том же отношении г. Управляющего, — министерство должно стараться открывать новые народные училища везде, где представляется к тому надобность и возможность, и в особенности везде, где местное население явно нуждается в больших средствах образования и сами просят о большем развитии между ними учебного дела».

По смыслу сих слов возможно было бы ожидать, что министерство прежде всего обратит свою просветительную деятельность на те местности, в которых духовенство не могло или не потрудились завести достаточного количества школ: тогда действительно можно было бы сколько-нибудь увериться в искренности желаний министерства совокупно с духовенством, хотя и не без соперничества с ним, воспитывать народ. Но что делает министерство?

Оно прежде всего заводит свои училища в пределах той епархии, в которой гораздо более приходских церковных школ, чем самых приходов, где учреждены особые блюстители (из духовных лиц) этих школ, в

консистории которой учрежден особый стол, заведывающий исключительно делами этих школ, просвещенный начальник которой неусыпно заботится о успехах этих школ и тем снискал уже себе высочайшую признательность, глубокое уважение всей образованной России и даже лестный отзыв самого г. Управляющего министерством.

«Я знаю, — пишет он к преосвященному митрополиту Киевскому, — как усердно трудится духовенство Киевской епархии, под высоким христианским руководством Вашего Высокопреосвященства на пользу религиозного образования вверенных ему чад и как ревностно оно подвигается для воспитания их в духе благочестия и преданности св. церкви».

Нельзя не поблагодарить г. Управляющего министерством за такое искреннее и полное признание более чем успешной деятельности духовенства Киевской епархии; только мудрено при этом понять, с какою же целью министерство стало заводить свои школы прежде всего в пределах этой же епархии? Ведь оно само признает своею обязанностью открывать школы прежде всего там, где в них ощущается особенная нужда. Отчего же оно не устремило своей энергии и средств на те епархии, где школ еще мало и где они дурны, а выбрало епархию, наиболее богатую и славную своими школами?* Такое противоречие между словами и делом может быть объяснено только таким образом:

Как ни хороши народные школы, основанные духовенством Киевской епархии, все же они не могли достигнуть такой степени совершенства, чтобы, владея большими денежными и педагогическими средствами,

* Если потому, что Киевская епархия принадлежит к западным, то отчего не начать с Полоцкой и Могилевской? Впрочем, для школ западных епархий еще нужнее, чем для других, влияние православного духовенства (*прим. Т. И. Филиппова*).

нельзя было учредить школ лучших, то есть, удобнее помещенных, щедрее снабженных книгами и учебными принадлежностями, и т. п. Министерство, получив от правительства для учреждения народных школ денежные средства, которыми не думает делиться с духовным ведомством, хочет завести пока немного школ и без сомнения устроить их на славу.

«Так как министерство, — пишет г. Управляющий, — имеет пока еще только ограниченные средства и так как размельчение денежных пособий между значительным числом школ привело бы к результатам ничтожным, отнимая всякую цену у самых пособий, то я признал более полезным начать с опыта учреждения на известную сумму такого числа вполне снабженных (?) и благоустроенных училищ, какого можно достигнуть на счет означенной суммы».

Немудрено после этого, что эти пробные школы министерства окажутся во многих отношениях (кроме, впрочем, самого важного и существенного) лучше школ киевского духовенства. Затем, стоит послать какого-нибудь ревизора, который для большего доверия к искренности его донесений не будет иметь от министерства официального поручения, а пойдет будто бы от себя, как путешествующий друг народа; осмотрев школы обоих ведомств, он, если будет умен, отдаст должное школам духовенства, но тут же прибавит, что несмотря на их неоспоримые достоинства, они все-таки не могут выдержать сравнения со школами министерства.

Этот отзыв можно будет напечатать и, кому нужно, показать; в нем не будет по-видимому и лжи. Но вывод, который из этого отзыва может сделать общество и правительство, окажется совершенно ложным и положительно вредным: ибо на основании этого одностороннего сравнения могут признать духовное ведомство

неспособным соперничать с министерством в учреждении народных школ, и вследствие того все средства, какие правительство найдет возможным изыскать для этого дела, вручить исключительно мнимо способнейшему ведомству. Нельзя не отдать справедливости ловкости приемов министерства, и ей можно было бы радоваться, если бы она была употреблена для лучшей цели. Но на духовном ведомстве лежит прямая обязанность предупредить опасность такого ложного и вредного заключения и своевременно объяснить обществу и правительству, что школы, учрежденные духовенством, рассеяны по всему пространству России, тогда как министерство открывает несколько образцовых школ в одном ее уголке; что духовенство для своих 20 тыс. школ не получило ниоткуда ни копейки, напротив, жертвовало им своею собственностью, тогда как министерство для своего десятка школ получило от правительства достаточные средства, которых не хотело «размельчать», ибо в таком случае, по собственному его признанию, результаты его деятельности оказались бы ничтожными. Это признание очень важно и его должно иметь в виду. Это есть признание, конечно, нечаянное, вырвавшееся невольно, но весьма решительное, в победе духовного ведомства над министерством, которое прямо говорит, что с малыми пособиями оно может прийти только к ничтожным результатам, тогда как духовенство, действуя без всяких посторонних пособий, достигло уже результатов, которых не назовет ничтожными самый бессовестный клеветник.

Выражая стремление овладеть всеми денежными средствами, какие государство может отделить на устройство народных училищ, что в состоянии министерство обещать для этого дела такого, что было бы невозможно без его содействия?

Оно думает, конечно, что может обещать для народных школ таких учителей, каких неоткуда взять никакому другому, в том числе и духовному ведомству. Но имеет ли оно их в готовности? Пока нет. Оно только надеется создать их в известный срок, если государство даст ему средства устроить рассадники этих учителей, так называемые учительские семинарии или нормальные школы. В эти нормальные школы по проекту общего плана устройства народных училищ предполагается разными выгодами и льготами привлекать людей способных из всяких званий, которым, при поступлении в должность народного учителя, обещают:

а) 250 р. в городах и 150 р. в селах, с квартирою и отоплением.

При назначении такого содержания имели в виду «вещественное положение народных учителей обеспечить настолько, чтобы они не испытывали крайних недостатков и не были вынуждены лишать себя предметов первой необходимости!»

б) Прибавки жалованья через 10 и 20 лет и образование эмеритуры.

в) Права общественной службы, свобода от повинностей и телесных наказаний.

Означенные льготы предполагается дать с такою похвальною предосторожностью, чтобы при этом не отвлекать народных учителей из их среды (в этом намерении не предоставляют им прав государственной службы, между прочим, права на чин) и чтобы еще более не расплодить и без того уже весьма тягостного, непроизводительного класса чиновничества.

Из этого видно, что надеются получать учителей народных школ преимущественно из тех же сословий, к коим принадлежат и ученики, сообразно с мыслью, выраженной г. Пироговым.

Но предполагаемый учитель по вступлении в свою должность уже перестает участвовать в вещественной производительности своего сословия и получает свободу от всех его повинностей, следовательно, из учителей, и без награждения их чинами, создается законом новый разряд людей, непроизводительных и разобщенных со своим сословием более, нежели чином, своим образованием и особенным во всяком случае положением. Опыты чужих народов должны и в этом отношении научить нас осторожности.

«Германия имеет учреждение сельских учителей и вкушает плоды его: в ежегодном количестве преступлений на долю сельских учителей выпадает особенно значительный процент»*.

Воспитанники французских нормальных школ подвергаются обвинениям еще важнейшим. Вот верная и живая характеристика их, сделанная замечательным ученым и политическим деятелем Франции.

«Мне говорят, — пишет Тьер, — что между народными учителями (*maitres d'école*) есть хорошие: это возможное дело, но они не что иное, как чудо; ибо вы употребили все ваше умение, чтобы сделать их отвратительными».

«Когда вы берете в деревне маленького крестьянина, когда вы увозите его в 15 или 16 лет в большой город, когда вы даете ему черное платье, когда вы помещаете его в превосходной нормальной школе и когда там в течение двух лет вы даете ему более ума, чем сколько он может понести, когда вы учите его физике, геометрии, алгебре, тригонометрии, истории и прочему и после этого когда вы отправляете его в 18 лет в глубь деревни, с 200 франков в год, чтобы там умереть со скуки с грубыми маленькими детьми, которые не умеют ни читать, ни пи-

* О первонач. нар. обуч., стр. 4 (прим. Т. И. Филиппова).

сать и часто не хотят учиться ни тому, ни другому, вы по необходимости делаете из него недовольного, врага».

«Как вы хотите, — продолжает Тьер, — но, чтобы быть народным учителем, потребны смирение, самоотвержение, на которые мирянин редко бывает способен; тут нужен священник, духовный: мирской дух, мирская преданность делу тут недостаточна».

«Я часто жил в деревне и посещал соседние селения; по моему обычаю, я старался осведомляться о всех предметах, которые могли меня занимать. Я старался видаться и побеседовать поочередно со священником, мэром, учителем, фермерами, работниками. И что же? Я встречал священника: его положение почти такое же, как и народного учителя, немного побогаче; положение, нужно сказать, по малой мере весьма скромное и заброшенное. И однако, несмотря на все это, я не находил его недовольным; напротив, он являлся мирным, покорным своей судьбе; он принимал меня без грусти и разговаривал со мной весело. Что касается до учителя, я находил его всегда недовольным: его лицо, его слова — все было грустно и исполнено раздражения. И причина всему этому та, что священник покоряется, мирянин — нет. Священник покоряется: у него есть свои обязанности, своя обедня, книги и несколько друзей; у учителя нет ничего»⁶.

Весьма замечательны эти слова в устах человека, который никак уже не может быть заподозрен в пристрастии к духовенству или церкви; но еще замечательнее признание самого создателя французского закона о народном обучении 1833 (*loi sur L'instruction primaire*), самого Гизо.

«1848-й год, — говорит он⁷, — подверг этот закон, как и все наши законы, наши школы, как и всю Францию, страшному испытанию. Как только буря немного утихла,

возникла сильная реакция против первоначального обучения, как и вообще против свободы, движения и прогресса. Элементарных наставников обвиняли в том, что они были, иные прямыми участниками и виновниками, иные орудием революции. Зло было несомненно, хотя и не столь общее, как тогда говорили и думали. Однажды я спросил у одного уважаемого и совестливого епископа, который очень хорошо знал историю школ в одном из наших больших департаментов: сколько, по его мнению, наставников в том краю были преданы революционному духу. «Много, что из пяти один», — отвечал он мне. Это было много, слишком много, и симптом болезни весьма заслуживал лечения».

Неужели «толикий облегающий нас облак свидетелей», даже таких, которым, как, например, Гизо, было бы гораздо выгоднее и для самолюбия приятнее утверждать противное тому, что он говорил, не окажется в глазах нашего правительства достойным внимания? Неужели весьма свободного в деле веры Тьера и протестанта Гизо можно провозгласить клерикалами и под этим предлогом признать их свидетельство пристрастным? И неужели не постыдятся не понять, что есть самое простое, легкое и навязывающееся на наше внимание средство избежать всех затруднений и общественных опасностей, сопряженных с учреждением нормальных школ? Это средство состоит в том, чтобы их просто не заводить и оставить дело народных училищ естественному течению, предоставив в них духовенству то законное и естественное первенство, которое предоставляется ему законодательством просвещеннейших народов Европы, которое соответствует главному назначению народной школы и которое, наконец, принадлежит уже ему даже на основании права *primi occupantis*⁸. Неужели, покорствуя каким-либо вредным предубеждениям, закроют глаза на те выгоды,

которые обещает такое решение правительству, обществу и народу? А именно:

а) священника нет нужды привлекать к жизни в селе или в малом уездном городе: он и без того живет в своем приходе, никогда не помышляя его оставить. Выше определенное годовое жалованье и некоторые другие выгоды, обещаемые за труды обучения в народных школах, столь недостаточные для вновь создаваемого сословия учителей, явились бы для священников истинным благодеянием, которое в большей части приходов удвоило бы их содержание и чрез то исполнило бы их глубочайшей признательности к правительству;

б) при учителе-священнике излишни все рассуждения о правах и внешнем положении учителя: значение священника в приходе и отношения его к прихожанам ясны. Отношения эти имеют выгоду естественной между духовным отцом и детьми близости и нравственной власти;

в) при учителе-священнике никто не отвлекается от производительных занятий, никто не выходит из своего состояния, никто не обременяет общество уплатою податей и свободою от повинностей и общественной службы.

Почти все сказанное о священнике прилагается и к диакону.

В отношении же к воспитанникам семинарии должно заметить следующее:

по окончании курса весьма многие, даже отличные, воспитанники семинарии остаются целые годы без мест, приискивают себе занятия случайные, не соответствующие ни полученному ими воспитанию, ни будущему их предназначению, и при этом подвергаются искушениям праздности и ничем не стесняемой свободы. С получением доступа в сельские школы они освобождаются от

опасности всех этих искушений, и нравственная чистота их, столь нужная и для народа, который они готовятся пасти, приобретает надежный приют. Между тем, звание учителя было бы наилучшим средством для сближения с народом будущих его пастырей и для приготовления их к священническому служению*. Духовное же начальство, принимая на себя ответственность за добрую нравственность определяемых в школы воспитанников семинарий, может поставить правилом оценивать способность их к священническому служению, сообразуясь с усердием их к просвещению народа.

Достоинно внимания, что светских учителей, которых предполагается создать, теперь еще нет; следовательно, предоставив духовенству первоначальное обучение детей низших сословий, правительство не коснется ничьих выгод и прав. Если же закон создаст этот новый разряд людей и привлечет их к определенным занятиям, тогда из тех народных учителей, которые оказались бы не соответствующими ожиданиям начальства и лишились бы своих специальных занятий, образуется непристроенный и по праву недовольный класс людей с таким же направлением, какое означено в выше приведенных словах Тьера и Гизо. От одинаковых причин весьма естественно ожидать одинаковых последствий. Может быть, есть надобность предупредить еще одно возражение: могут утверждать, что воспитанникам духовных семинарий не сообщают такого педагогического приготовления, какое получали бы воспитанники нормальных школ. Но:

а) в курсе духовных семинарий, кроме специальных богословских предметов, заключается полный гимназический курс. Там преподаются: русский и славян-

* Такой порядок дел существует, как показано выше, в Дании (прим. Т. И. Филиппова).

ский языки и русская словесность, история, география, математика, физика, философские науки, древние и новые языки и т. д.

Сомнительно, чтобы курс нормальных школ когда-либо мог быть обширнее этого общеобразовательного (не считая уже специального) курса духовных семинарий; даже и равного размера курс нормальных школ был бы напрасною и вредною роскошью*; следовательно, в отношении к общему образованию ученики духовных семинарий будут несравненно выше воспитанников нормальных школ;

б) по новому уставу духовно-учебных заведений, изготовленному бывшим при Святейшем Синоде комитетом, в программу духовных семинарий предположено ввести педагогику, причем особенное внимание обращено на преподавателей тех ее частей (дидактики и методологии), которые научают лучшим и простейшим способам учения; следовательно, и в отношении к теоретическому педагогическому образованию воспитанники духовных семинарий нисколько не окажутся ниже питомцев нормальных школ и будут обучаться теории воспитания, прежде чем открыта будет какая-либо нормальная школа;

в) правда, ученики предполагаемых нормальных школ будут иметь неизвестные семинариям практические упражнения в преподавании; но и этот недостаток духовно-учебных заведений ничего не стоит восполнить. Будто трудно учредить при каждой семинарии образцовую народную школу, в которой воспитанники в назначенную для каждого очередь занимались бы обучением детей под надзором профессора педагогики и,

* По нынешнему проекту министерства, нормальные школы должны быть учреждаемы с возможно ограниченным по объему курсом, главная задача которого должна состоять в воспитании методически подготовленных учителей грамотности (прим. Т. И. Филиппова).

таким образом, готовились бы заблаговременно к прохождению предстоящего им учительского поприща? Устроить такие школы при семинариях будет весьма полезно, даже необходимо, и они обойдутся правительству без сравнения дешевле и удобнее, чем особые нормальные школы, в которых при этом уже не окажется ни малейшей нужды.

Впрочем, эти замечания предложены единственно в предупреждение возражений. На самом же деле о педагогических совершенствах народных учителей можно пока рассуждать гораздо полегче; курс народных училищ не таков, чтобы мог затруднить мало-мальски сносного воспитанника семинарии или какого-либо другого среднего заведения.

И вот еще один и очень уважительный довод против немедленного учреждения нормальных школ: на них пока нет требования.

НЕ ТАК ЖИВИ, КАК ХОЧЕТСЯ

*Народная драма в трех действиях.
Сочинение А. Н. Островского. Москва. 1855 год*

При появлении своем на поприще нашей словесности г. Островский сразу отделился от остальных современных ему русских писателей* яркими признаками необыкновенного дарования. Если припомнить впечатление, которое произвела на общество его первая комедия, «Свои люди — сочтемся», то можно решительно сказать, что после Гоголя никто не имел у нас такого громкого, общего и вполне заслуженного успеха, как г. Островский. Никто из ныне действующих писателей, какой бы успех ни предположить в развитии их дарований, не подойдет даже близко к тому необыкновенному искусству в создании чисто народных комических лиц, в выражении их мельчайших оттенков и особенно в соблюдении истинного склада их речи, какое показал в своей первой комедии г. Островский. Последующие его произведения, даже лучшее из них, «Не в свои сани не садись», не имели уже того успеха; несмотря на все неоспоримые их достоинства, общество принимало их холоднее и всеобщего, безусловного одобрения, как первой комедии, не оказывало.

* Гоголь в то время молчал (прим. Т. И. Филиппова).

В них не видно было прежней художественной силы; отделка становилась небрежнее, в языке стали попадаться сперва редко, а потом и довольно часто, такие выражения, которые от частого употребления сделались нестерпимы, которыми так богаты наши лженародные произведения и которых даже следа нет в «Своих людях». В самых замыслах, несмотря на сравнительно большую глубину их, стало замечаться какое-то колебание и какая-то нерешительность, как будто бы они зарождались в переходном состоянии мышления, без полной свободы окончательно выработанного и твердо установленного воззрения на жизнь. Критика, неблагоклонная к духу новых произведений г. Островского, заметив в нем ослабление исполнительных сил, довольно сурово обошлась с ним и с видимым удовольствием отмечала его слабости, обходя отчасти умышленно, отчасти по недостатку вкуса и проницательности, достоинства его произведений. Критика, пристрастная к его дарованию, не хотела видеть, как это всегда бывает, его недостатков и, конечно, по прекрасному побуждению отстоять правду, но, к сожалению, без основательного разбора, одною силою своей горячности старалась отразить все нападения, отчасти ею же самою вызываемые или, по крайней мере, умножаемые. Дело кончилось тем, что г. Островский из писателя, стоявшего на некотором особом возвышении, сделался мало-помалу во мнении большинства, почти даже в общем мнении, равным по достоинству с некоторыми другими писателями, которые подобно ему посвящают свои силы изображению искомого русского человека.

Это, однако, не мое мнение. Несмотря на то, что я вместе с другими чувствую и признаю значительную слабость в исполнении последних произведений г. Островского, все-таки его отличие от других писате-

лей, изображающих наш народный быт, для меня остается существенным. Можно почти так сказать, что даже в то время, когда г. Островский явился с первой своей комедией, когда во всем современном ему поколении писателей не было ему равного, он не столь существенно отличался от своих совместников, как теперь, если только позволено думать, что взгляд на жизнь в художнике так же важен, как и исполнительные его дарования. В то время отличие его от других состояло только в силе художественной, так сказать, внешней: ни у кого не было такого языка, как у него, такой определенности в очертании лиц, такой близости к изображаемому быту и многих других, не спорю, весьма важных, но все-таки внешних художественных преимуществ; но в сущности воззрения на жизнь, и в особенности на русскую жизнь, различие было не столь велико. «Свои люди— сочтемся» есть, конечно, такое произведение, на котором лежит печать необыкновенного дарования, но оно задумано под сильным влиянием отрицательного воззрения на русскую жизнь, отчасти смягченного еще художественным исполнением, и в этом отношении должно отнести его, как ни жалко, к последствиям натурального направления.

Были уже и в этой комедии признаки того, что для г. Островского возможен иной взгляд на русскую жизнь, взгляд самостоятельный, но только признаки; в последующих его сочинениях эти признаки стали гораздо яснее, отрицательное отношение к жизни сменилось сочувственным, и вместо мрачных изображений, какие мы видели в «Своих людях», появляются образы, создание которых внушено другими, лучшими впечатлениями от жизни. Ясно стало, что усмотрения г. Островского сделались глубже и полнее: русская жизнь стала понемногу открывать ему свои заветные стороны, которые недоступны предубежденному отрицанию, в которых рису-

ются существенные свойства нашего народного духа и в которых, между прочим, скрыт ответ на многие важнейшие вопросы, предстоящие мышлению современного человека. Скажут, может быть, что взгляд на русскую народность вообще изменился, что прежнего ожесточения против нее уже нет, что и в произведениях других писателей, ее изображающих, видно везде скорее сочувствие к ней, чем противное, что, следовательно, разницы в этом отношении между г. Островским и другими нет никакой. Но дело не в каком-нибудь неопределенном и безотчетном сочувствии, которое более похоже на снисходительное внимание, чем на истинное сочувствие: мало сочувствовать, надобно разумно и самостоятельно оценить то, чему сочувствуешь.

Все другие писатели, заимствующие содержание своих произведений из народной жизни, относятся к ней двояко: иной подходит к ней как любопытный исследователь и наблюдатель; ему дорого подсмотреть особенности наблюдаемого быта, которые для него много, много, что занимательны, а не редко и странны, но ему самому, для его собственной внутренней жизни они не нужны. Это характерные картины, которые ему приятно рассматривать, еще приятнее уметь нарисовать самому, но внутреннего, глубокого сочувствия с этой жизнью у него нет: основы этой жизни и его жизни личной иные. От этого такая робость в приемах: ибо любопытному доступна только поверхность жизни, и он заботится лишь о том, чтобы не взять какого-нибудь резкофальшивого звука, и потому бледную точность рисунка ставит своею конечною целью. От этого и такой холод: потому что любопытный может быть внимательным, но любить не может. А без любви к жизни, с одним каким-то средним расположением к ней возможно ли художнику проникнуть в тайны внутреннего ее смысла и из них извлекать

художественные задачи? По необходимости придется в эту чуждую, неусвоенную область приносить свои вопросы, извне навеянные, а не из нее собственно возникнув. Это есть какое-то формально-художественное отношение к жизни.

Есть другое к ней отношение, которое принадлежит направлению в истинном смысле натуральному: здесь писатель боится спросить о чем-либо жизнь, и самый недалекий идеальный полет его пугает, как нечто такое, к чему он не привык, что вне знакомых ему представлений, что поэтому кажется ему натяжкой и нарушением естественности. Здесь вся забота о том, как бы повернее сделать снимок с того, что доступно самому внешнему наблюдению, что происходит в низменных слоях нравственной народной жизни. Здесь нельзя искать того, чем живут истинные произведения искусства: присутствия той внутренней художественной силы, которая пользуется природою, как веществом, и, свободно распоряжаясь ею, претворяет ее в новое произведение, являющееся чрез то уже произведением духа, а не произведением природы. Это направление, почитающее себя свободно художественным, на самом деле есть самое подчиненное из всех направлений: даже те писатели, которые делают свои произведения орудием для решения общественных или нравственных вопросов, хотя они тем и нарушают основной закон самобытности искусства, все-таки, по моему мнению, свободнее натуралиста, который не подчиняется влиянию человеческих вопросов единственно по равнодушию к ним, но зато находится в полной зависимости от своих наблюдений, стало быть, от того вещества, которым должен бы был сам владеть и которым истинный художник действительно владеет. И как бледность рисунка, и скудость природы составляют отличительные признаки предыдущего направления,

так, наоборот, здесь все отличается пестротой окраски и обилием мелочных подробностей; в этом ставит славу свою натуральное направление.

Г. Островский не чужд до некоторой степени недостатков последнего из обозначенных нами направлений, но эти недостатки проистекают не из природных свойств его дарования, а из невольных предрассудков его художественного воспитания. Видно, что он постоянно стремится создать нечто самобытное, что он силится проникнуть в глубину народной жизни, извлечь из нее достойные истинного искусства образы (он уже и создал некоторые, а еще более наметил весьма ясно и выразительно); но у него иногда не хватает решительности и смелости в исполнении задуманного: ему как будто мешают ложный стыд и робкие привычки, воспитанные в нем натуральным направлением. Оттого нередко он затеет что-нибудь возвышенное или широкое, а память о натуральной мерке и спугнет его замысел; ему бы следовало дать волю счастливому внушению, а он как будто испугается высоты полета, и образ выходит какой-то недоделанный, не в угоду ни истинно-художественной, ни натуральной критике. Несмотря на эти недостатки, я полагаю, что ни от кого из нынешних писателей нельзя ожидать такого глубокого и истинного изображения нашей народной жизни, как от г. Островского: за это ручается, кроме особенностей его дарования, и теплое сочувствие его к этой жизни, и разумное уважение к ее глубокому смыслу. Он рисует ее не как посторонний любопытствующий пришлец, но как человек, выросший сам посреди этой жизни и усвоивший себе с малолетства ее разнообразные очертания: он в то же время не боится извлекать из нее идеальные изображения, зная, что они весьма ей свойственны, хотя их с трудом замечает наш искаженный глаз. Правильность его отношений

к нашей жизни лучше всего доказывается тем, что он с особенной любовью берет в содержание своих произведений те ее стороны, в которых видится искажение прекрасных свойств нашей природы тлетворным влиянием извне принятых обычаев и чуждого нам образа мыслей. Прибавлю, что в произведениях г. Островского задачи не только правильны (это достоинство отрицательное), но и полны глубокого смысла и всегда здравы в нравственном отношении, что в особенности должно сказать о драме, которой оценка здесь предлагается. И нельзя не пожалеть, что как будто нарочно именно это произведение, так прекрасно задуманное и так прекрасно в драматическом отношении расположенное, по исполнению слабее всех других доселе писанных произведений г. Островского. На это весьма справедливо могут заметить, что исполнение в художественных произведениях так важно, что его недостатков не могут искупить никакие достоинства замысла и расположения. Это правда; я и не причисляю эту драму к произведениям, украшающим собою нашу словесность, я вижу ее недостатки, и буду говорить о них беспристрастно. Но я не считаю также себя вправе умолчать и об ее достоинствах: ибо замысел драмы никак не следует относить к предметам, ничего не значащим, особенно если он взят не из отвлеченных представлений о человеческих отношениях, а возник из таких глубоких усмотрений действительной жизни, как это есть в настоящем случае. Так задумать драму может только художник: ни ум, ни познания, никакие другие свойства души не помогут в этом случае, кому не дано творческого дара. Сверх драматического своего достоинства задача этой драмы замечательна в высшей степени и по отношению к жизненному смыслу, в ней заключенному: здесь предлагается художественное решение одного из важнейших нравственных и общественных вопросов;

и вопрос этот тем для нас особенно занимателен, что решается весьма различно, даже противоположно, у нас и на Западе. Г. Островский взял в содержание своей драмы происшествие из нашей народной жизни, которым решается этот вопрос с русской точки зрения. Дело идет о правах личного чувства и о границах сих прав.

Взаимная любовь мужчины и женщины есть чувство естественное, следовательно, законное; ибо закон естественный в своей чистоте есть тот же божественный закон, как данный свыше нашей природе при создании, а не изобретенный впоследствии чьим-либо вымыслом. Посему никто не сомневается, что человек может испытывать чувство любви и пользоваться счастьем, из него проистекающим, с полным правом и несмущенною совестью. И кто не чувствует естественного стремления к этому счастью, в том без всякого сомнения следует предположить особенный холод душевный, сухость сердца и вообще болезненное состояние души, соединенное с важными нравственными недостатками. Иное дело вольное отречение от этого блага для высших целей: это — обет души великой, сильной и любящей, способной забыть личное счастье для высшей любви. Не отсутствие сердечной теплоты, а изобилие ее побуждает человека, которому предлежит подвиг, воздержаться от всего, что, несмотря на свою законность, может отвлечь его силы от главной задачи жизни и чувством наслаждения ослабить крепость и напряжение душевных сил.

Но оставим людей необыкновенных, которым лежит особый путь, и возвратимся к людям обыкновенного порядка, которых касается обсуждаемый нами вопрос. Личная любовь, как естественное чувство, имеет свои права; но это чувство не есть единственное в нашей душе, следовательно, правам его должны быть поставлены границы. В составе нашей душевной жизни оно встречает-

ся с другими побуждениями и чувствами, которые так же естественны, следовательно, так же законны: отсюда естественно проистекает мысль о необходимости меры для наших ощущений. И правильность нашей внутренней жизни зависит именно от истинной меры, до которой мы позволяем доходить нашим душевным движениям: при таком только художественном устройении души в нее вселяется истинная красота. И если стремление к счастью встречается с такими препятствиями, которые преодолеть нельзя, не оскорбив нравственной своей чистоты, то лучше отказаться от прав на счастье, чем принять его на условиях унижительных, оскверняющих совесть. Не тот высоко ценит чувство любви, кто боится пронести жизнь, не испытав ее наслаждений, но тот, кто принимает счастье лишь тогда, когда оно не входит в раздор с высшими требованиями нравственного закона, кто отказывается от своих прав на счастье, боясь оскорбить святину самого чувства какой-либо порочной примесью или постыдным торгом с совестью. Кроме того, что любовь, — чувство законное, но все-таки личное, — должна бывает иногда посторониться и дать дорогу другим побуждениям, но даже и в тех случаях, когда ее стремления не встречают никаких нравственных препятствий, не должно брать ее только с одной стороны ее значения, т. е. только как источник личного счастья и наслаждения: у нее есть более важные стороны. Семейный союз, как основа всякого общества, и рождение детей, как поддержание жизни человеческого рода, — суть явления, которым любовь служит поводом; следовательно, с нею существенно соединены обязанности супружеской верности и воспитания детей. Как важны эти обязанности, очевидно для всякого: если супружеский союз есть основа общественного быта, то нарушение супружеских обетов есть источник общественного распада: что же

касается до воспитания детей, то нужно ли говорить, что от него зависит нравственное, общественное и телесное состояние целых поколений, иначе, вся судьба человеческого рода? На условии сих-то обязанностей союз любви признается христианским законом и освящается в браке таинственным благословением Сотворившего мужеский пол и женский. Таким образом, в христианском браке объемлются супружеские отношения во всей полноте: требуя от соединяющихся полной свободы побуждений при вступлении в союз и нерушимой взаимной верности после вступления, он чудным образом уравнивает права и обязанности чувства в свободном обете.

Казалось бы, такой взгляд на эти отношения, как основанный на божественном учении, как сообразный с природою вещей, как оправданный вековыми опытами, должен быть выше всякого возражения. При таком верном руководстве, единственною заботою человека оставалось бы стремление приблизить свои жизненные отношения к их первообразу: ибо в этом состоит вообще вся задача жизни, когда закон ее найден. В обществах нехристианских усовершенствование может состоять еще в преобразовании самого закона жизни, но для христианского общества этой заботы не существует (ибо самые враги христианского закона не отвергают его безусловной высоты и истины, но нападают на него именно за его высоту, тяжкую для нашей чувственной низости): его задача — осуществлять свой закон на деле. Без сомнения, в жизни уклонения от закона неизбежны; про это нечего и говорить: жизнь останется всегда ниже своего содержимого в уме образца; это справедливо не только в отношении к законам христианским, но и в отношении к законам земным, приязненным к временному состоянию обществ. Но эти частные уклонения, всеми за уклонения и признаваемые, еще не составляют существенного воз-

ражения против закона, а суть следствие естественной человеческой немощи, законом обличаемой и перед ним смиряющейся. Лишь бы закон, стоя на приличном ему возвышении, своею правдою освещал мрак нашей жизни: видя свои слабости и свои уклонения от истины, мы можем, по крайней мере, при свете закона обличать их, сознавать их зло и покаянием обновлять свою жизнь. Стремиться к высоте законной и, не достигая ее, падать перед нею с благоговейным смирением, — вот истинные отношения жизни к закону, который в таком случае является для нас источником нравственного воспитания и всякого внутреннего преуспеяния. И пока так мыслит общество, до тех пор для него возможно возрождение, как бы ни было на самом деле печально его нравственное состояние; усиление воспитательных мер и другие благоприятные обстоятельства могут пробудить заснувшее общественное сознание, и нравственная жизнь, на время замершая, может воскреснуть и вновь расцвести. Но совершеннейшая опасность наступает для человеческого общества в то время, когда жизнь не только по бессилию не достигает до своего образца, начертанного в законе, но когда, от свирепости ли страстей, или от слепого отрицания рассудка, или от совокупного действия той и другой причины, упраздняется самое понятие о законности, ограничивающей произвол наших желаний и действий, и узаконивается этот самый произвол. Вместо того чтобы тянуть жизнь вверх, к закону, здесь, напротив того, закон нисходит до уровня самых неправильных и случайных движений воли. Отсюда естественно происходит полное смешение законного и случайного, добра и зла, отрицание всех безусловных понятий о чем бы то ни было, и в жизни, на место божественного порядка, воцаряется мрачный хаос того дозаконного времени, о котором говорит Апостол, когда лишь слабый луч есте-

ственной совести освещал человеку его нравственный путь. В западноевропейской жизни мы видим ясные признаки такого опасного нравственного состояния. Положим, что в настоящее время, отличающееся совершенным отсутствием какого-либо умственного направления, к нам не доносится с Запада никакого резкого выражения тамошнего образа мыслей: грозные события последнего времени приковали к себе общее внимание и отвлекли его от умозрительных задач. Но в прошлом десятилетии, когда последние выводы европейской жизни и мысли выражались с такою неумеренною искренностью, мы помним, вся Европа огласилась странными учениями, которые имели своею целью совершенно ниспровергнуть весь прежний нравственный и общественный порядок, упразднив все вечные, неизменно пребывающие начала человеческого быта. Эти учения касались всех сторон жизни: и государственных учреждений, и частных прав, и семейного союза, одним словом, всех человеческих отношений. Опыты политического применения стоили много крови, и дело кончилось тем, что суровая сила призвана была для спасения страны, бывшей главным средоточием этих применительных опытов. Но оставим политическую жизнь и возвратимся к нашему вопросу.

Самые сильные и опасные по своему влиянию возращения против семейного союза провозглашались в романах Жорж Занд. С именем этой женщины связано столько зла, что говорить о ее достоинствах приходится с большою осторожностью; но говорить о них необходимо как по чувству правды (потому что они действительно существуют), так и для того, чтоб объяснить причины столь могущественного ее действия на общество. Безусловное порицание без разбора всего в таких деятелях может более повредить истине, чем способствовать ее торжеству: преступник по увлечению, а не по умыслу,

имеет право на рассудительное обличение, которое не пропустило бы и того, что может служить к смягчению приговора. Не подлежит сомнению, что Ж. Занд одарена такими свойствами, которые мы встречаем лишь в людях, если так можно выразиться, первого разбора: во-первых на всем Западе не было последнее время такого сильного поэтического дарования в соединении с таким гибким и решительным умом и редкой тонкостью и обилием чувства. Во-вторых, она в свою ложь верит как в истину, и готова служить ей всеми своими средствами, во что бы то ни стало, в чем выражается искренность ее убеждений; а это есть такое свойство воли, которого нельзя не ценить, в ком бы оно ни было замечено: пусть будут ошибочны, даже преступны, только неумышленно преступны убеждения человека, но если он связывает с ними судьбу своей жизни и служит им с последовательностью и самоотвержением, в таком случае можно, по моему мнению, проклинать последствия этих убеждений и, разумеется, противодействовать их развитию и влиянию, но самого представителя их должно оплакивать, как жалкого безумца, нравственно погибшего по излишнему доверию к своей личной правде. Такие люди находят себе некоторое, весьма, впрочем, недостаточное, оправдание в том, что они по большей части бывают порождением злоупотреблений общественной жизни, преимущественно таких, которые лицемерно прикрываются наружным уважением к закону; не вынося такого двоедушия, они в разгаре своей неудержимой страстности преступают должные пределы обличения, и вместе со злоупотреблениями борют и злоупотребляемую святыню. Это можно сказать и о Занд. Если вникнуть в смысл ее произведений, то легко открыть, что наиболее разжигает ее негодование и ее страсть к низвержению существующих учреждений: не смысл самых учрежде-

ний, хотя она и его не щадит, а бездушное отношение к ним тех, которые их существованием и общим признанием пользуются для своих выгод. Я никак не намерен защищать лицемерие; напротив того, изо всех зол человеческой жизни я нахожу его самым гнусным и самым губительным: оно есть знак неисправимого внутреннего бесстыдства, знак истинного неверия в самом глубоком значении этого слова, оно есть первый и самый верный повод к отрицанию святости, к подрыву всего того, к чему оно оказывает свое уважение. Но что же сказать о тех, которые, соблазняясь лицемерием, не ограничиваются борьбою с ним, но восстают и против тех священных учреждений, которые сами в себе непорочны и не обязаны отвечать за чистоту каждого личного исповедания? Такие люди, сами того не чувствуя, делаются самыми дружными сообщниками лицемеров: ибо другою дорогою идут к одной с ними цели, — к ниспровержению истины, которая никогда не избирает крайних дорог, а идет всегда средним царским путем.

Но злоупотребления были для Занд только предлогом к борьбе и снабжали ее живыми возражениями; истинное же, внутреннее ее побуждение было иное: ненасытная страсть ее природы, влечениям которой она предаться не хотела, не узаконив их, вывела ее из здравого понятия о правах личной любви, которое предлагается уставом христианского брака. Обстоятельства, естественно ограничивавшие произвол наших личных ощущений, показались ей насильственными и не содержащими в себе неприкосновенной правды: она их переступила, и свое преступление задумала возвести на степень общего закона. В средствах не было строгого разбора: все, что в житейских случайностях можно найти несообразного с достоинством брачных отношений, всякие исключительные, нетипические супружеские несча-

стья, одним словом, все, что может придумать самая неистощимая изобретательность, воодушевляемая в своих поисках страстью, все было ею собрано и представлено в возражение против святого устава. За единственное основание сердечного союза принята любовь как источник личного эгоистического наслаждения, а все остальное, все обязанности, соединенные с этим союзом, например, хоть бы судьба детей, все это препоручалось случайному устройству, как нечто не существенное, а второстепенное. То, что в христианском браке почитается поводом, здесь стало целью, и наоборот. Такой извращенный порядок мышления имел необыкновенно разрушительные последствия: то, что прежде сдерживалось предписаниями нравственного закона, получало не только свободу, но какой-то призыв на усиленное развитие. Изящество любовного наслаждения, столь приманчивое для кипящего юного возраста и столь опасное для его нравственной твердости, даже при тщательном ограждении постановлений, вдруг разрешается безусловно, даже с поощрением. Женщина, до того времени исключенная из позорных прав, восхищенных мужчиною, получила уравнение с ним в этих правах, и все, что от века считалось ее украшением: стыд, целомудрие, скромность, верность однажды сделанному выбору, изгонялось как обветшалая принадлежность прежнего времени с его предрассудками. Отсюда-то происходит это мрачное уныние современного поколения, ибо священнейшие тайны нашего бытия, источник нашего счастья, нагло обнажаются прежде времени, и жизнь чрез то теряет всю свою красоту; отсюда и это общее умственное, нравственное и телесное расслабление в наше время, признанное свидетельством лучших умов и оплакиваемое друзьями человеческого рода. «Дрянь и тряпка стал всяк человек»* — есть вы-

* Переписка с друзьями (прим. Т. И. Филиппова).

ражение, неловкое по обороту и по местоимению всяк, но оно осмеяно и обругано напрасно: оно не с ветру сказано, а есть плод глубоких и беспристрастных наблюдений над современностью. Да и как же иначе может быть? Наслаждение, став основным началом жизни, не может воспитать ничего твердого, сильного, здорового, трезвого (это все последствия воздержания и меры); оно порождает вялость, лень, болезненность, тревогу ума. До чего доводят эти учения женщину, им следующую, об этом я умолчу из стыда; где-то сказано: «На женщин, как бы некая узда, наложен естественный стыд; и если бы не он, то не спаслось бы ничто в мире». Не слишком ли я мрачно изобразил сущность и последствия новых европейских учений? Но возьмем образчик. Самым полнейшим образом выражены понятия Ж. Занд о любви в ее знаменитом романе «Лукреция Флориани»: эта женщина, представленная образцовой и во многих других отношениях, в особенности является такою в своих понятиях о любви и в своих способах устанавливать сердечные отношения. Что же такое Лукреция Флориани? Это есть мать четверых детей от различных и живых еще отцов, вступающая в новый союз, который и составляет содержание романа. Какое же правило было у этой женщины при переходе от одного избранника к другому? Не очень мудреное: «Я его прогнала», — говорит она про одного из них. «Впрочем, я никогда не отдавалась без увлечения», — говорит она в другом месте; и вот все, чем она руководствовалась в своих выборах. Что же еще остается? Еще бы без увлечения!!!

Таков последний вывод европейской жизни и мысли в столь существенной области человеческого быта? Не скажут ли, что это вовсе не общий взгляд в Европе на эти отношения, а частно принадлежащий известному писателю? Но Занд не столько нововводительница,

сколько угадчица общего настроения западных обществ, которое она только выяснила и привела в порядок силою своего дарования*; кто ж бы принял ее уроки, если бы в умах было заготовлено твердое им противодействие? А ее романы обошли всю Европу, всюду собирая обильную дань. Притом ее понятия естественно выводятся из европейского неверия, в распространении и владычестве которого на Запад, я думаю, не имеет сомнения никто: ни тот, кто этому рад, ни тот, кого это печалит. Когда же неверие ограничит стремления человека пределом его земного быта, куда же деться чувству? Отказаться от счастья, небесного или земного, оно не может (это его природа — искать счастье); небо затворено, земная действительная жизнь дает мало; остается строить самодельный рай. Нужды нет, что он похож на магометанский: «час — да мой!»! вот все, к чему приводится человек, лишенный христианского упования. Если мне докажут противное, т. е. что Занд есть явление частное, особенно возникшее вне связи с общим ходом западной жизни, я нимало не поколеблюсь отказаться от своего мнения, но я сомневаюсь в возможности это доказать, и Европа вряд ли откажется от Занд, которую она считает плодом своих умственных и общественных успехов. Станный, однако, прогресс!

Где же наш русский взгляд? Где его искать? Существует ли он где-нибудь, строго определенный? Разве у нас в обществе нет вовсе этих грустных явлений, которые в таком множестве встречаются и даже узаконяются на Западе? Конечно, есть, и немало. Но ведь у нас много

* А. С. Хомяков развил эту мысль в своей статье «Мнение русских об иностранцах»: там он, между прочим, говорит: «Жорж Занд переводит в сознание и в область науки только ту мысль, которая была проявлена в жизни Ниною (Ninon d'Enclos) и которой относительная справедливость к обществу была доказана истинным уважением общества к этой дерзко-логической женщине» (прим. Т. И. Филиппова).

своего, а более того — чужого, и чувство справедливости велит нам отдать Западу западное, а себе оставить свое. Запад и у нас посеял много злого, пошатнул в нашем сознании немало нравственных начал: это необходимые следствия наших неосторожных с ним сближений, чуждых всякой осмотрительности и разбора. Нам довольно знать, что то или другое идет с просвещенного Запада, и мы как будто какие неопытные малолетки, бросаемся на все с жадностью и кучей загребаем, что ни попало, по пословице: «Клади в мешок — дома разберем». Мы, однако, не будем распространяться о явлениях нашей общественной жизни: они известны столько же читателю, сколько и мне; притом в них многое проистекает не из сознательных побуждений, а из невольных увлечений, и все это так смешано, что трудно с точностью разграничить, что в них своего и что чужого. Обратимся лучше к нашей словесности, которая должна нам представить не житейские невольные увлечения, а твердо сознанные и исповедуемые начала; и тут мы найдем немало следов чужого влияния. Припомним, например, какие упреки сыпались на Татьяну Пушкина за то, что она не изменила мужу, к которому не имела особой нежности, для Онегина, которого любила и которого видела у своих ног. «Вот поистине русская женщина!» — говорили про нее с язвительной насмешкой. Да, мы еще счастливы, что с понятием о русской женщине самые враги наши соединяют способность не только любить так, как любила Татьяна, но и такой строгий взгляд на свои обязанности: да, это наше. Русская женщина не купила счастья ценой совести: слава ей! О, если бы эта слава осталась на веки за нею! Если бы просвещение Запада никогда не уверило ее, что верность и честь суть принадлежности слабого умственного развития, что позорное счастье лучше чистой скорби! И кто же предпочтен Татьяне ее суровым критиком? Вера из

«Героя нашего времени»: эта женщина, которую некогда любил Печорин, потом бросил, а она все от него не отстанет, и когда он ее от скуки кликнет, бежит к нему опрометью, боясь пропустить счастливую минуту его прихоти! И у этого человека поворачивался язык говорить о человеческом достоинстве! Конечно, мы попривыкли-таки ко всяким понятиям (и то сказать, уж пора), слух наш притерпелся, но, кому не в привычку, — я не знаю, — это должно привести в содрогание. Представьте себе свежего человека с естественно развитым чувством, воспитанного вдали от современного растления, как на него должно это подействовать? Нужно ли распространяться еще о тех романах и повестях, в которых изображается на разные лады, как девушка идет замуж решительно по своей воле, даже по любви, сперва живет с мужем счастливо, потом подвергается кто-нибудь побойчее мужа, и начинается драма: и виноватого не сыщешь! Еще как-то так выходит, что муж виноват: чего он глядел? не видал разве, кого за себя брал? Это уже Запад.

Не грубо ли я обошелся с содержанием наших западных повестей и романов? Может быть, меня обвинят в том, что я не принял во внимание тонкости чувств и т. п.? Но беда пускаться в тонкости: здравая совесть всегда несколько груба и не льстит пороку, как бы прилично он себя ни одевал, каких бы искусных и благовидных изветов к самооправданию он ни изыскивал. Мерзость — все мерзость, грех — все-таки грех, хотя бы кто грешил и с высшей точки зрения.

Но где же, наконец, наш взгляд, собственно русский? На Татьяне нельзя же основать никакого общего всему народу воззрения? Я и не имел такого намерения, и о Татьяне упомянул только по данному поводу. Так не присвоим ли мы себе христианский взгляд? Но он не наш, а общий всей Церкви. Впрочем, мы имеем

некоторое право назвать его нашим в том смысле, что наш народный быт устроен совершенно на основании православных мнений, что все жизненные отношения, а в том числе и семейные, обсуждаются у нас в народе совершенно сообразно с учением церковным. Это должно быть известно всякому, кто имеет средства проникнуть, хоть несколько, в смысл нашей русской жизни; крепость же христианского семейного начала есть отличительная черта нашего народного быта, признанная, кажется, и друзьями сего начала, и противниками, хотя те и другие судят о нем разное. Но быт, скажут, дело темное: в нем так много противоречий, что не трудно сделать ошибку в выводе; об нем же такие ходят различные, даже взаимно-противоположные мнения, что из него мудрено извлечь как-либо бесспорные определения нашей народной сущности. Я соглашаюсь с этим возражением и предлагаю для своего дела другой источник, которого нельзя ни опозорить, ни отвергнуть, — народную поэзию. Никто, я думаю, не станет спорить, что народная поэзия есть самое искреннее и неподдельное выражение внутренней жизни народа, сделанное им самим, а не кем-либо, со стороны пришедшим, притом проверенное общим судом всенародного ума и чувства. Известно, что в народной песне, как и вообще в поэзии, отражаются самые задушевные стороны жизни, которые в наибольшем ходу в народе; а семейные отношения так разработаны в русской народной поэзии, что известный собиратель наших песен целый значительный отдел их назвал семейными. Как же бы извлечь из них существенные черты русского взгляда на семейные отношения? Постараюсь сделать это, сколько силы позволят.

Есть у нас в народе песня, которую всякий может слышать и поныне, если час, другой постоит около любого хора. Она начинается так:

Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко!
Зайди, зайди, братец, ко сестрице в гости!

Содержание песни такое: сестра, отданная замуж в недобрую семью, просит брата проведать ее и помочь ей советом в ее тяжелом и одиноком положении.

Спроси, спроси, братец, про ее здоровье!
У меня ли, братец, есть четыре горя,
Есть четыре горя, пятая кручина:
Как первое горе—свекор-то бранчивый,
А второе горе—свекры* ворчалива,
Как третье горе—деверек насмешник,
Четвертое горе—золовка смутьянка,
Пятая кручина—муж жену не любит.

Что же делает в этом положении Русская женщина, оскорбленная, как показывает песня, во всех своих правах, во всех самых естественных чувствах? Восстает ли она против ниспосланной судьбы? Нет! тени этого намерения не видно в песне. Клянет ли она, по крайней мере, своих мучителей и с ними вместе свою судьбу, совершенно ничем не заслуженную? Тоже нет! Посмотрите, как просто и кротко, можно сказать, спокойно она говорит о своем несчастье; мужу не придала даже никакого прилагательного. Страдает ли она? Конечно; но что же она позволяет себе в своем страдании? Какую отраду? Одну тихую жалобу, обращенную к брату; и кроме брата, ее жалобы, наверно уж, никто не услышит. Чужие люди и злые соседи, если и узнают о ее несчастье, так уж верно не от нее. Я не знаю, как кому, а мне эта кроткая покорность судьбе, которой переменить нельзя, не нарушив того, что святее всякого личного чувства,

* Древняя форма слова: свекровь (прим. Т. И. Филиппова).

представляется трогательнейшею чертою, умиляющею до слез. Что же отвечает брат? Возмутил ли по крайней мере, он ее покорность, а вместе с тем и мир совести? Стал ли он раскрывать ей силу ее прав? Одним словом, растравил ли он еще более рану ее сердца, как бы сделал непременно всякий брат, который польстил бы минутно ее оскорбленному чувству, изобразив ей яркими чертами несправедливость к ней мужа и поругание ее прав? Нет! Брат не растерялся ни от множества сестриного горя, ни от тайного, неуловимого желания блеснуть силой своего участия; сохраняя полную ясность невозмущенного ума, которую дает только истинное внимание к чужому делу и желание помочь ему (иначе: истинная любовь), он обозрел ее положение и посоветовал трудное, но лучшее:

Потерпи, сестрица! Потерпи, родная!

Сколько в этих словах любви! Какой честный, не льстивый, исполненный истинного и прозорливого участия совет! Ведь можно бы и иначе было посоветовать: брось! уйди! или что-нибудь в этом роде. И это показалось бы, может быть, на первых порах любовью и самой сестре! Но какая безумная, если не преступная, любовь! Будто тот нам друг, кто помогает падать, а не тот, кто во время изнеможения поддерживает нас на ногах? Ну, пусть она бы ушла, что же бы из нее вышло? Ни вдова, ни мужняя жена, каких — увы! — довольно в наше время. Но неужели век страдать и не ждать ниоткуда отрады? В чем же пройдет жизнь? Это не наше дело; мы не сами собой получили жизнь и не сами собой распоряжаемся своими обстоятельствами. Наше дело — идти своей дорогой, не сбиваясь с пути добродетели и долга; а там что будет, не узнаешь, да

и не нужно: пошлется счастье — благодари, пошлется горе — терпи! Вот все правила для устройства обстоятельств нашей жизни. Но нашей несчастной не до конца еще терпеть; брат предвидит изменение ее обстоятельств и утешает ее так:

Свекор-то бранчивый, свекор скоро помрет,
Свекры ворчалива за ним в землю пойдет,
Деверек-насмешник в чужих людях возьмет,
Золовка-смутьянка сама замуж выйдет,
Муж жену не любит, другую не возьмет;
Другую не возьмет, тебя не минет.

Полагаю, что сказанного достаточно для уяснения нашего вопроса, т. е. для отличия наших народных воззрений на семейные отношения от воззрений западных. Надеюсь, здесь доказано, по крайней мере, что есть это отличие; я оставляю каждому свободный выбор из этих двух воззрений, но желаю только, чтобы этих двух воззрений не считали за одно: хорошо ли для нас, или худо, что мы в этом разнимся от Запада, это особый вопрос; но смешивать различное — во всяком случае противно истине.

Пожалуй, кто-нибудь скажет, что в наших народных песнях не всегда-то берется вопрос семейный с такой чистой стороны, что и в них поется иногда про неверность, нередко рисуется кипящая страсть, вовсе не строго судимая, а изображаемая с сочувствием к ней, что, следовательно, русская песнь разнообразна и непоследовательна, как самая жизнь; что поэтому и нельзя сделать из нее таких выводов, которые не опровергались бы другими, из того же источника почерпнутыми. Справедливо в этом возражении будет то, что русская песнь, как и всякая, впрочем, поэзия, разнообразна до бесконечности, что

она берет в предмет своего пения всякие человеческие отношения. Но над этим разнообразием песни господствует везде воззрение безличного, но живого творца ее, русского народа, который, как словесный художник между народами, не нарушает изящества своих творений, явно внося в них свой суд над их содержанием, предоставляя нам самим его угадывать. И кто умеет сам, не нуждаясь в указке, извлекать из поэтических произведений дух и созерцание поэта, тот оценит в русском народе эту художественную воздержность и не сочтет ее за нравственное безразличие, усмотрит в нашей песне, вместо отвлеченной *морали*, присутствие живого нравственного суда. Она не строго судит страсть? Точно, она благодушна и не способна сурово судить о невольных увлечениях сердца: она человечественна и всегда помнит, что имеет дело не с отвлеченным идеалом, а с живым человеком. Но когда эти увлечения становятся преступны, то русскую песнь не подкупишь никаким блеском страстных движений: она никогда не станет на сторону порока, хотя бы и разряженного и разукрашенного*.

Обратимся, наконец, к драме г. Островского, которая подала нам повод к изложенным рассуждениям; вот вкратце ее содержание.

Молодой московский купец, Петр Ильич, бывая по делам в одном уездном городе, полюбил там небогатую девушку и с ее согласия увез из родительского дома. Впрочем, как человек с совестью, он не захотел ее погубить и женился на ней. Но дело, начатое в таком страстном забвении естественных обязанностей, не обещало хороших последствий и в себе самом носило зародыш семейного горя, как справедливого возмездия: Петр Ильич,

* Из новейших песен есть уже и такие (в том числе и известная, превосходная в художественном отношении песня «Ванька-ключник»), но за новое время я не отвечаю: тут, наконец, и такие песни, которые раз в раз приходят по нравственной мерке эмансипации (*прим. Т. И. Филиппова*).

следуя тем же призывам своей страстной природы, по которым украдучи увез Дашу, полюбил другую красавицу (уже в Москве), и в доме пошло все вверх дном. Даша, заметя охлаждение к себе мужа и перемену в его жизни (он стал пропадать из дому, пить и т. д.), сперва не могла придумать, от чего это с ним сделалось; она думала было усиленными ласками и памятью прежних дней вновь обратить его к себе, но вышло еще хуже. Приходил отец и строго говорил сыну о его беспутстве, грозил близостью беды и отказом в своем благословении, но страсть не допускала до сердца Петра никаких увещаний и только своими крайними последствиями могла привести его к сознанию его положения. Наконец Даша узнает об измене мужа и, как сама страстная, не вынесла этого известия и сразу собралась из мужнего дома к отцу с матерью.

Тем временем старики, проведав, что дочь с мужем живет неладно, сами вздумали ее навестить и как раз съехались с ней на московском постоялом дворе, где жила Дашина разлучница, Груша. По тихим причитаньям мать узнала дочь свою; сперва Даша стыдилась было взглянуть на отца, которого не видала с самого своего побега, но его нежность тотчас рассеяла ее стыд, и она стала рассказывать родителям о своем горе. Они слушали ее с большим участием; но как скоро речь дошла до того, что она кинула своего мужа и едет к ним на житье, Агафон (отец Дашин) и слышать этого не захотел и повез ее назад к мужу. «Поплакать с тобой я поплачу; но Бог соединил, человек не разлучает».

Груша слышала все Дашины рассказы и из них узнала свое положение и обман Петра, который казался ей холостым. И когда вечером он к ней приходит, Груша, сама не своя от досады, вычитала ему свои упреки и, уходя с гурьбой подруг на улицу, говорит в

прекращение всяких его недоумений: «Жена твоя здесь была». Петр остается пораженный, как громом. Тут подвертывается к нему Еремка (какое-то загадочное лицо, не то шут, не то колдун) и предлагает ему испытать для поправления своих дел волшебные средства. Под внушением ложных наветов Еремки, Петр является домой и ищет жену, грозясь убить ее; но ее прячут, и он в испуге убегает из дому, думая отыскать ее по следу. Домашние остаются в ужасе. Отец с матерью видели, наконец, своими глазами, каково житье дочери, но когда она опять заговорила было о разлуке с мужем, отец ее остановил, припомнил ей, что она сама выбрала себе судьбу, представил ей обязанности жены и посоветовал ей ждать в терпении перемены своей участи. Его советы скоро оправдались: во время общего беспокойства о Петре, когда хотели было бежать за ним его отыскивать, вдруг он является сам, чудесным образом избегши гибели, и, потрясенный своей недавней опасностью, на коленях просит прощения у жены и у добрых людей. Отец говорит: «Что, дочка, говорил я тебе?» Даша бросается к мужу: «Голубчик, Петр Ильич!»

Мысль этого произведения прекрасно выражается его заглавием: «Не так живи, как хочется», особенно если прибавить другую половину пословицы: «а как Бог велит»; но еще лучше можно бы выразить ее другой пословицей, тут же употребленной: «Божье-то крепко, а вражье-то липко». Здесь под Божьим должно разуметь начала закона, под вражьим начала страсти, воюющей противу закона. Намерение воспользоваться таким взглядом нашего народа на дела человеческого быта делает честь художническому выбору г. Островского и подтверждает сказанное мною выше о глубине его усмотрений в области нашей народной жизни. Страстность понимается у нас в народе как односто-

роннее развитие души, как нарушение цельности внутреннего бытия; закон, напротив того, как бесстрастный, почитается началом, уравнивающим нашу внутреннюю жизнь чрез ограничение всякого крайнего развития одной какой-либо душевной силы. Г. Островский понял это и представил в своей драме страстность как зло, воюющее против законного семейного начала, в совершенную противоположность тем западным романам и повестям (о которых мы говорили выше), где выводится, наоборот, законное начало как зло, губящее свободу и красоту личной жизни. Мне хочется заметить, что г. Островский обязан этою глубиной своего воззрения близкому знакомству своему с русской песней (по крайней мере, мне это так кажется), которая оторвала его взор от случайных и несущественных выражений русской народности и постепенно вводила его и не перестает вводить в полнейшее познание народного духа и его существенных проявлений: недаром он так любит вставлять русские песни в свои произведения. В этой же драме слышится даже некоторое влияние песни, приведенной у меня выше (Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко!). Я не смею сказать утвердительно, что г. Островский именно ею воспользовался (он мог и совпасть с нею), но не могу не обратить внимания читателя, например, хоть на конец драмы; в ее заключение так и просятся стихи:

Муж жену не любит, другую не возьмет;
Другую не возьмет, тебя не минет.

Потом, когда Агафон говорит дочери о терпении, опять приходят на мысль из той песни слова:

Потерпи, сестрица! Потерпи, родная!

Кроме того, что мысль этой драмы имеет сама по себе глубокое значение, и драматическая обстройка ее заслуживает полного внимания критики как превосходное художественное намерение. В этой драме взяты муж с женою, соединившиеся по страстной взаимной привязанности, которая заставила их забыть важные естественные обязанности: они обвенчались тайком от родителей, не испросив на то их благословения. Но и после своего соединения они не умели развить своих отношений в истинно супружеские, оставаясь и в браке страстными любовниками: те же самые побуждения, по которым они соединились, в дальнейшем своем естественном развитии привели их отношения к разладу, который и дан в драме исходною точкою действия. Цель драмы — восстановление разлаженных семейных отношений. При каких же условиях совершается это восстановление? При действии двух взаимно противодействующих сил: с одной стороны, московский постоянный двор как искушающая сила, с отважной красавицей Грушей, с ее матерью Спиридоновной, которая «уважает купцов за их жизнь», с темным колдуном Еремкой, с масленичным пьянством и т. д.: с другой стороны, представители Божьего начала: Илья, отец Петров, и Агафон, Дашин отец, которые, каждый по-своему, стараются умирить семейный быт своих детей, восстановив в нем законное начало, низверженное действием страсти*. Обстановка истинно драматическая! И в самом внешнем расположении действия г. Островский показал значительное искусство: действие развивается

* Заметим, что г. Островский показал тут богатство своего вымысла, представив законное начало в двух типах: Илья есть представитель строгой законности, не внимающий ничему, кроме своей отвлеченной правды; Агафон есть представитель истинно-христианской законности, отнюдь не соизволяющей безобразию страстных движений, но в то же время любовью покрывающий чужую слабость (прим. Т. И. Филиппова).

естественно и быстро, каждая сцена способствует его постепенному ходу к предположенной цели. Исключать должно только появление Ильи, который как-то странно появляется, как случайное лицо, в начале драмы, чтоб выговорить свои нравоучения, и потом не принимает в ней никакого участия. Этот упрек, впрочем, не имеет важности. Гораздо важнее упрек, касающийся развязки драмы: здесь г. Островский показал свою обычную слабость; он не умеет никогда свести своего действия к круглому заключению, которое удовлетворило бы чувству читателя. Так случилось и здесь: доведя действие до самой крайней точки драматического возвышения, он круто повернул его в противную сторону и привел читателя туда, куда тот и не думал попасть. То же самое мы видим и в другом его произведении, «Бедность не порок»; должно быть, это какой-нибудь природный порок в даровании г. Островского. Такие быстрые и неожиданные переломы встречаются в наших народных сказаниях, которыми, видимо, руководствовался г. Островский, но сказания наши спасает в этом случае их эпическая форма: а как неловки в драме такого рода переходы, это испытал, наверно, тот, кто видел пьесу г. Островского на сцене.

Но главный недостаток этой драмы, по которому она не имела ни малейшего успеха ни на сцене, ни в чтении, — слабость в создании характеров, какой доколе не показывал г. Островский ни в одном из своих произведений. Правда, Агафон, Даша, Груша и Вася намечены довольно живо и, может быть, при лучшем создании главного действующего лица они могли бы способствовать общей красоте произведения; из них Даша, по моему мнению, заслуживает особенного внимания. Но Петр, на котором держится вся драма, исполнен так неудачно, что и самому посредственному художнику не

принес бы чести: здесь повредила г. Островскому та робость приемов, о которой я говорил как о влиянии натурального направления. Следовало бы этот характер взять гораздо пошире, дать ему размах, свойственный русскому разгулу, который стремится уйти в какую-то бесконечность. Эта черта поддерживала бы постоянно высоту драматического настроения; и притом она наша русская черта, воспроизведение которой могло бы быть лестной задачей для нашего отечественного художника: она слышится и в нашей песне, и в бесконечном разливе ее напева: о ней упоминает и Пушкин как об основной черте нашей народной поэзии, ее брали и другие писатели наши и выражали иные очень удачно.

А у г. Островского вышел какой-то средней руки гуляка, у которого всплывают наверх животные чувства, внушающие омерзение; а при таких условиях от лица трудно ожидать драматического впечатления. Возьмем, например, его пьянство. Я ни слова не говорю: пьянство здесь выведено совершенно уместно; оно очень свойственно в таком запутанном состоянии, в каком находится Петр. Но это должен бы быть запой от страшной внутренней тревоги, которой ничем ни зальешь, ни затушишь. А он что говорит? «Вина! да ты подай хорошенького, ведь нынче Масленица!»

Объяснение его с Грушей оскорбляет вкус с другой стороны; это точно какой-нибудь герой из лженародной драмы Кукольника или Гедеонова. Он объясняется с нею в таких выражениях, которыми г. Островский никогда не позволял себе злоупотреблять: он был сперва так строг к себе в отношении к языку. «Жизнь моя, лебедь белая, прилука молодецкая!» и другие подобные выражения никогда не встречались прежде в его произведениях: они сами по себе прекрасны и взяты из народной поэзии, но наши романисты и драматические писатели так их опо-

шлили неуместным употреблением, что их избегает художник с чистым вкусом.

В особенности же дурень Петр в той сцене, когда он под внушением Еремкиных наветов является домой, грозясь убить жену. Тут ожидаешь страшного потрясающего действия: вдруг является отяжелевшей от хмеля, раскисший человек, который несет какую-то нескладницу, ничего в себе драматического не заключающую. Например:

«Ты мне тетка, а ты меня не трожь! А то... ух! Не дыши передо мной, не огорчай меня».

Это прямо норовит в какой-нибудь натуральный водевиль. Потом он говорит про жену:

«Мне нынче человек про нее сказывал... Вот и кореньев мне дал... горюч камень алатырь... Привороты все знает, пускает по ветру...»

Неужели же для того прибежал г. Островский к волшебной стихии, чтобы дать случай Петру сказать несколько нелепых суеверных выражений? Как же можно в такую страшную драматическую минуту смешить читателя бессвязным вздором? Хмель должно было взять как средство усилить иступление страсти, как подчиненное явление, а тут он является поверх всего, на главном месте. Непостижимая ошибка!

Кстати, тут скажем и об Еремке. Вывести лицо таинственное и искушающее около запутавшегося Петра — мысль прекрасная, сообразная с общими понятиями о введении чудесной стихии в поэзию и в особенности сообразная с нашими народными сказаниями подобного содержания. Всякий из нас без сомнения слышал в детстве немало народных рассказов о том, как человек, сбившийся с прямой нравственной дороги, встречается с каким-то таинственным лицом, которое всюду за ним следует и доводит его своими обольщениями до конеч-

ной гибели, и только особенная, ниспосланная вовремя помощь спасает заблудшего и возвращает его на истинный путь. В этом отношении мысль вывести Еремку и свести Петра на Москву-реку мы находим прекрасною, но исполнение ее весьма неудачным. Еремка похож более на шута, чем на колдуна, и вовсе уж не производит на читателя того околдовывающего впечатления, какое всегда есть в народном изображении этих лиц. Конечно, таким лицом можно воспользоваться и с комической стороны, но тогда нужно было бы переладить всю драму и обратить ее в комедию; в противном случае оно должно расстроить собою все драматическое впечатление, как это и случилось с Еремкой. Мало того, Еремка и не смешон, а до невероятности пошл, так что своими словами производит даже не смех, а нестерпимую скуку и досаду. Он выходит такой, каким бы его вывел недалновидный художник, если бы желал потешиться над народным суеверием; в г. Островском такого нехудожественного намерения предположить нельзя; а для меня просто необъяснимо, отчего он так дурно воспользовался этим лицом, которое, при искусном употреблении, могло бы выйти красою драмы, усилив ужас изображения внутренней страстной бури своим таинственным присутствием и искушающими внушениями.

Столь слабое исполнение в создании главного лица, на котором держится вся драма, должно было отнять у нее всю красоту, как бы ни были хороши в ней отдельные явления, побочные лица и другие подробности. Я не остановлюсь на этих подробностях, хотя разбор их во многом смягчил бы строгий приговор художественной стороны драмы. Никто не сомневается в способности г. Островского ловко составить какую-либо сцену, зацепить мимоходом какую-нибудь любопытную чер-

ту характера или народной жизни; но эти достоинства мы видим не редко в писателях и не столь даровитых, и потому мы пропускаем их на этот раз без внимания. Мы надеемся еще не раз встретиться с г. Островским на художественных вопросах; теперь же мы хотели поярче выставить недостатки его произведения с указанием главной их причины, чтобы сколько-нибудь с своей стороны способствовать освобождению г. Островского от привычек ложного вкуса.

Главною же нашею целью в этом разборе было оценить важность той задачи, которую предложил себе г. Островский в своей драме: ибо в выборе ее он показал особенную проницательность, какой не видать ни в ком из современных писателей. В наше время, когда прежде всего просят решения вопросы, касающиеся нашей народной сущности, искусству предстоят великие и славные задачи: ибо у него есть особенные средства, ему одному принадлежащие, уловлять тончайшие подробности народной жизни и народных типов, которые не могут быть схвачены и определены наукою и в которых, между тем, отражаются внутренние свойства народного духа. Напрасно возражать против того, что искусство должно быть свободно в выборе задач и не слушаться в этом отношении никаких посторонних указаний, а пользоваться тем, что дает сама жизнь. Мы и не посягаем на свободу искусства и никак не хотим предписывать ему того или другого направления; но когда оно само склонилось к преимущественному изображению народной жизни, тут мы вправе пожелать ему, чтобы содержанием его были не одни внешние и незначительные подробности ежедневного быта, на которые с такой жадностью кидаются современные писатели, но чтоб его задачи брались из существенных сторон внутренней жизни народа. Г. Островский выбором своих задач,

а особенно последней, совершенно удовлетворяет этому требованию и, как нам кажется, в этом отношении недостаточно оценен и даже понят; между тем как это и кладет решительную разницу между ним и другими современными писателями. Неудачи исполнения не должны пугать г. Островского, они случались не с ним одним. Перед ним будущность; мы ждем исполнения тех надежд, которые возбудил он в обществе при своем появлении, и надеемся, что нам еще придется читать его произведения, столь же прекрасные по исполнению, как «Свои люди — сочтемся», и столь же глубокие по содержанию, как та драма, которая подала нам повод к этим рассуждениям.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НЕСТОРИАНАХ

В № 30 «Современной Летописи» «Русского Вестника» помещено известие о прибытии в Лондон двух членов несторианской секты, священника Йоганана (вероятно Иоганна, по нашему Иоанна) и диакона Йицксхака (Исаака), которые явились туда в надежде обратить внимание могущественного и благоденствующего народа на свою бедствующую и в настоящее время мало кому известную общину.

Всех несториан в настоящее время насчитывается около 30 тыс. семейств. Живут они по обеим сторонам Курдского хребта, отделяющего Персию от азиатской Турции: в Персии, некогда главном местопребывании несториан, теперь их не более 8 тыс. семейств, которые помещаются по деревням в окрестностях города Урмии близ озера того же имени. В азиатской Турции, по другому склону Курдского хребта, в области Хяккязи, их полагают в числе 20 тыс. с небольшим семейств. Здесь около города Джуламерга, в деревне Оджалус (иные выговаривают: Кудчанус), живет их патриарх, имеющий постоянное имя мар-Шимона (Симеона). Кроме того, близ тех же мест, но только вне черты Курдского хребта, по долинам, лежащим у его подошвы, около городов Мосула, Багдада и др., насчитывается около 10 тыс. семейств

бывших несториан, обращенных в XVII веке в латинство и составляющих особую от других католических на Востоке прозелитов общину латин-халдеев, под управлением особого патриарха, носящего также постоянное имя мар-Юсуфа (Иосифа).

Этот обычай присвоения патриархам и другим важнейшим архиереям постоянных имен встречается и в некоторых других восточных христианских церквях. Так, в яковитской церкви патриарх, сверх своего собственного имени, называется непременно Игнатием, в честь св. Игнатия Богоносца, от которого, как от антиохийского епископа, он производит свое иерархическое родословие. Подобно тому мосульский (яковитский) митрополит присваивает себе второе имя Василия, почитая себя преемником св. Василия Великого, а Иерусалимский (яковитский же) архиерей — имя Григория, производя свое родословие от св. Григория Неокесарийского. В честь каких святителей патриарх несториан называется мар-Шимоном, а патриарх латин-халдеев мар-Юсуфом, нам неизвестно.

Кроме Персии, есть, как говорят путешественники, небольшой остаток несториан и в некоторых отдаленных частях Китая; но сколько их там, определить никто доселе не мог. Наконец, в небольшом тоже числе встречались несториане, под именем христиан св. Фомы в Ост-Индии, на Малабарском берегу¹; но в весьма недавнее время они слились с обществом живущих на том же берегу монофизитов яковитской церкви.

Итак, если не считать халдеев-католиков, обращенных в латинство, как сказано, в XVII веке, то всех несториан на всем земном шаре будет около 30 тыс. семейств, то есть никак не более 150 тыс. душ: вот ничтожный остаток церкви, некогда весьма могущественной и многочисленной.

Происхождение несторианской ереси относится к началу V века. Корреспондент «Современной Летописи» замечает, что от константинопольского патриарха Нестория она получила только название, а существовала будто бы и до него. Вероятно, замечание корреспондента имеет тот смысл, что неправославные мнения о соединении в Богочеловеке лиц божеского и человеческого встречались и прежде Нестория. Действительно, докеты, манихеи, Павел Самосатский, Диодор Тарсийский, Феодор Мопсуэтский и многие другие еретики погрешали против апостольского учения об этом предмете и за то осуждены церковью. Но при всем том, Несторию собственно принадлежит то решительное определение и возведение в положительный догмат неправого учения о неипостасном соединении в Спасителе божеского и человеческого лица, которое послужило причиной отделения от апостольской церкви значительного числа христиан, основавших особую, донныне существующую, несторианскую церковь. И в этом смысле Несторий есть истинный родоначальник своей секты, точно так же, как, например, Лютер по справедливости почитается истинным основателем протестантской церкви, хотя и у него, как у Нестория, были предшественники: Виклеф, Гус, Иероним и другие.

Учение Нестория, обличенное св. Кириллом Александрийским, было осуждено приговором III Вселенского Собора, созванного в Ефесе в 431 году. Но ясные и строгие запрещения собора и знаменитые в церковной истории двенадцать анафематств св. Кирилла не могли остановить быстрого распространения новой ереси по Месопотамии, Сирии и вообще по Востоку, где Несторий, как сирийский уроженец, был всем известен и, как человек ученый и по жизни строгий, пользовался великим уважением. Неблагоразумные меры мирской вла-

сти, вызванные ревнителем православия, эдесским епископом Равулою, и устремленные против последователей Нестория, привели к тому, что они всем обществом удалились из пределов, подчиненных власти византийских императоров, и переселились в Персию, где в скором времени успели овладеть полным доверием правительства и в свою очередь воздвигнуть гонение на обитавших в Персии православных.

Персидские цари, естественные и постоянные враги византийских императоров, были недовольны тем, что весьма значительная часть их подданных, исповедовавших христианскую веру, находилась с Византией, как со средоточием восточного православия, в непрерывных и живых сношениях, в которых византийская политика относительно Персии почерпала важные выгоды. Посему персидское правительство весьма охотно согласилось на предложенную вкрадчивыми несторианами меру, которая разом пресекла все сношения персидских христиан с Византией, именно: на признание несторианского вероисповедания из всех христианских исключительно терпимым в Персии. Мера удалась совершенно. После страшных гонений, воздвигнутых царем Ферозом на православных, не согласившихся на вероотступничество, все христианские церкви в Персии очутились в руках несториан, и с тех пор сношения персидских христиан с Византией вследствие укоренившегося разномыслия совершенно прекратились.

В самом конце V века был созван большой несторианский собор, утвердивший все заблуждения Нестория и все изменения в церковном чине, сделанные его последователями. На этом соборе несторианский епископ Селевкии, именем Бабей, был окончательно признан патриархом всего Востока: именование, принадлежавшее до той

поры единственно антиохийскому патриарху*. Это время почитается обыкновенно началом самостоятельного существования несторианской церкви.

Вслед за тем несторианство с необычайным успехом и быстротой распространилось по всей средней и южной Азии: в начале VI века несториан встречали уже в Индии, Китае, Счастливой Аравии², Сокотре и других местах Востока. В Китае, как и в Персии, это учение пользовалось полною свободою проповеди не только в народе, но и при дворе.

В VII веке, когда вместе с учением Магомета распространилось по Востоку владычество его последователей, несториане успели стать к новым повелителям Востока еще в лучшие отношения, чем к персидским царям. Сам Магомет был к ним очень благосклонен и даровал им особые льготы и права, неизвестные подвластным ему христианам других исповеданий; обыкновенно полагают, что ту часть своего учения, которая отзывается христианскими понятиями, Магомет заимствовал из несторианских источников. Преемники Магомета, аравийские халифы, известные покровители искусств и знаний, с особенным благорасположением смотрели на эту секту, отличавшуюся любовью к науке и во многих отраслях человеческого ведения оказавшую значительные успехи. Наука не может без искренней признательности вспомнить о том, что сохранением многих драгоценных памятников умственной деятельности древних она обязана несторианам.

Понятно, что несториане успели занять при дворе халифов все важные должности, требовавшие особых познаний и умственных даров. Своим влиянием они

* Православный антиохийский патриарх доселе сохраняет в своем титуле это наименование: патриарх Божия града Антиохии и всего Востока (*прим. Т. И. Филиппова*).

упрочили положение своей церкви в пределах, подвластных халифам, и из разоренной Селевкии перенесли кафедру своего патриарха в резиденцию халифов, Багдад. Многие епископские кафедры были вновь учреждены по различным местам Востока, так что в половине XIII века под властью несторианского патриарха насчитывалось до тридцати митрополий, рассеянных по всему обширному пространству средней и южной Азии.

Удар, нанесенный владычеству аравитян татарскими ордами, был также тяжким ударом и для несторианской церкви. Сначала, впрочем, ханы не только не преследовали несториан, но даже покровительствовали им; одна из татарских династий, ок-хан, принадлежала сама к несторианскому исповеданию. Полагают также, что жена знаменитого Чингисхана была несторианка. Но к концу XIII века обстоятельства несториан изменяются, и на них воздвигаются, одно за другим, страшные гонения, из которых самое беспощадное и губительное для них было при Тамерлане. Этот кровожадный хан преследовал их с неумолимостью, приводящею в изумление; так что к концу его царствования от этой могущественной, недавно столь цветущей, счастливой и просвещенной секты остались небольшие жалкие кучки, успевшие скрыться в неприступных возвышенностях Курдского хребта, около которого они живут и донныне, претерпевая беспрестанные гонения от турок и персов. Из преследований, постигших несториан в более близкое к нам время, особенно памятны для них те, которым они подверглись в XVII веке по влиянию латинских миссионеров, видевших в этом верное и простое средство для успеха в своих намерениях. В самом деле, предпринятые латинами меры оказались действительными: выше было сказано, что в XVII веке все несториане, живущие по долинам, облегающим турецкую часть Курдских гор, были обращены

в латинство, в котором и до нашего времени пребывают. Только те из них сохранили независимость своего исповедания и спасли самостоятельное бытие своей церкви, которые успели скрыться в горах, недоступных гонителям. В этом главная причина общей ненависти несториан к латинской церкви, которая, несмотря на крайние усилия своих миссионеров и неисчислимые вещественные средства, находящиеся в их распоряжении, почти вовсе не приобретает между ними прозелитов.

В настоящее время несториане находятся в крайне бедственном положении. Кроме некоторой их части, состоящей под влиянием американских миссионеров (к их числу принадлежат, как мы видим из «Современной Летописи», и лондонские гости), помогающих им как в нравственных, так и в вещественных нуждах, остальные живут в бедности, в совершенном невежестве и постоянном страхе нехристианских правительств, которым они подвластны. Не говоря уже о мирянах, в самом духовенстве их почти вовсе нет людей просвещенных в настоящем значении слова; немногие из представителей несторианского клира в состоянии с точностью определить основные положения их вероисповедания и разъяснить существенные отличия его от иных христианских вероучений. Собственная их история также очень мало им известна, и все сведения о ней, какие мы имеем, почерпаются обыкновенно из исследований европейских ученых. Лучшим сочинением по этой части почитается книга англичанина Баджера; немало также известий об этой секте, этнографических и исторических, заключается в периодических изданиях латинских миссионеров.

Нет сомнения, что в английском народе, к сочувствию которого обратились несториане чрез посредство священника Йоганны и диакона Йицксхака, всегда

найдутся люди, готовые с теплым участием внять воплю всякой бедствующей христианской церкви; что же касается до несториан, то они, по некоторым причинам, могут надеяться на особое внимание и покровительство англичан.

Главная причина состоит, конечно, в том, что Англия считает одною из священнейших своих обязанностей поддерживать действия протестантских миссионерских обществ на всем земном шаре, и на этот предмет тратит, как известно, огромные суммы; несториане же до сих пор ни с кем из представителей всех христианских исповеданий не вступали в такие тесные отношения, как с американскими протестантскими миссионерами, действующими преимущественно в Персии и пользующимися постоянным покровительством британского посольства.

Американские миссионеры успели уже подчинить своему влиянию более половины урмийских несториан; но это не потому, как думают иные, что несториане близки будто бы к протестантам по своим церковным понятиям. Правда, что из всех восточных христианских церквей нет ни одной, которая так далеко ушла бы от апостольского учения и предания первенствующей церкви, как несторианская; справедливо также и то, что ни одно из христианских обществ на Востоке не отличается такою разрозненностью в понятиях о собственном вероисповедании, как несторианское; яковиты, например, или армяне, или копты, имеют строго определенные догматические понятия, стройный чин богослужения и вообще имеют вид религиозных обществ, хотя и заблуждающихся в некоторых предметах веры, но в точности знающих свои верования и свое отличие от других церквей. Несториане же не имеют точной, строго определенной символики, и даже образованные люди

из их духовенства затруднились бы изложить все особенности нынешнего несторианского вероучения, а тем более объяснить их историческое происхождение. Они находятся в состоянии разрозненности и смущения, и в этом смысле действительно подобны протестантам. Но в числе их верований есть такие, какие не согласится признать ни одно отделение протестантской церкви: кроме основного догмата несторианского, в их учении есть следы влияния пелагианского, оригеновского и даже языческих сект. И наоборот, в их учении, и особенно в обрядословии, есть такие древние церковные черты, по которым они гораздо ближе к другим церквям апостольским, преимущественно к православной, нежели к протестантству. И потому несправедливо приписывать успехи протестантских миссионеров между несторианами какой-либо положительной близости верований того и другого общества; гораздо вернее, по нашему мнению, объяснять эти успехи тем, что американские протестанты вовсе не касаются тех вопросов христианской догматики, которые могли бы подать повод к препирательству и раздору. Они не имеют прямого и неперемного намерения обращать несториан в свою веру (что было бы отчасти и несообразно с их собственным учением о свободе в деле веры всякого личного убеждения) и довольствуются тем, что помогают бедствующей общине во всех ее нуждах, вещественных, нравственных и гражданских. Во имя христианской любви они распространяют между этими забытыми миром людьми свет знаний и блага гражданственности, предоставляя дело единомыслия и согласия в предметах веры свободному произволению самих несториан.

Когда американские протестанты в первый раз проникли в селения урмийских несториан (это было лет 30 тому назад), они не нашли у них ни одного экземпляра

какой бы то ни было печатной книги: даже Св. Писание и другие богослужебные книги были у них рукописные. И доселе у них в большой чести некоторые рукописные экземпляры Св. Писания, которым они насчитывают без малого 1000 лет и которые до введения печатных экземпляров были особенно для несториан важны, как вернейшие, по их мнению, кодексы Св. Писания. Американцы впервые познакомили несториан с искусством книгопечатания; они завели у них (в Персии) типографию, в которой напечатали все священные их книги. В настоящее время даже те из урмийских несториан, которые чуждаются американцев (а таких половина), пользуются плодами их просветительной деятельности и имеют печатные экземпляры слова Божия, выпущенные из заведенной американцами типографии, не только на древнем сирском языке, но и в переводе, совершенном теми же миссионерами на нынешний халдейский язык.

Американцы же поспешили завести во всех несторианских селениях, подчинившихся их влиянию, приспособленные к потребностям и умственному состоянию жителей школы. В 1860 году их было по разным селам более 50; кроме того, две в самом городе Урмии, одна для мальчиков, другая для девочек; наконец, в Сыр-Даг они учредили центральное училище, вроде нормальной школы, в котором приготавливаются из несторианских же юношей учителя в сельские и урмийские училища.

Американцами же заведена там аптека, раздающая безвозмездно врачебные пособия; при ней состоит и безвозмездный врач, готовый всегда и всюду спешить на приглашения больных бедняков.

Нечего и говорить о том, что во всяких других житейских нуждах американцы не оставляют несториан без своей щедрой помощи: они дарят им земледельческие и другие ремесленные орудия, хлебные семена и т. п.

Наконец, во всех неприятных встречах несториан с персидскими местными властями, которых лихоимство превосходит всякое вероятие, американцы поручают их крепкой и надежной защите британского посольства.

Для представителей так называемой высокой церкви существуют еще особые побуждения быть внимательными к несторианским путешественникам, если только с их прибытием связан какой-либо церковный вопрос. Поставленные изначала во враждебные отношения к церкви римской и, по одному из основных своих принципов почитающие протестантство важным религиозным заблуждением, эта церковь с весьма понятным сочувствием обращает взоры свои к христианскому Востоку и ищет с ним соглашения и союза в деле веры. Известно обращение ее к новоучрежденному русскому синоду в 1723 году и ответ на это обращение восточных патриархов, которым мы немедленно сообщили грамоту англиканцев. Не кончившаяся полным успехом попытка осталась во всяком случае знаком искреннего и сильного сочувствия англиканцев к православной Церкви, и кто знает: может быть залогом новых, более успешных сношений и переговоров.

С тех пор, несмотря на то, что никаких официальных сношений между англиканскою и православною церковью не было, сочувствие англиканцев к нам не уменьшилось, но достигло, напротив, весьма значительных размеров, особенно со времени известного доктора Пьюзея, которого последователи, обратившись к глубокому исследованию писания древних Отцов Церкви и вообще церковной древности, пришли к неизбежным для беспристрастных исследователей выводам о превосходстве нашего Вероучения пред всеми другими христианскими, другими словами, о преимущественно апостольском характере православной восточной церкви.

В таком духе писали многие из ученых представителей высокой церкви: Ниль, Аллайс (Allies) и особенно известный в России Палмер, бывший архидиакон английской церкви, в настоящее же время латинский священник. Известно, что этот замечательный человек искал соединения с православною церковью, которую предварительно изучал с пристыжающею нас обстоятельностью, и для этой цели долго жил в России и на Востоке; но разность в чине приятия иноверцев в лоно церкви, существующая с 1756 года между русскою и восточною церковью и к великому сожалению и вреду до сих пор не уничтоженная, послужила тому препятствием.

В недавнее время нашлись, впрочем, между англичанами более решительные люди, которые не запнулись и об это препятствие и сделали членами православной церкви: мирянин Стефан Гаферлей (Gatherley) в 1553 году принят был в недра Православия настоятелем греческой в Лондоне церкви, по чину греческому, то есть, чрез повторение над ним крещения; и священник английской церкви, Ричардсон, в прошлом году вступил в православную церковь в Ницце, где настоятель нашей посольской церкви совершил над ним таинство миропомазания.

Но, отдавая честь и преимущество нашей церкви, churchmenы не почитают ее, однако, единою истинною; в противном случае они обязаны были бы перед своею совестью немедленно к ней присоединиться. Как известно, они смотрят на разделение христианских церквей со своей особенной точки зрения: не почитая ни одной из них, в том числе и своей, исключительным хранилищем откровенной истины, ясно определенной апостолами и соборами, они полагают, что все собственно апостольские церкви, то есть, имея правильную и в непрерывном преемстве от апостолов идущую иерархию, получили в

свой удел хранения, одна большей, другая меньшей доли христианской истины, и находятся только в наружном разделении и отчуждении, на самом деле существенно связаны между собою таинственным союзом и составляют единое тело. Этим взглядом на взаимные отношения христианских церквей объясняется то горячее участие, которое принимают представители англиканской высокой церкви в судьбе всех древних неправославных (о православном уже говорено) исповеданий Востока. Участие их выражается не в одних ученых исследованиях прошедшей истории и современного состояния этих малоизвестных миру церквей, но и в человеколюбивых предприятиях, имеющих целью внести свет науки и благоденствия гражданственности в недра этих обществ, погруженных в глубокий мрак.

В наших духовных журналах (Православное Обозрение, 1860, июнь) была в сокращении напечатана переписка знаменитого англиканского миссионера Вульфа, служившего на Востоке делу христианства более сорока лет, с ученым профессором Кембриджского университета, г. Вильямсом, также весьма известным на Востоке, где он прожил довольно долго в 40-х годах и вошел в близкие сношения с представителями всех христианских церквей. Переписка эта касалась учреждения в каком-либо месте Англии таких училищ, в которых восточные юноши и отроки из армян, коптов, яковитов и других (также и из православных), могли бы, сохраняя полную независимость религиозных убеждений, получать столь дорогое для них и, к сожалению, столь редкое между ними общечеловеческое просвещение.

Г. Вильямс имел намерение учредить для этой цели в Кембриджском университете две особые коллегии, одну для православных учеников, другую для монофизитских (армян, яковитов, коптов). Для осуществления своей пре-

восходной мысли он ездил еще раз, в том же 1860 году, на Восток, был и в России, где надеялся найти ей сочувствие и поддержку; но, как кажется, не имел успеха.

Несторианская церковь, с англиканской точки зрения, заслуживает такого же внимания, как и церкви монофизитские. Хотя она, как сказано выше, гораздо далее ушла от древних церковных постановлений, чем церковь, например, яковитская или армянская; но в глазах англиканцев и она есть малая числом членов, но великая значением, отрасль христианства. Несторианская церковь сохраняет доселе непрерывно преемственную иерархию, чего нельзя сказать о самой англиканской церкви, хотя, дорожа этим высоким преимуществом, она и усиливается доказать, что происшедшая в Англии в XVI веке церковная реформа ни на минуту не прерывала иерархического преемства*.

Несторианская церковь хранит в своем ритуале такие важные особенности, которые весьма дороги для защитников истинной церковной древности и могут служить преимущественно для православного полемиста весьма сильными и ясными доказательствами, с одной стороны, против латинских, с другой — протестантских заблуждений. В числе других особенностей этого рода, о которых не находим уместным распространяться, не можем не указать на одну: несториане приобщаются не только под двумя видами (*sub utraque specie*), но и по рознь от тела и крови, как было в самые древние времена христианской истории.

Наконец должно указать и на то, что несториане не в первый раз видят Лондон и входят в сношение с англичанами. В 40-х годах нашего столетия тот же са-

* В 1860 году нам случилось видеть в руках г. Вильямса только что отпечатанную книгу, в которой перечислены по ряду все архиепископы англиканской церкви, от первого просветителя Англии до нынешнего ее примаса, именно с этим намерением (*прим. Т. И. Филиппова*).

мый Палмер, о котором выше была речь, тогда еще англиканский архидиакон, имел от своей церковной власти поручение вести с нами переговоры о соединении церквей чрез посредство несторианина Расама, бывшего в то время собственно для этой цели в Лондоне, в настоящее время английского консула (если нам не изменяет память) в Мосуле. Переговоры эти не имели никаких важных последствий; но в подобных делах было бы неблагоразумно и недостойно просвещенного духовного правительства желать непременно полного и немедленного успеха. Немалый успех следует видеть в подобных случаях и в том, если между разномыслящими церквями устанавливаются братолюбные и доверчивые сношения. Эта религиозная жадность, если можно так выразиться, составляющая одну из неприятных черт в поведении латинских миссионеров, должна быть чужда всякому, кто в сношениях с разномыслящими христианами желал бы прийти к успешному и в то же время достойному предмету концу. Между посевом и жатвою должно быть порядочное расстояние времени. *О семь слово есть истинное, яко ин есть сеяй, и ин есть жняй.*

Впрочем, обличая неприятную черту церкви римской, мы не имели нисколько в виду ее беспокойной, лихорадочной деятельности противопоставить, как достойно подражаемый образец, наше собственное равнодушие и бездействие. Нет! мы далеки от подобного ласкательства или ослепления, и признаем не только ложною, но и совершенно безнравственною мысль, которую, впрочем, имеют некоторые члены нашей церкви: будто бы обладающим истинною довольно стоять в ней, и нет обязанности ходить с ее благовествованием по всему лицу земли. Такие мертвые хранители случайно и без всякой с их стороны заслуги принадлежащей им истины забывают, что истина более чем что-либо другое обязывает и что не

исполнивший делом своих обязанностей перед нею напрасно стал бы уповать на то, что он исповедал ее устами. Покажи мне веру твою от дел твоих.

Дар истины и веры дается не для скупого хранения, а для независтного сообщения всем, кто по судьбам Промысла еще не озарен их светом. Наше общее спасение вверено нашим же общим усилиям, союзу нашей взаимной любви. Эти сонливые христиане не замечают того, что их понятия о долге благовестия, если б они по несчастию сделались у нас общими (чего, конечно, не будет), могли бы доставить латинам самое полное и легкое торжество над нами и покрыть нас стыдом: ибо кто мог бы сохранить уважение к церкви, которая бездействует не по силе встречаемых ею препятствий и по недостатку средств к деятельности, даже не по равнодушию, а по сознательному убеждению? Они забывают и то, что с их точки зрения представляются бесполезными и суетными апостольские труды ваших собственных немногочисленных, но достойных вечной и неувядаемой славы благовестников, с самоотвержением обходящих безлюдные и суровые пустыни Камчатки, Северной Америки, островов Восточного океана и Алтая, чтобы приобрести Христу сидящих во тьме людей.

Не вспоминают они и того, что наше собственное просвещение христианскою верою, равно как и всех прочих славян*), есть плод благовестительных подвигов греческой церкви. И если в IX и X веках восточная церковь почитала дело проповеди святым и апостольским, то почему в настоящее время было бы позволительно нам изменить о нем мнение? Неужели только потому, что противники нашей церкви в этой отрасли христианской

* Исследованиями ученых славянских положительно доказано, что все славянские народы приняли христианство от восточной церкви, и только впоследствии западная часть их попала под власть пап (*прим. Т. И. Филиппова*).

деятельности успевают несравненно более нас? Причина недостойная истинной церкви, к которой мы имеем счастье принадлежать и которая, вопреки странному заблуждению некоторых своих членов, никогда не отречется от последования божественному примеру Спасителя.

Те части православной церкви, которые стонут на Востоке под игом неверных и в то же время отражают бесстыдные натиски западной лжебратии, конечно, не могут и подумать в настоящее время о трудах благовестия. Сами нуждаясь во всем, могут ли они благотворить неимущим? Сами лишённые средств к образованию, могут ли они делиться с другими тем, чего не имеют? Им не до миссий: единственная забота их в настоящее время — собственная оборона. С них пока довольно и той славы, что в страшный четырехсотлетний период порабощения они соблюли неизменную верность своему исповеданию.

Но мы, свободные, сильные и могучие, можем ли пренебречь делом благовестия без опасения подвергнуться общему порицанию и, что гораздо важнее, удалиться от наших собственных начинаний и дел благословение Божие?

Конечно, и в нашей жизни могут быть такие времена, когда иные заботы и трудности важных общественных задач не дадут заняться этим делом с полным вниманием и уделить на него такое количество средств, какого оно, по важности своей, заслуживало бы. К таким временам, без сомнения, принадлежит и то, которое мы переживаем. Но и в такую трудную пору мы должны, в возможной для нас мере, пользоваться всеми случаями просвещать незнающих Христова учения и вразумлять тех, которые в чем-либо уклонились от правого разума его, и вместе со светом веры распространять между обделенными судьбою народами блага знаний и общежития.

Конечно, у нас в этом отношении немало забот, так сказать, домашних: в нашем отечестве много еще язычников, магометан, иудеев; у нас есть поповщина, беспоповщина, молоканы, скопцы, духоборцы, странники и т. п. Но как ни велики эти домашние заботы, они не могут, однако, освободить нас от всякого попечения о внешних сношениях по делам веры.

Не говорим об общении в вере и в вещественных благах с нашими единоверцами: эту обязанность мы стараемся по возможности исполнять с усердием. Не подлежат, конечно, сомнению, что и эти дела могли бы идти лучше: например, мы могли бы лучше знать единоверный нам Восток, его действительное положение и нужды, взаимные отношения входящих в состав православной церкви народов; могли бы изучать языки и историю наших единоверцев и т. д. Мы многое могли бы еще делать кроме того, что делаем; но теперь не о том речь.

Мы полагаем, что и неправославные восточные церкви, издревле отделившиеся от общения с нами, должны бы по всему возбуждать в нас гораздо более участия, чем они на самом деле возбуждают, возбуждать, по крайней мере, нашу любознательность. Многие ли у нас знают, что копты и абиссинцы исповедают христианскую веру? Кто слышал о яковитах? А между тем, все эти отделы одной древней монофизитской церкви, за исключением своего основного заблуждения³, которое большею их частью поддерживается по недоразумению, весьма близки к нашей церкви и сохраняют в своем обряде много весьма замечательных особенностей, подтверждающих древность и истину православного предания. Они гораздо ближе к нам, чем к какой-либо западной церкви, и они нисколько нас не чуждаются. Напротив, по свидетельству всех вхо-

дивших с ними в сношения, оказывают немалую готовность к сближению с нашею церковью.

Об абиссинцах и шойцах, составляющих особую отрасль этого племени, но содержащих ту же веру, сказать в этом отношении нечего, ибо никто из русских не проникал к ним и не заводил с ними никаких сношений: хотя этот народ с 8 млн населения, имеющий своего независимого царя и исповедующий веру, весьма близкую к православной, конечно, заслуживал бы нашего внимания.

Для предприимчивого русского путешественника мало, по нашему мнению, более заманчивых задач, как посещение этого мало известного и столь любопытного народа. С коптами, патриарху которого подчинена и абиссинская церковь, ознакомиться и сблизиться было бы гораздо удобнее: они и живут не в такой дали (их довольно и в Иерусалиме) и очень хорошо знают православную церковь и свою близость к ней. Недавно (в прошлом, кажется, году) скончавшийся коптский патриарх, по свидетельству знаменитого путешественника нашего архимандрита Порфирия (Успенского), питал к нашей церкви живое сочувствие.

Даже в армянах, которые пользуются несравненно большим благоденствием и независимостью, имеют свою богатую историю и связанные с нею предания, обыкновенно препятствующие признанию чужого превосходства, в последнее время замечается склонность к сближению с православною церковью, чему доказательством могут служить довольно многочисленные и, конечно, совершенно добровольные обращения армян, совершающиеся на Востоке.

Яковиты, живущие в Сирии, Месопотамии и частью в английской Индии (на малабарском берегу), в 1851—53 годах вели деятельные переговоры с нашим

константинопольским посольством и, по уверению посредника их*, были весьма недалеки от решительного соединения с нами. Война 1853—56 годов прервала эти сношения, которые были, впрочем, с их стороны возобновлены тотчас по заключении мира; но неизвестные нам причины помешали развитию этих сношений и возделенному для церкви исходу их**.

Не так близка к нашему вероисповеданию церковь несторианская; но и на нее мы имеем обязанность обратить свое внимание и пользоваться теми случаями и обстоятельствами, которые представляются нам для общения и сближения с нею.

По окончании последней Персидской войны (1829 г.), около ста несторианских семейств переселились из окрестностей Урмии в наши пределы и поместились в Закавказье, именно близ Эривани⁴ в трех селениях — Куйласаре, Дуйюне и Гкели. Лет через десять после переселения они приняли православную веру; ими построена была (конечно, не без препятствий со стороны местной полиции) церковь, при которой священником

* Сирийского уроженца Н. Г. Шамие. Господин Шамие происходит из древнего и всеми православными на Востоке уважаемого рода. Он защитник прав своего отовсюду притесняемого племени и верный слуга России, оказавший ей немалые услуги во время последней Турецкой войны. Ему же принадлежит начинание радостного для православной церкви события, недавно совершившегося: присоединения к ней мелькитов (греко-униатов). Г. Шамие — племянник известного логофета антиохийского престола г. Шамие, которого церковные заслуги недавно почтены царским даром (*прим. Т. И. Филиппова*).

** В 1852—53 гг., когда происходили эти переговоры, бывший настоятель нашей посольской церкви в Константинополе, ученый архимандрит Софония, перевел, при участии того же Шамие, яковитскую литургию на русский язык. Тому же архимандриту Софонии принадлежит превосходная записка о современном состоянии и быте яковитов. К сожалению, и тот и другой труд о. Софонии доселе остается в рукописи, следовательно, неизвестным для русского общества, которое следовало бы ознакомиться с учеными трудами духовных лиц, способными уничтожать сильно распространенное предубеждение против духовенства (*прим. Т. И. Филиппова*).

и до сих пор состоит обращенный из несториан священник же Иоанн (бывший мар-Йоганна) Ильин; часть православного богослужения была переведена тогда же на их айсорский (халдейский) язык*.

Как слышно, религиозное и умственное состояние этих недавних наших единоверцев не таково, чтобы мы могли почтить от всяких забот о них. До сих пор они не только не имеют полного круга православных богослужебных книг на своем языке, но и та небольшая часть их, которая переведена была в самую минуту их соединения с нами, требует тщательного исправления и в особенности пополнения. Из переписки с лицом, бывшим в их селениях и внимательно обозревшим положение православных айсоров, нам известно, что у них нет очень важных принадлежностей богослужения: они не знают ни тропарей, ни кондаков, ни прокимнов, ни причастных, ни стихир и т. д. Даже литургия переведена далеко не вся, так что у них нет и Херувимской песни.

Между тем айсоры не знают славянского языка и, следовательно, по необходимости остаются при том укороченном и изуродованном чине богослужения, который находят в своих неудовлетворительно переведенных служебнике и часослове. Не лежит ли на нас прямой и неотменной обязанности позаботиться о немедленном и исправном переводе всего православного богослужебного круга на язык айсоров, и, таким образом, доставить им средство узнать ближе учение и чин той церкви, в которую они вступили?

* Несториане имеют очень много названий. Турки зовут их назареями (на-сара), как христиан; персы, кажется, так же; армяне зовут их айсорами или Ассори (асурами, ассириянами); мы зовем их именем ереси, которого они не терпят, почитая себя совершенно православными. Сами себя зовут они халдеями, с гордостью указывая на древность своего рода (*прим. Т. И. Филиппова*).

С другой стороны, не достойно ли нашей просветительной ревности завести в этих айсорских селениях русские школы, в которых дети недавно приобретенных нами братьев изучали бы русский и славянский языки (кроме, конечно, других предметов первоначального обучения) и чрез то получили бы еще особый, лишний, способ уразумевать свою церковь и ее учение, а сверх того, мало-помалу знакомиться с русскою, и чрез нее с общечеловеческою образованностью.

400—500 человек православных айсоров (это все население их в пределах России) могли бы и в житейских своих нуждах быть успокоены нашим братолюбивым участием. И все эти предприятия так легко исполнимы и так мало стоили бы жертв и трудов (кроме перевода священных книг), что мы позволяем себе выразить надежду на их осуществление. Наш голос, как он ни слаб, может быть, достигнет чьего-либо восприимчивого слуха; нам кажется, что удовлетворение всем означенным духовным нуждам православных айсоров составляет одну из самых прямых и в то же время самых легких задач Общества распространения православия на Кавказе.

Между тем, наши православные айсоры находятся в непрестанных и живых сношениях, по торговым и другим делам, с бывшими своими единоверцами, которые в числе 1500—2000 человек ежегодно приходят и нередко в своих требах, особенно в смертных случаях, обращаются к православным священникам. Таким образом, чрез посредство наших айсоров возможно было бы действовать и на их соплеменников, живущих вне наших пределов и вне ограды православной церкви, и может быть, со временем, привести их к единомыслию в вере.

Не подражая в этом случае уже укоренной нами жадности латин, мы сделаем все, чего требует от нас долг

наш, если с усердием и умением займемся судьбою уже приобретенных нами айсоров и, сколько от нас будет зависеть, приобщать к изливаемым на них благам просвещения и тех айсоров, которые живут в Персии и Турции. Успех весьма возможен.

Так как при этом не будет и не должно быть никаких политических целей (да и каким политическим целям могло бы послужить это малочисленное, необразованное и забитое племя?), то, по крайней мере, персидское правительство не будет иметь никакого повода подозревать нас и мешать нашим чисто христианским целям. Оно терпит же там американских и латинских миссионеров; почему мы могли бы казаться ему опаснее и вреднее?

Нам известен один случай, из которого можно отчасти заключать, что персидское правительство более расположено уважать наше вероисповедание, чем, например, латинское.

Известно, что ни в Тегеран, при нашем посольстве, ни в Тавризе, при нашем генеральном консульстве, нет, к сожалению, православной церкви; посему, для исполнения православными членами нашего посольства и генерального консульства христианского долга, ежегодно вызывается туда из Тифлиса какое-либо духовное лицо. В начале 50-х годов иеромонах, отправленный с этою целью в Тегеран, был по желанию шаха ему представлен, долго беседовал с ним о главнейших положениях нашей веры и так понравился шаху, что получил от него в дар трость, осыпанную дорогими камнями.

В то время жена нашего посланника только что обратилась в православную веру из латинства. Переводчик нашего посольства, бывший посредником между шахом и о. Моисеем (имя иеромонаха), был католик. Шах, тут же узнав об этом, спросил у него: «Для чего же ты, служа православному царю, не хочешь присоединиться к

такой превосходной вере? Вот княгиня обратилась к ней и очень хорошо поступила».

В заключение своих заметок почитаем необходимым сказать несколько слов о том предубеждении, с которым большая часть нашего общества смотрит на восточных христиан, не только иноверных, но и православных. Их невежество, хитрость, жадность к деньгам, продажность и другие пороки, которые отрицать было бы странно, внушают нам какое-то брезгливое отношение к этим несчастным народам и не находят на нашем слепом суде никакого оправдания; тогда как это оправдание, по крайней мере условное и относительное, само напрашивается на наше внимание. Эти народы — рабы.

Может быть, некоторым из указанных нами пороков восточные племена причастны и по своей природе. Так, о Греках мы имеем простодушное и бесспорное свидетельство нашего честного Нестора, который говорит, что они были льстивы и в его время, и прежде, следовательно, еще во дни своей свободы.

Об армянах сохранялись такого же рода показания, более ранние; например, в знаменитом надгробном слове Василию Великому, произнесенном другом и совоспитанником его Григорием Богословом, рассказывается чрезвычайно занимательный случай, бывший с св. Василием в афинской школе и особенно сблизивший его со св. Григорием. Случай этот состоял в том, что армянское отделение афинской школы, завидуя необычайной ученой славе и гениальным дарам Василия, составило против него заговор, имевший целью унижить его и лишить того всеобщего почета, который он успел приобрести, имея шестнадцать лет от рождения. Св. Григорий, успевший уничтожить злой умысел армян, повествуя об этом в надгробной речи, сделал общий о них отзыв: что армяне скрытны, коварны и вероломны.

Но сколько бы ни было в восточных племенах природной склонности к порокам, столь поражающим европейца, мы, именно мы, сами причастные еще многим восточным порокам, должны быть рассудительнее в своих порицаниях и умерять наши неистовые вопли, которые могут обратиться на нашу собственную голову: вот, могут сказать про нас, обрадовались, что нашли хуже себя.

Главное же, мы не должны забывать, что восточные пороки порождаются, развиваются и поддерживаются рабством. Вспомним, давно ли и нашему народу дарована благодать свободы, и не осталось ли на нас самих следов только что уничтоженного рабства, без сравнения более мягкого и, следовательно, менее растлевающего, чем то, под игом которого стонут наши восточные братья, не предвидя ему конца. Почтим же божественный дар свободы глубоким и теплым сочувствием к менее нас счастливым членам человеческого рода, которым суждено еще (Бог знает сколько лет) терпеть унижительное и развращающее ярмо невольного порабощения, и в особенности щедрым и братолюбивым общением в духовных и вещественных благах с теми из них, которые нас ищут и которых мы сами можем найти, чтобы протянуть им благодетельную руку. Перестанем оскорблять и без того переполненные скорбью сердца их жесткими и преувеличенными укорами и устыдимся по крайней мере великого язычника, который, задолго до проповеди Освободителя всех человеков*, своим всепостигающим гением уразумел, что было бы несправедливо одним и тем же судом судить свободного и раба:

Половину доблести отнимает Зевс у человека,
Когда его постигнет день рабства⁵.

* Так назван Спаситель в 8-м правиле III Вселенского Собора (прим. Т. И. Филиппова).

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО СЕРБСКОМУ МИТРОПОЛИТУ МИХАИЛУ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ В ЗАСЕДАНИИ СЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА 26 ОКТЯБРЯ 1869 ГОДА

Доблестный предстоятель церкви сербской,
Блаженнейший кир¹ Михаил!

Движимый естественным чувством признательности к месту твоего воспитания, ты предпринял из своей благословенной родины не близкий путь в торжествующий Киев, чтобы украсить своим присутствием праздник его знаменитой академии, даровавшей России и вообще православному миру великое множество замечательных высотой просвещения в нравственную крепостью деятелей, к славному сонму которых она имеет утешение сопричислять и тебя.

Удивительно ли, что там, в этих родных тебе местах, свидетелях твоих ранних умственных подвигов, приготовивших тебя к настоящему высокому призванию, ты был встречен как присный и вожделенный гость, и окружен подобающим тебе почетом и вниманием?

Но оттуда ты подвигся далее на север, в глубь Русской земли, чтобы посетить другую древнюю ее столи-

цу, и что же? Там точно так же, хотя прежде ты и «не был знаем лицом церкви московской», ее досточтимая иерархия и весь священный клир, высшие власти города, ученые и другие общественные учреждения, именитые сословия и, наконец, весь православный народ, которому ты явился в день одного из его торжественнейших воспоминаний, встретили тебя тем же единодушием и любовью, соревнуя друг другу в изъявлении своей радости о твоём к ним пришествии.

Откуда же эта радость и эта любовь?

Источник их возвышен и чист. Москва, верный и испытанный страж завещанных русскому народу его прошлою жизнью преданий, в числе их с особенною ревностью хранит священный завет духовного союза Русской земли со всеми славянскими странами, и в особенности с теми, которые доньше пребыли с нами в общении веры, несмотря на все бедствия, в течение с лишком четырех веков насылаемые на них из широко растворенных и высоких врат адовых.

Вот почему, увидав в своих стенах предстоятеля единоверной нам церкви сербской и представителя одного из доблестнейших народов славянской семьи, Москва не могла удержать своего восторга и встретила тебя всенародным выражением своего искреннего сочувствия.

В обители преподобного Сергия, которого нетленным останкам ты пожелал воздать благоговейное поклонение, ты нашел ту же Москву, и там из уст светильника Русской Церкви² и науки имел случай выслушать слова признательности сербской земле за услуги, оказанные ею духовному просвещению русского народа в иные, лучшие дни ее исторической жизни.

И мы охотно присоединяемся к этому признательному заявлению и просим тебя засвидетельствовать перед

твоим народом истину сложившейся у нас пословицы: русский человек добро помнит.

Наконец, ты достиг до третьей, ныне предержавшей, столицы Русского царства, которая носит странное иноязычное имя, способное смутить слух славянина. Что делать? Мы сами, несмотря на ежеминутное обращение в наших устах этого имени, никак не можем освоиться, и думаю, что никогда не освоимся с ним как со знаком того духовного плена, в который русский народ был отведен по особым судьбам своей истории и в котором его верхние слои, а за ними отчасти и средние, отчуждались мало-помалу от начал собственной народной жизни, а вместе с тем и от естественного родства со славянством.

Но «ослеплению Израилю бысть отчасти», и, благодарение Богу, мы видим тебя среди нас в такие дни, когда узы этого плена уже ослабли и готовы ежеминутно порваться. Ты знаешь, что два года назад иноязычное имя этой столицы не помешало ей приветствовать собравшихся сюда славянских гостей с таким паразитическим единодушием, которого не превзошла в своих изъявлениях даже самая Москва. Ты, конечно, с участием следил за подробностями этого восторженного приема, о котором провозгласили вслух всей Европе газеты и журналы и еще ближе и точнее могли возвестить тебе возвратившиеся отсюда твои соотечественники. Но какая еще нужда в свидетелях, когда ты сам при первой встрече с членами этого собрания, пришедшими к тебе с приветом, благоволил сказать, что здесь, в северной столице Русского государства, ты чувствуешь себя как бы дома, на юге?

Итак, три столь отличные один от другого города, представители трех различных эпох русской истории, — великокняжеский Киев, царская Москва и

императорский Петербург (не вся ли тут нынешняя и историческая Русь?), слились в единой мысли и в едином чувстве, когда им пришлось принимать у себя высокого славянского гостя: не явный ли это знак, что вся Русская земля, из края в край, приступает к служению великой идее славянской взаимности, в которой залог близкого избавления наших братьев и нашей собственной крепости и дальнейшего преуспеяния на всех путях жизни?

Доблестный святитель! Позволь нам надеяться, что, по возвращении к своей пастве, ты возведешь ее, как очевидец и верный свидетель, о тех успехах, которые с каждым днем делает в русском обществе славянская идея, и тем утвердишь ее еще крепче в чувствах взаимной преданности и доверия к России. В словах моих нет тени сомнения в этих чувствах сербского народа, нет! они вызваны не сомнением, которое было бы для тебя оскорбительно, но весьма понятно заботливостью о прочности наших взаимных связей, внушаемую особым положением твоей родины и вообще юго-востока Европы.

Для нас не тайна, что по всему его пространству рассеяны усердные служители враждебных нам властей и сил, принимающие на себя притворный образ наших друзей и ищущие отвлечь вас от природного союза с нами, чтобы потом обратить вас в орудие своих хищнических целей. Без устали и без стыда они сеют среди вас разнообразные клеветы на Россию, пугая вас призраком нашего властолюбия. Предостереги же своих родичей от этих опасных внушений и не обленись повторять им, что у нас нет на уме ничего, кроме заботы о счастье и свободе (без которой нет и счастья!) наших единоверцев и единоплеменников, что приписываемая нам алчность к поглощению иных народностей совершенно противна

нашей природе; что мы не иначе, как с трудными усилиями, решаемся даже на необходимую оборону своих народных прав от посягательств некоторых из наших собственных инородцев, которые безнаказанно шлют нам вызов за вызовом.

Это ли черты народа жадного и склонного к захватам? Захваты, действительно, грозят вам, только не от нас, а от того же клеветующего на нас Запада, приближающегося к вам с притворными участием, образом евангельского татя, который не приходит разве, да украдет, и убьет, и погубит.

У нас же одна о вас мысль и единое попечение: чтобы, по исполнении времен, когда Господу, в руки Которого власть земли, угодно будет услышать воздыхания окованных и возвратить пленение людей своих, все единоверные и единокровные нам народы устроили судьбу свою на основании их действительных прав, не преступая в предел братень, и представили из себя союз мирных, никому не угрожающих сил, не ищущих возмездия за прошлое, но достаточно крепких для отпора новых посягательств на их покой и свободу.

Закрываю мое слово сердечным желанием, обращенным, собственно, к твоему, блаженнейший архипастырь, лицу. Да продлятся, на счастье Сербии и на пользу славянства, благодатные дни твоей жизни до крайних пределов человеческого долголетия и да будет дано очам твоим узреть спасение твоего народа и исполнение чаяний всего славянства! Да на местах, обесславленных насилием, воссияет еще во днех твоих правда и множество мира, дондеже отыметя луна.

ОТВЕТ СЕРБСКОГО МИТРОПОЛИТА НА РЕЧЬ Т. И. ФИЛИППОВА

Благодарю вас от души за вашу очень хорошую беседу. Крепка надежда сербского народа на великодушие Русских. Сербский народ искренно надеется на великого Государя русского и весь русский народ. Я уповаю и твердо верю, что мы дождемся наконец той счастливой минуты, когда можно будет всем нам, православным, свободно воспеть хвалебную песнь Богу в храмах, не менее благоустроенных и благолепных, чем те, которые украшают великую славянскую державу на славу и честь всего славянства.

КРАТКОЕ СКАЗАНИЕ О ЖИТИИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

Ведети подобает, благочестивый читателю, яко исперва един бе род Словене, иже седяху по Дунаеви, отню дуже насилия ради нашедших на ня язык разидошася по странам и прозвашася имены своими, яко же: Морави и Чеси со Словаки, Сербы же и Болгары, Хорвати и Хорутане, Ляси же и Поморяне, и иныи, иже в пределах селения нашего седоша, от них же ныне суцая Русь. Тяко разидеся словенский язык. Времени же многу минувшу, неции от Словен крещением святым просвещены быша, прочим еще во тьме кумирслужения коснящим: обаче и крестившимся, своих же им письмен не имущим, нужд бе греческими и римскими письмены писати словенскую речь без устроения. Сим же тако бывшим, князие моравстии послаша к греческому царю, глаголюще: земля наша крещена, и несть у нас учителя, иже бы протолковал нам святыя книги. Сего ради послите нам сицевыя учителя: от вас бо добр закон исходит во всяку землю. Бе же в Солуни град, иже есть близь святыя горы афонския, муж некий именем Лев, велика рода и царю знаем, и от сынов его два, Константин философ и Мефодий, разумива языку словенску (Солуняне бо вси чисто словенски беседо-

ваху), от них же Константин измлада ко царю Михаилу в полату ят бысть, да купно с ним царь, еще отрок сый, научению книжному до конца навькнет. Умолена от царя, идоста Константин и Мефодий в Мораву, и нача святой Константин составляти письма азбуковная словенски. По сих преложиста с греческаго языка в словенский Евангелие и Апостол. Ради же беша Словене, слышаще величия Божия своим им языком. Инии же глаголют, яко прежде даже не приити послом моравским, уже бяху составлена святым Константином письма словенская, потреби ради ближайших ко граду Солуню Словен, в Македонии живших. Сие же Бог свесть: едино точию вемы, яко вся племена словенская, начен от восточных стран македонских и болгарских даже до пределов селения их к западу, добраго подвига сея блаженныя двоицы причастишася и даже до днесь, аще и разлучена телесы, обаче духом совокуплена и союзом любве связуема, память о них добре творят по реченному: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие», и к сим умными очесы выну зрят, обновления жизни своея чающе. Видевше же епископы моравстии, иже от Немец бывшии, яко преложены быша Моравляном святыя книги, позавидеша сему и клевету злу в слух папы римскаго на святыя изнесоша: темже повеле има приити в Рим, да воздадят пред ним слово о них же научиста и сотвориста в земли моравстей. Она же абие идоста (не оу бо бе папа отлучен от единости веры) и удобь изъявиста ему злохитрых Немец леть и безумное тех мудрование: глаголаху бо окаяннии, яко не подобает хвалити Бога имеми языки, но точию еврейски, гречески и римски, по писанию Пилатову на кресте Господни. Папа же, еще правоверен сый, запрети Немцем, Пилату соревнующим, братиям же честь велику возда, к совершению благаго начала их призывая. Разболевся же святой Константин к смер-

ти, схиму святую восприя и Кирилл наречеса, и тако душу свою честную и трудолюбную Господеву предаде во граде Риме в лето Господне 869, месяца Февруариа в 14 день. Мефодий же возвратися в Мораву, архиепископство области сея прием, и преложи тамо вся книги исполнь. Обаче Немцы онии зломудреннии от первыя злобы своя не престаша, и князя моравска Святополка прехитривше, святаго Мефодия в Швабы заточиша, идеже пребысть святой в тесноте велицей два лета и пол. Последи же паки архиепископство свое восприят и по всей земли моравстей веру истинную утверди и многи во тьме идольстей сидящия к Христу приведе. Еще же и в Чехи достиг, князя чешского Боривоя и супругу его святую Людмилу крещением просвети, якоже и прежде, до пришествия в Мораву, князя болгарскаго Бориса крести. Таже в старости добрей, исполнь дней многих и дел благих, почи о Господе в лето Господне 885, Априлиа в 6 день, и в Велеграде моравстем погребен бысть. Тем же зовем: радуйтася, вертограда словенскаго делателя непостыдная, и Господа, Ему же со дерзновением предстоита, молита непрестанно: да вси паки едино будем о Христе Иисусе, Ему же слава во веки. Аминь.

РЕШЕНИЕ ГРЕКО- БОЛГАРСКОГО ВОПРОСА

В минувшем марте месяце было оглашено известие об издании султанского Фирмана, коим устанавливается новая независимая православная церковь, болгарская. Оповестившие об этом событии петербургские газеты признали в нем окончательное решение так долго длившегося греко-болгарского вопроса. Правда, в сообщаемых газетами известии упоминалось, что новоизданный султанский фирман не был еще вручен вселенскому патриарху, который был в пору его издания опасно болен и которому вследствие того не решались объявить султанское повеление, столь близко касающееся прав и преимуществ занимаемой им кафедры и общих прав Церкви; но в этом обстоятельстве петербургская периодическая печать, по-видимому, не усматривала никакой особенной важности и, как кажется, вовсе не подозревала, чтобы в нем могло таиться действительное препятствие к осуществлению торжественно выраженной воли султана.

Не имел в ту пору точных сведений ни о тех обстоятельствах, при которых состоялось повеление султана об учреждении болгарской независимой церкви, ни даже о содержании изданного Портою Фирмана, которое в петербургских газетах передано было в самых не-

ясных и явно искаженных чертах*, трудно было сказать что-либо верное о значении и ближайших последствиях совершившегося события; тем не менее, даже сквозь эту мглу газетных сведений, людям имеющим ясные понятия о природе церковных вопросов, не могло не прийти на мысль сомнение в твердости выраженных газетами надежд: так как, объявляя об окончательном решении греко-болгарского вопроса, они вовсе не приняли в соображение той власти, без соизволения которой подобное решение безусловно невозможно, и таким образом, считали, как говорит французское присловье, без хозяина. Чувствуя важность такого пропуска в соображениях наших газет, я счел необходимыми в статье моей: «Вселенский патриарх Григорий VI и греко-болгарская распря» (которая печаталась в ту пору в «Журнале Министерства Народного Просвещения» и на которую я позволяю себе указать здесь как на органическую часть настоящего моего рассуждения), сделать следующую оговорку.

«Выражение телеграммы, что болгарский вопрос решен — слишком решительно и поспешно. Мы еще не имеем известия о том, чтобы независимая болгарская церковь была признана вселенским патриархом, без чего она не может быть принята, и в общение прочих независимых церквей. Есть даже известие противоположного свойства, а именно: что патриарх отказывается от принятия султанского Фирмана, который решил дело решению и суду Порты не подлежащее. Будем ждать дальнейших сведений.

Сведения эти не заставили себя долго ожидать. Первым делом патриарха, восставшего паче надеж-

* Только несколько позднее мы прочли сперва в «Московских Ведомостях» в сокращенном виде, а потом в «Православном Обозрении» (март) уже в полном объеме, истинный текст этого акта, который прилагается и к настоящей статье (прим. Т. И. Филиппова)

ды с одра болезни, на который повергли его глубокие испытанные им в последнее время потрясения, было представление Порте протеста против изданного ею Фирмана, как нарушающего коренные основания церковного права и вторгающегося в такую область, которая всегда считалась и, по самой сущности дела, должна навсегда остаться недоступною не только для власти нехристианской, но даже для православных государей, коих Церковь помазует на царство и именует своими защитниками.

По важности этого акта я позволю себе привести его в полном объеме:

«Чрез Христки-Эффенди Зографа и Александра Кара-Феодори-эффенди, писал патриарх, ваше высочество передали патриархии, без сопровождения тескере, высокий Фирман на пергаменте, коим императорское правительство думало путем официального решения, положить конец болгарскому вопросу, тянувшемуся в течение десяти лет и возбудившему столько шума».

«Заботливая о строгом исполнении своих обязанностей к могущественному правительству, которое дано нам Господом, патриархия никогда не помышляла отказывать в уважении и покорности повелениям нашего весьма чтимого государя относительно всего, что входит в область государственную. Церковь восточная никогда не изменяла сему началу в своих отношениях к мирской власти. Но равным образом надобно признаться, что и славные султаны, равно как и их могущественный преемник (да будет держава его непобедима), никогда не желали входить в дела, относящиеся исключительно к сфере церковной. Правительство султанов устанавливало всегда существенное различие между государством и церковью. Права и преимущества сей последней были торжественно признаваемы и утверждаемы высочайши-

ми гатти (указами), и никогда никому не дозволялось посягать на преимущество той церкви, которая в течение пяти столетий состояла под непосредственным покровом престола султанов».

«Если б этот Фирман был только подтверждением акта прямого соглашения между вселенскою патриархией и представителями болгарского вопроса, то подобное императорское утверждение было бы, как и всегда, уважено и принято. Но в настоящем случае это не так. Вследствие сего патриархия не может подчиниться политическому ультиматуму в вопросе, принадлежащем к порядку чисто религиозному, более, что предписания этого документа явно противны как священным правилам, так и правам и преимуществам церкви».

«Итак, имея в виду, что представители болгарского вопроса упорно отвергают всякое предположение о примирении, исходящее от патриархии; что правительство по вопросу чисто церковному не может постановить решения безвозвратного; что вследствие столь неправильного положения дел нарушены священные каноны (о чем вашему высочеству было неоднократно излагаемо), патриархия по всем сим основаниям возвращается вновь к своей просьбе (которая была уже предъявлена вашему высочеству), чтобы вы согласились на созвание вселенского собора, который один будет вправе произнести решение действительное, непогрешительное и одинаково обязательное для обеих сторон».

«К высокому правительству обращается также настоятельная просьба о том, чтоб оно приняло необходимые меры в прекращении постоянно возрастающих беспорядков в провинциях, коим дана была новая пища чрез рассылку окружного послания так называемых представителей от 3 марта, обнародованного со времени

издания Фирмана. Против этих беспорядков патриархия может только формальным образом протестовать».

Писано 24 марта 1870 г

(Подпись): Григорий и члены Синода.

Этот протест, как известно, вызвал со стороны великого визиря ответ, который начинается указанием на то, что императорское правительство во все времена руководилось правилом не вступаться в дела чисто духовные и уверением, что как оно никогда не отступало от этого правила донныне, точно так же будет продолжать соблюдать это правило и в будущем. «Никакое сомнение, — говорит Аали-паша — не должно возникать относительно этого предмета, и я не думаю, чтобы была нужда далее об этом распространяться».

Переходя засим к обстоятельствам, коими сопровождалось настоящее распоряжение Порты, великий визирь старается оправдать его тем, что все попытки, которые будто бы делало правительство к примирению враждующих сторон в течение десяти лет их раздора, оставались без успеха; что такое продолжение распри, при которой власть видела себя вынужденною прибегать к силе, чтобы заставлять болгар принимать греческих митрополитов и священников, было в ущерб миру и спокойствию страны и налагало на правительство обязанность принимать относительно одной части населения меры принуждения и строгости, несогласные с началом того высокого покровительства, коим августейший повелитель удостоивает всех своих подданных вообще.

Затем Аали-паша дает делу такой оборот, будто бы содержание Фирмана и даже самое изложение его соответствует собственным видам и мнениям патриарха и расходится с ними только в предметах второстепенной важности.

Устраняя таким образом упрек патриарха, великий визирь говорит:

«Вашему святейшеству не безызвестно, что первый долг всякого правительства состоит в том, чтоб охранять и поддерживать покой и безопасность обитающих на его земле народов и стараться удалить всякий повод к волнению; что, при всем воздержании от вмешательства в отправления различных исповеданий, коим следуют наши соотечественники, и в их чисто духовные дела, императорское правительство не может, без забвения лежащих на нем обязанностей, остаться равнодушным зрителем событий, явно способных возмутить общественное спокойствие».

Но и на это правительственное заявление патриарх отвечал, как мы знаем из газет, повторением своих прежних представлений о невозможности решить вопрос о независимой болгарской церкви тем способом, который был избран Портою, и о необходимости рассмотрения сего дела на общем соборе всех православных (независимых и полунезависимых) церквей.

Я не могу сообщить об этом патриаршем ответе более подробных сведений, так как у меня не было в руках его полного текста; но думаю, что в его подробном изложении нет и особенной надобности, ибо он представляет, вероятно, только некоторое видоизменение вышеприведенного протеста, главная мысль коего та, что для учреждения новой автокефальной церкви недостаточно согласия мирской власти (не только мусульманской, но и православно-христианской), а необходимо соизволение всей Церкви.

Болгары со своей стороны усиливаются всеми мерами оправдать правильность и законность изданного Портою фирмана и опровергнуть доводы патриарха, направленные против права султанов учреждать своею вла-

стью, в пределах их державы, автокефальный церкви, Не знаю, вполне ли искренно, но представители болгарские всегда выражались за это право Порты. Читавшие мою статью — Вселенский патриарх Григорий VI и т. д. — быть может, постараются припомнить, что относительно сего предмета говорили болгары в своей просьбе о восстановлении охридского архиепископства.

Такое решение вопроса (волею султана), писали они, относится к кругу деятельности правительства как власти, имеющей силу утверждать или останавливать применение прав, существующих по законам церковным, и возвращать эти права тем, кои незаконно были лишены их. На том же *«основании, на котором некогда правительство согласилось утвердить права, присвоенные патриархом (Самуилом), оно может ныне законным актом снова перенести эти права на охридскую архиепископию, предоставив их тем, кто в течение 1232 лет пользовался ими и были лишены их незаконно»**.

Точно так же и в настоящее время болгары утверждают, что если в прежние времена султанский Фирман имел право уничтожить независимые патриаршества в Охриде, Ипеки и Тернове и присоединить их ко Вселенскому престолу, то и ныне такой же фирман может восстановить болгарский экзархат¹.

Ввиду такой крайней противоположности в воззрениях на это дело, я нахожу, что для русского общества, имеющего тысячи побуждений следить за совершающимися на Балканском полуострове событиями не только с участием, но даже с биением сердца, в высшей степени важно усвоить себе правильный взгляд на предмет разногласия. Это вполне необходимо для надлежащего направления и справедливого соразмерения его сочувствий, которые в продолжении греко-болгарской

* Журнал Мин. Нар. Пр., март (прим. Т. И. Филиппова).

распри не всегда и не во всем, по моему мнению, были на стороне не только формальной законности, но даже и внутренней правды. Для указанной мною цели, то есть, для установления верной точки зрения на предмет, наилучшим средством может послужить, как я думаю, обращение к свидетельству истории, которая сохранила вполне верные и достаточно полные сведения о том, каким способом и на каких основаниях учреждались в православной Церкви независимые патриаршие престолы и равночестные им синоды, в законности коих никто не изъявлял и не изъявляет сомнения. Из сопоставления этих исторических примеров с настоящим случаем читатель сам легко выведет свое заключение о том, сколько правды в уверениях вселенского патриарха о необходимости церковного и притом соборного решения настоящего вопроса и в соображениях болгарской стороны, готовой принять дар церковной независимости из рук мусульманского правительства.

Древнейшие патриаршие престолы в православной Церкви были: римский, александрийский и антиохийский. Первое нам известное утверждение достоинства сих престолов изображено в шестом правиле первого Вселенского Собора: «Да хранятся древние обычаи, принятые в Египте и в Ливии, и в Пентаполе, дабы Александрийский епископ имел власть над всеми сими: понеже и Римскому епископу сие обычно. Подобно и в Антиохии и в иных областях да сохраняются преимущества церквей»².

Седьмым правилом того же собора патриаршее достоинство присвоится епископу святого града Иерусалима, ради спасительных страстей Христовых³.

Третьим правилом второго Вселенского Собора общено то же достоинство епископу Константинопольскому:

«Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, потому что град оный есть новый Рим»⁴.

Вальсамон, толкуя это правило, говорит: «Сперва Византия не имела чести архиепископства, но епископ ее рукополагаем был митрополитом Ираклийским. Когда же Константин Великий перенес туда престол Римского царства, она переименована была Константинополем, Новым Римом и царицею всех городов. Потому и святые отцы второго Вселенского Собора определили епископу ее иметь преимущества чести после епископа ветхого Рима: ибо она стала Новым Римом».

Двадцать восьмое правило четвертого вселенского собора говорит так:

«Престолу ветхого Рима отцы прилично дали преимущества: поелику то был царствующий град. Следуя тому же побуждению, и сто пятьдесят боголюбезнейших епископов предоставили равные преимущества святейшему престолу Нового Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому и да будет второй по нем»⁵.

Когда благочестивый царь Феодор Иоаннович возымел намерение учредить в Москве патриаршество, то созванный им собор, одоббив его мысль, присовокупил:

«Благочестивый царь! Если угодно тебе, пошли грамоты о таком важном деле к четырем вселенским патриархам, чтобы они, по совету со своими митрополитами и епископами, утвердили грамотами таковое начинание. И ты, и мы почитаем их столпами благочестия, и хотя они находятся под властью неверных, но благодать и святыня владычеством нечестивых не оскверняются. Сношение с восточными патриархами необходимо и

для того, да не подумают другие, особенно латиняне, пишущие на святую веру нашу, что в царствующем граде Москве патриарший престол устроился только одною царскою властью»⁶.

По предварительно изъявленному согласию всех предстоятелей святой восточной Церкви, поставив Московскому государству патриарха, вселенский патриарх Иеремия возвратился на Восток и созвал в Константинополь на собор всех прочих патриархов православных для окончательного утверждения патриаршества в России.

На этом соборе Александрийский патриарх, знаменитый ученостью Мелетий Пига, обратившись к указаниям церковных правил, главным основанием: для учреждения в России патриаршества признал царственное величие города Москвы. Выписав вышеприведенное 28-е правило халкидонского собора, он говорит:

«Почитаю справедливым, чтобы православнейший город Москва, по Божию человеколюбию и благодати украшенный царством, и в делах церковных был возвеличен по 28-му правилу четвертого Вселенского Собора»⁷.

Далее:

«И святой великий собор 318 богоносных отец (первый Вселенский) распределил порядок и епархии между патриаршими престолами, которые он изобразил не на ином каком основании, как по вниманию к достоинствам царственных городов (столиц), поставив Александрию над Египтом, Ливиею и пр., Антиохию над Ассириею и всем Востоком, и как над Европою Рим, так над Азиєю Константинополь... Посему сам почитаю справедливым и мнение сего великого и святого собора признаю истинным, чтобы престол благодетельнейшего и православного града Москвы был и назывался патриархию: ибо город сей удостоен от Бога царственной чести»⁸.

Когда стеснявшийся значением патриарха Петр I задумал изменить патриаршее управление в России на синодальное, он не почел для исполнения сего намерения достаточным своего собственного решения, но признал необходимым снестись со вселенскими патриархами, которые и утвердили мысль его своим согласием, прислав о том и свои всем известные грамоты⁹.

Учреждение синода независимой Еллады совершилось так. С 1821 года естественно прекратились между восставшими против Порты греками и Константинополем всякие сношения, и церковь елладская управлялась по нужде сама собою. По признании европейскими державами независимости греческого королевства, дела церковные довольно долго оставались неустроенными; наконец правительство новой державы обратило внимание и на них и предположило устроить в королевстве независимый синод, который и был учрежден в 1843 году, по образцу Святейшего Синода единой русской державы, с некоторым, впрочем, отличием от сего последнего. Он учрежден был собором всего елладского духовенства, всем исполнением христоименитых православных еллинов и законом короля¹⁰. Но, разумея недостаточность такого учреждения без признания его всеми единоверными церковными властями, правительство Еллады отправило в 1850 году к патриарху константинопольскому грамоту с просьбой об утверждении независимости ее синода и с извинениями в умедлении сношений по сему делу. Эту медлительность старались оправдать политическими затруднениями и внутренними неустройствами новой державы.

«Теперь же, говорит грамота, когда трудные обстоятельства Еллады Божиим споспешеством миновали, мы почли священнейшею своею обязанностью, к соизволению его величества, по мысли же и требованию

священного клира, возвестить о сем (об учреждении синода) Великой константинопольской церкви, почитая ваше всесвятешество, яко первого пастыреначальника православной, кафолической, восточной Церкви, дабы, исследовав сие церковное законоположение и признав учрежденный оным священный синод еллинского королевства, вы приняли его, как во Христе брата, благословив дело благоверного еллинского народа, и сообщили о том прочим блаженнейшим патриархам: Антиохийскому, Александрийскому и Иерусалимскому, чтобы вместе с вашим всесвятешеством и сии блаженнейшие патриархи признали наконец и приняли, как брата во Христе, единочестный и единоверный священный наш синод, да тако всецело сохранится единение святой, кафолической и апостольской Церкви»¹¹.

Основанием для учреждения независимого церковного правительства представляли и в этом случае независимость королевства. Грамота выражается об этом так:

«Поелику всем премудро и человеколюбиво правящий Промысл Всевышнего, по безмерной милости своей, благоволил воздвигнуть Елладу в независимую и самоуправляющуюся державу, подобает всячески и православной церкви ее воспользоваться такою же независимостью, какою пользуются церкви других свободных и самоуправляющихся государств»¹².

Созванный по сему делу в Константинополе собор издал постановление, которым признаны существование и полная законность священного синода Еллады.

Представленные нами свидетельства истории способны, по моему убеждению, устранить всякое сомнение в истине того защищаемого патриархом и отвергаемого болгарскими представителями начала, что для учреждения патриаршества недостаточно согласия мирской власти, хотя бы то была власть и православного, не только

что мусульманского, государя, а необходимо свободное согласие всей Церкви.

Из тех же приведенных выше примеров видно, что автокефальные престолы учреждались главным образом ради царственной чести городов. Исключением из этого правила представляются лишь престолы иерусалимский, синайский и кипрский, из коих первые два пользовались независимостью ради священного значения тех мест, где они были учреждены. Последний пользуется, впрочем, не совсем полною независимостью, ибо Синайский архиепископ, по древнему обычаю, рукополагается патриархом Иерусалимским. Причины, по которым кипрская церковь удостоена самостоятельности, мне неизвестны; но мне известно, что она была независимою от времен весьма древних. Еще на третьем Вселенском Соборе возникал вопрос о нарушении ее прав соседним антиохийским престолом, и восьмым правилом этого собора была подтверждена и на будущее время ограждена независимость этой церкви.

Были, впрочем, в истории православной Церкви примеры автокефальных церквей, которые учреждались и мирскою властью; но Церковь, терпевшая такие распоряжения до времени ради мира, никогда, однако, не признавала их законности.

Так, права и преимущества, которые даны были императором Юстинианом архиепископу его родины Ведерианы (по иным Таврисия), переименованной тем же императором в Первую Юстиниану, сперва в 535 г. (новел. XI), а потом подтверждены и приумножены в 545 г. (новел. СXXXI), вскоре после смерти Юстиниана были уничтожены; после тридцатилетнего с небольшим управления своею церковью на правах автокефального архиепископа, предстоятель церкви Первой Юстинианы является снова подчиненным римскому папе иерархом: в

письмах папы Григория Великого (Двоеслова) мы видим его в звании наместника папы, коим он утверждается на престоле. От папы же он получает *pallium* и, наконец, подвергается папскому суду и даже запрещению.

Точно так же непрочно и недолговечно было учрежденное в X веке мирскою властью патриаршество великопреславское (доростольское). По смерти знаменитого болгарского царя Симеона, приводившего в трепет Византию, правительство греческое поспешило мирными предложениями и уступками привязать к себе Болгарию. Сыну Симеона Петру предложили невесту из царского рода, признали его царем и с тем вместе церковь болгарскую объявили автокефальною. Архиепископ Дамиан был даже наименован патриархом; но так как это возведение в сан патриарха совершилось не по определению Церкви, а решением сената и повелением императора, то он и не удержался в этом звании. Дошедшая до нас от XII века греческая запись о первых архиепископах болгарских сообщает о нем такие сведения: «При нем (Дамиане) Болгария признана самоглавенствующею. Царским синклитом, по повелению царя Романа Лакапина, Дамиан объявлен патриархом, но потом низложен Иоанном Цимисхием»¹³.

Долее других автокефальных кафедр, установленных мирскою властью, держалась архиепископия охридская, начало которой относится, по мнению, более других вероятно, к 1018 году, то есть ко времени возвращения Болгарии, при Василии Порфирородном, под власть Византийской империи, и которая упразднена была в 1767 году по прошению последнего архиепископа Охридского Арсения и подчиненного ему клира на основании состоявшегося о том определения вселенского патриарха Самуила и его синода, утвержденного впоследствии и султанским Фирманом.

В установлении Терновского патриаршества, учрежденного в первой половине XIII века и уничтоженная, вместе с падением Болгарского царства, в конце XIV века, принимала участие и церковь; это доказывается и греческими, и болгарскими свидетельствами. Так, Георгий Акрополит утверждает, что по поводу союза императора никейского Иоанна Дуки Ватаци с болгарским царем Иоанном II Асенем архиерей Терновский почтен правом автономии; царским и соборным определением присуждено ему именоваться патриархом, в удовольствие князю Асеню, ради его родства и дружбы».

Более подробное изложение обстоятельств, коими сопровождалось учреждение терновского патриаршества, можно найти в статье г. С. Палаузова «Обновление патриаршества болгарского царства»¹⁴, составленной на основании древнего болгарского сказания, открытого Н. Х. Палаузовым.

Не буду входить в разбор этих свидетельств, который сделан мною в другом месте¹⁵ и который в настоящем случае был бы совершенно неуместен; для цели моего рассуждения достаточно будет указать лишь на то, что упразднение независимого терновского престола было прямым последствием покорения Болгарского царства турками и упразднения царственной чести города Тернова, ради которой он был украшен и патриаршею кафедрой. Никакого султанского Фирмана, в издании которого болгарские представители обвиняют Константинопольскую патриархию, по этому поводу издано не было и даже быть не могло: ибо падение Болгарского царства и одновременное с тем упразднение Терновского патриаршества последовало (в 1394 г.) за 59 лет до покорения Турками Константинополя.

Без всяких со стороны патриархии усилий, само собою, упразднилось патриаршество Терновское, ибо уни-

чтожилась самая причина (*raison d'être*) ее бытия, царственная честь города Тернова. Совершенно подобный тому пример видим мы в уничтожении независимости грузинской церкви, которое последовало, по присоединении Грузии к Русской державе по тем же самым основаниям.

Возвращаясь к главному предмету моего рассуждения, я еще раз повторяю, что все приведенные мною исторические свидетельства обращаются в подкрепление требования патриарха Григория подвергнуть греко-болгарское дело рассмотрению и суду всей Церкви.

Это требование предъявляется им уже не в первый раз. Известно, что святейший Григорий, тотчас по вступлении своем на патриарший престол, составил проект примирения с болгарями на основании весьма широких уступок. Важность и искренность этих уступок была признана даже благомыслящими из Болгар, голос которых оказался, к сожалению, слишком слаб, чтобы достигнуть до слуха народа и воздержать его от губительных излишеств международной вражды.

По отвержении проекта патриарха Григория, Порта изготовила, в замену его, другие два проекта, почти тождественного содержания, которые были составлены болгарскими представителями и затем, по рассмотрении и утверждении их в совете министров, были предложены патриарху с обязательством принять один из них, по его выбору, к исполнению. Так как оба означенные проекта были преисполнены разного рода несообразностей и противоречили коренным основаниям канонического права, то патриарх Григорий, созвав свой синод и рассмотрев совокупно с ним присланные ему проекты, решительно отверг их и в том же заседании открыл синоду свою мысль перенести греко-болгарский вопрос на суд всех единоверных церквей и с тою целью обратиться к ним с приглашением на общий собор православной Церкви.

Представители всех прочих церквей изъявили свое согласие на созвание собора и свою готовность прибыть на собор или лично, или чрез своих уполномоченных. Единственный голос против такого способа решения греко-болгарского вопроса был подан Святейшим Синодом русской церкви; но этот голос, как по значенью России в составе православного мира, так и по особенным отношениям нашим к народу болгарскому, имел такое решительное значение, что с отказом Святейшего Синода от участия в соборе, всякая мысль о его созвании должна была сразу быть покинута. Приступаю к рассмотрению ответа Святейшего Синода на приглашение вселенского патриарха с подобающим важности этого исторического документа вниманием.

В кратком вступлении к своему ответу Святейший Синод объяснил, что доходившие до него известия о долголетней церковной распре между греками и болгарам постоянно причиняли ему и всей церкви русской глубокую скорбь и возбуждали в нем самое живое сочувствие к страждущей церкви константинопольской и ее верховному архипастырю; что воздержание Святейшего Синода от прямого в этом деле участия происходило единственно от глубокого уважения к правам церкви константинопольской, пределами которой ограничено было церковное возмущение, и что, наконец, теперь Святейший Синод чувствует себя свободным выразить относительно греко-болгарского вопроса свое мнение с братскою откровенностью, быв приглашен к тому самим патриархом, обратившимся к нему с предложением подвергнуть этот вопрос соборному обсуждению всей Церкви. Затем, взирая на дело, как он выражается, с точки зрения истины и справедливости, Святейший Синод приходит к следующим заключениям.

Что вселенский патриарх есть законный архипастырь всех православных болгар, находящихся в пределах его области, и имеет по отношению к ним неоспоримые иерархические права, так что если болгары хотят, чтобы вселенский патриарх сделал им те или другие уступки и отказался от каких-либо или даже от всех своих над ними прав, то они могут только об этой его просить, но ни в каком случае не требовать насильственно.

Что сам вселенский патриарх вправе делать болгарам те уступки, какие признает справедливыми и нужными, вправе даже по своей доброй воле, признать и полную независимость болгарской церкви, до сих пор от него зависящей, как признал некогда независимость церкви русской и афинской. Но без его согласия болгары не могут отказаться от церковного подчинения ему как своему верховному архипастырю и самовольно отторгнуться от него, так как подобное действие, по церковным правилам, было бы признано расколом.

Что, с другой стороны, если не все, то некоторые желания болгар, заявляемые ими пред вселенским престолом, суть желания самые естественные, основательные и законные, и что, следовательно, вселенский патриарх призывается своим пастырским долгом удовлетворить, по возможности, этим желаниям во имя христианской правды и любви, чем более удовлетворит, тем лучше.

Что не только благо православной Церкви вообще, но и благо самих болгар требует, чтоб они не домогались совершенного отделения от вселенского патриарха и полной церковной самостоятельности, которой искать им было бы естественно и безопасно, если бы они, подобно русским или жителям Еллады, составляли отдельное и самостоятельное политическое тело.

Что учреждение болгарской самостоятельной церкви в пределах того же государства, в котором существу-

ет церковь греческая (константинопольская?), повело бы к увековечению вражды между племенами; но если болгары удовольствуются только значительными со стороны патриархии уступками, которые дали бы их церкви вид некоторой самостоятельности, оставаясь в иерархическом единении с церковью константинопольскою и в подчинении вселенскому патриарху, то взаимная вражда между греками и болгарами мало-помалу должна бы утихнуть, столкновения между ними сделались бы реже и удобно могли бы прекращаться, и обе церкви, греческая и болгарская, сказанные единством веры и высшей иерархической власти, могли бы находить поддержку одна в другой и противодействовать врагам православия.

Что путь к такому соглашению болгар со вселенским патриархом уже предуказан, с одной стороны, в проекте, начертанном самим патриархом, а с другой, в проекте, представленном его святейшеству от лица умеренных болгар, прежде бывшим Филиппопольским митрополитом Паисием. Так как оба означенные проекта совершенно сходны между собою в главных чертах и отличаются один от другого только в частности, то эти общие черты обоих проектов и могли бы, по мнению Святейшего Синода, послужить началом для дальнейшего и окончательного соглашения между греками и болгарами, при новых взаимных уступках.

Что же касается Вселенского Собора, на суд которого Константинопольский патриарх решается передать церковный греко-болгарский вопрос, то, не говоря о многочисленных затруднениях, которые могут встретиться при созвании и составлении такого собора из епископов разных стран и народов, Святейший Синод выразил свои опасения, как бы этот Вселенский Собор вместо умирения Церкви не послужил поводом к еще большим в ней

волнениям и раздорам и вместо ожидаемой пользы не принес в своих последствиях вреда. Если вопрос решится в пользу патриарха, а не болгар, то они могут не покориться решению собора, и тогда последуют три самых печальных события: собор объявит болгар раскольниками; вселенский патриарх потерпит чрез отпадение болгар крайне чувствительную потерю, а с ним вместе понесет величайшую потерю и вся православная Церковь. Но если бы болгары и согласились покориться решению собора, их не удовлетворяющему, то покорность эта была бы вынужденною и ненадежною; чувство принуждения могло бы более усилить ненависть их к Грекам, и при первом случае обнаружались бы между обоими народами прежние и даже еще большие распри и волнения.

«Нет! — заключает Святейший Синод, — гораздо лучше, если его святейшество, не дожидаясь Вселенского Собора, постарается сам (ибо это его частное епархиальное дело) войти в соглашение с болгарами, которое как он, так и они могли бы принять по доброй воле. Вот такое соглашение было бы и прочно, и вожделенно для всей Христовой церкви.

Таким образом, как мы уже имели случай заметить, ответ Святейшего Синода русской церкви оказался в отношении к главному предмету, подлежавшему его обсуждению, то есть к вопросу о созвании Вселенского Собора Православной Церкви, совершенно противоположным общему мнению об этом деле всех прочих единоверных с ним независимых престолов.

Болгарские представители, как и следовало ожидать, были обрадованы отказом Святейшего Синода принять приглашение вселенского патриарха на задуманный им собор: так как по содержанию и тону отзывов всех других православных церквей, а может быть, и по свидетельству их собственной совести, они должны были ожидать от

собора строгого осуждения многих своих намерений и действий, и во всяком случае, не могли рассчитывать на достижение всех своих целей. Но с другой стороны, они остались недовольны и были даже как будто изумлены тем, что Святейший Синод считает, со своей стороны, как для общего блага всей Церкви, так и для самих болгар, совершенно необходимым пребывание их до времени (то есть, до политического их освобождения и образования независимой болгарской державы) в иерархической зависимости от константинопольского престола, и что он весьма ясно отрицает присвояемое ими право устроиться в этом отношении, мимо воли патриарха, по собственному их усмотрению, путем ли восстановления одной из бывших автокефальных болгарских кафедр или на основании одного из составленных ими и советом турецких министров одобренных проектов.

Что такое суждение Святейшего Синода показалось для болгарских представителей неприятным, в этом, конечно, нет ничего удивительного: так как им сразу и окончательно испровергались их усиленные и многократные попытки доказать, что решение вопроса о новом церковном устройстве болгарского народа вполне зависит от усмотрения и воли Порты, но трудно объяснить себе их изумление по поводу выраженного Святейшим Синодом мнения, как будто в подобном воззрении его на дело могло быть для них что-нибудь неожиданное.

С тех пор, как русская церковь стала получать известия о греко-болгарских счетах и подавать о них свои мнения, которые хотя и имели характер частных сообщений и передавались большею частью к руководству для нашего константинопольского посольства, но тем не менее не могли и не должны были оставаться для руководителей болгарских тайною, — с тех пор, говорим, от представителей русской церкви не исходило ни одного

слова, коим ободрялось бы совершенное иерархическое отделение болгар от вселенского престола, и не только самопроизвольное, которое по суду священных правил Церкви было бы расколом, но даже и такое, на которое вселенский патриарх дал бы свое вынужденное согласие.

Относительно мнения болгарских представителей будто бы для учреждения независимой болгарской иерархии достаточно соизволения Порты, митрополит Филарет еще в 1861 году писал:

«Епископ Илларион опирается на просьбу к Порте (о даровании болгарам независимой иерархии): странный образ мыслей! Это значит сказать Порте: «Мы решились выйти из законного повиновения патриарху, сделайте наше незаконное положение законным. Христианский вселенский патриарх не дает нам болгарского патриарха: пусть нам даст его магометанская власть».

Затем в 1863 году он же писал по подобному же поводу:

«Намерение болгар просить у Порты позволения самим учредить свою народную независимую иерархию показывает, что болгары хотя уже довольно имели времени обдумать свое дело, но все еще имеют упрямое желание, а понятия не приобрели. Учредить новую независимую иерархию можно только с благословения законно существующей иерархии».

Вообще во всех его сообщениях по греко-болгарскому делу проходит постоянно мысль, что в учреждении самостоятельной болгарской иерархии вообще нет существенной надобности и что соглашение между вселенским престолом и восставшими против его духовной власти болгарами должно последовать на основании взаимных уступок, но при том неременном условии, чтобы болгары остались в иерархической зависимости от константинопольского патриарха.

«Действительное врачество против зла», писал он, «надлежало бы найти в том, чтобы православные болгары умирили свои требования от константинопольской патриархии, и чтобы сия (писано в патриаршество кира Иоакима) умерила свою непреклонность против их требований: чтоб они получили свою иерархию довольно свободную, но не совсем независимую и не отторженную от вселенского патриарха».

При этом возражении болгары обращались и на самый способ доказательств, который употреблен был в настоящем случае Святейшим Синодом. Что дальнейшее пребывание болгарского народа под духовною властью константинопольского патриарха может, под известным углом зрения, представляться нужным для общего блага православного Востока, того болгарские представители не отрицали, хотя сами, как известно, и не разделяли такого воззрения на дело; но им, конечно, труднее было признать верность того положения, будто учреждение самостоятельной болгарской церкви в пределах той же самой страны, где существует церковь константинопольская, при, каких бы условиях она ни была бы учреждена, должно было бы непременно повести к увековечиванию вражды между обоими племенами, и что, напротив того, при иерархическом подчинении болгар константинопольскому патриарху, открывалось бы более надежд на прекращение племенной вражды и на устранение прискорбных между греками и болгарами столкновений.

Со своей стороны, они полагали, совершенно наоборот, что полное административное отделение церкви болгарской от константинопольской, *caeteris paribus*¹⁶, могло бы скорее удалить поводы и причины ко взаимным недоумениям и неудовольствиям, нежели совместное существование их под одною высшею иерар-

хической властью, на основании известных условных в пользу подчиненной церкви уступок.

При таком взгляде на дело, им, как я полагаю, было особенно важно узнать определительное мнение Святейшего Синода о тех проектах устройства независимой болгарской церкви, которые послужили для вселенского патриарха поводом к приглашению единоверных церквей на собор и в защиту коих от обличения святейшего Григория они препроводили в Святейший Синод пространную, правда, весьма неосновательную, но представляющуюся им, конечно, в ином свете записку.

Между тем во всем ответе Святейшего Синода вселенскому патриарху (прямого ответа на свою записку и вообще на свои послания к Святейшему Синоду они, конечно, не могли и ожидать) об этих проектах, которые заключали в себе последнее слово болгар и которые самим вселенским патриархом предназначались в основание соборных рассуждений Церкви болгарские представители не встретили даже краткого упоминания, что, естественно, могло привести их в некоторое недоумение. Недоумение это увеличивалось еще более сопоставлением этого умолчания с теми выражениями в ответе Святейший Синода, коими желания болгарского народа признавались хотя и не все, самыми основательными, естественными и законными, за патриархом же признавалась обязанность возможно полного их удовлетворения. «Чем больше, — писал Святейший Синод, — вселенской патриарх удовлетворит их, тем будет лучше», присовокупляя к тому, что от воли патриарха зависит дать Болгарам даже полную церковную независимость.

«Если так смотрит на наши отношения ко вселенскому престолу Святейший Синод, — могли думать болгары, — то что же побудило его прейти совершенным молчанием наши проекты, которые представляют

высшую меру удовлетворения наших народных требований, и предпочесть им проект самого патриарха, давно и безусловно нами отвергнутый, а также сходный с патриаршим проект бывшего митрополита Филиппопольского Паисия, который, как известно Святейшему Синоду, сам уже отказался от своих прежних предположений и совершенно примкнул к сторонникам двух проектов, утвержденных Портой».

Последствием этого недоумения было то, что болгары, считая сделанный патриархом разбор их проектов пристрастным и неверным и не имея никаких ясных по сему предмету указаний со стороны русской церкви, слово которой было бы особенно для них убедительно, решились остаться при своих проектах и домогаться у Порты приведения одного из них в действие.

В свою очередь, и в среде греческого населения ответ Святейшего Синода принят был без особенного сочувствия. Хотя вселенский патриарх и вообще весь греческий клир и народ не могли не быть довольны тем, что в ответе Святейшего Синода, во-первых, признавалась необходимость, для пользы общего дела Церкви, дальнейшего сохранения за патриархом высшей духовной власти над болгарами, и во-вторых, отдавалось решительное преимущество проекту святейшего Григория пред проектами болгарских представителей (о коих Святейший Синод, как выше сказано, даже и не упоминает); но, тем не менее, в греческих газетах и в доходивших до нас частных сообщениях проводилась мысль, что Святейшим Синодом недостаточно были оценены те усилия, которые были употреблены вселенским патриархом для умиротворения Церкви, и не вполне принята во внимание крайняя затруднительность его положения между двумя сторонами, равно ожесточенными и мало склонными к каким-либо уступкам.

«При составлении своего проекта, — писал один близкий свидетель всех действий патриарха по греко-болгарскому делу, — святейшему Григорию нужно было смотреть в две противоположные стороны; ему предстояла труднейшая задача изобрести такие основания для мира раздраженных и страстных соперников, которые, удовлетворяя существенным потребностям одних, могли бы быть приняты другими. И он нашел такие основания; его проект не только сторонними беспристрастными судьями, как, например, русским послом в Константинополе и самим Святейшим Синодом, но и умеренными и честными болгарами признан был весьма либеральным и великодушным, и если на него согласилась греческая сторона, то единственно потому, что он был предложен столь уважаемым на всем Востоке лицом, цели коего не могли подвергнуться ничьему двусмысленному истолкованию».

«И когда это с такими усилиями изобретенное средство благодаря интриге Порты и упорному противлению болгарских представителей было отвергнуто, тогда лишь святейший Григорий, видя совершенное бессилие собственных средств константинопольской церкви для достижения предположенной им цели, обратился к помощи и содействию других единоверных церквей. При таком положении дела для него едва ли представится какая-либо возможность воспользоваться выраженным в послании русского Синода советом, чтоб он сам, без посредства собора, постарался войти в соглашение с болгарами. Все его старания уже были приложены к делу, и все они обратились в ничто; что мог он предложить, уже было им предложено и отвергнуто. И если б он, последовав совету Святейшего Синода, вновь предложил то же самое (ибо Святейший Синод прямо указывает, как на основание для соглашения, на тот самый проект

патриарха, который был отринут болгарскими представителями), то откуда бы могла возникнуть надежда на то, что отвергнутое при первом предложении было бы принято при втором? Да и позволит ли достоинство патриарха решаться на вторичное предложение безусловно отвергнутой меры, без всякого со стороны болгар знака, что они готовы если не принять, то по крайней мере обсудить его проект?»

То обстоятельство, что рядом с проектом вселенского патриарха Святейший Синод ставит в основу соглашения проект бывшего Филиппопольского митрополита Паисия, по мнению греческой стороны также едва ли могло способствовать успеху взаимных переговоров.; во-первых, потому, что Святейший Синод сам признает этот проект почти тождественным с проектом патриарха и притом предлагает принять за исход для соглашения только общие черты обоих проектов (значит, все равно, что один патриарший); во-вторых, потому, что сам Паисий уже отступился от своего проекта и примкнул совершенно к другим болгарским представителям, которые настаивают на осуществлении одного из проектов, одобренных Портой и отвергаемых патриархом, так что о паисиевом проекте не с кем было в то время и говорить; за него никто уже не стоял и никто о нем не думал.

Исходя из сих соображений, естественно прийти к тому заключению, что ответ Святейшего Синода, оставляя вселенского патриарха его собственным средствам, недостаточность коих была им исповедана пред всеми единоверными церквами, и не указывая ему при этом никакого способа обойтись этими средствами, привел дело в положение безвыходное. Единственная нравственная сила, которая еще могла бы побудить болгар к каким-либо согласительным уступкам и к помощи ко-

торой взывал патриарх, — сила общего суда всей Церкви, — отказом Святейшего Синода от участия в соборе была устранена; обращаться же к болгарам прямо от своего лица патриарху не было возможности, так как они не изъявляли ни малейшего желания входить с ним в какие бы то ни было переговоры....

Далее, с указанием Святейшего Синода на то, что вселенский патриарх волен делать в пользу болгар какие ему угодно уступки, что он в праве дать им по своей доброй воле, даже совершенную церковную самостоятельность, подобно тому, как он дал некогда власть самоуправления зависимым от него церквам русской и елладской, — можно, безусловно, согласиться лишь в том отношении, что без воли вселенского патриарха учреждение самостоятельной болгарской церкви состояться действительно не может. Но чтобы одной его воли было достаточно для учреждения той или другой независимой церкви, в том возможно сомнение; даже пример тех самых церквей, о коих упоминает Святейший Синод, ясно свидетельствует о том, что самостоятельность частной православной церкви утверждается не иначе как общим согласием всех единоверных независимых церквей. Правда, самостоятельность русской церкви первоначально признана была вселенским патриархом Иеремиею во время его пребывания в Москве (в 1588 г.); но что этого признания было не достаточно, доказывается тем, что по возвращении на Восток он созвал на собор всех других православных патриархов Востока, которые и подтвердили своим общим определением независимость Московского патриаршего престола.

Тем же самым порядком, то есть при посредстве соборного же определения Церкви, произошло и признание независимости афинского синода. И хотя на этом соборе не было представителя от церкви русской, кото-

рая со времен Петра Великого лишена живого общения с православным Востоком, но, тем не менее, она была приглашена к заочному участию в этом деле и к утверждению сего соборного определения, представленного ей через нарочно с сей целью посланного в Россию архимандрита (Хрисанфа).

А между тем можно опасаться, что употребленное Святейшим Синодом выражение будет во зло употреблено болгарскими представителями и может повести к неблагоприятным для вселенского престола последствиям: на этот отзыв удобно могут ссылаться болгары и, ссылаясь на него, обвинять патриарха в напрасном упрямстве и в желании, под предлогом созвания вселенского собора, затянуть дело и отдалить срок неизбежного, по их убеждению, решения, вместо того, чтобы самому решить дело по принадлежащей ему будто бы власти.

«Не патриарх Константинопольский, заметил по сему поводу сам святейший Григорий, но четвертый Вселенский Собор определил границы и пространство области вселенского престола, включив в нее страны Дуная, которые в ту пору назывались варварскими. И только Вселенский Собор может изменить то, что сделано другим Вселенским Собором. Я готов, закрыв глаза, подписать все, что бы ни решил такой собор; но я не смею взять на себя ответственность за действие, коего последствия могут быть неисчислимы для будущности всего православия».

К этому и мы позволим себе присовокупить свое замечание: что такое расширение прав вселенского патриарха, кроме того, что оно могло бы быть опасно вообще для церковной свободы, представляет еще и то неудобство, что Константинопольский патриарх находится в политической зависимости от Порты, при которой было бы гораздо лучше даже для него самого ограничивать свободу

его действий и обязывать его по всем важным вопросам сообразоваться с намерениями и взглядами других единовременных церквей. Невозможность решить то или другое дело собственной властью могла бы в трудных случаях, когда Порта потребовала бы (как это случилось и в настоящем вопросе) от патриарха решения, ей угодного, но Церкви вредного, послужить для него твердым оплотом от насилия и благовидным поводом к отказу.

Но если и признать все вышеизложенные соображения вполне справедливыми и согласиться с тем мнением, что Вселенский Собор православной Церкви оставался единственным и последним средством для прекращения греко-болгарской распри, то представляется обсуждению другой важный вопрос: мог ли бы этот собор, который, сам по себе для церкви русской после такого продолжительного разобщения ее с православным Востоком был бы, без сомнения, вождеденнейшим событием и подал бы ей возможность к устройению некоторых из ее собственных внутренних дел, без собора не поправимых, мог ли бы, говорю, этот собор состояться даже при всеобщем согласном желании всего православного мира? Не поспешила ли бы Порта, которой мысль об этом соборе была в высшей степени ненавистна и которая отказ Святейшего Синода приняла, по нашим сведениям, с величайшим восторгом, поставить на пути к осуществлению этой мысли какие-либо важные и может быть неодолимые препятствия?

Нет сомнения, что Порта не допустила бы этого действительно весьма ей невыгодного собрания, не испытав всех доступных ей средств к помехе; но как бы ни были велики те затруднения, с которыми пришлось бы в этом случае иметь дело представителям православного мира, и прежде всего, конечно, нам, — нет никакого основания считать их непреоборимыми: как бы ни старалась Пор-

та противодействовать созванию вселенского собора, ей было бы самой в высшей степени затруднительно избрести не только уважительные, но даже сколько-нибудь приличные причины к отказу.

Патриархи вселенские весьма нередко собирали в Константинополе представителей восточных православных церквей для обсуждения особенно важных для Церкви дел и никогда не встречали в этом со стороны Порты препятствий. Так, не далее как в 1861 году созван был патриархом Иоакимом собор по тому же греко-болгарскому вопросу, на котором присутствовали все случившиеся на ту пору патриархи и значительное число митрополитов. Чем же разнился бы предположенный патриархом Григорием Вселенский Собор от тех, подобно созванному в 1861 году, соборов восточных иерархов, к созванию которых Порта до сих пор не поставляла никаких препятствий? Тем, что в состав его вошли бы, сверх обыкновенно собираемых восточных иерархов, представители трех церквей (русской, елладской и карловицкой), находящихся вне пределов Турецкой империи, и двух церквей (сербской и молдо-влахийской), существующих в странах полунезависимых? Какими же доводами могла бы Порта оправдать недопущение в свои пределы этих иерархов, которые явились бы в столицу Турции для столь важного и требующего их рассмотрения дела? Могла ли бы она, в случае общего и единодушного признания всеми православными церквями необходимости в соборе, сказать, что для созвания не представляется достаточных причин, когда десятилетний разрушительный раздор племен произвел столь глубокое потрясение в церкви константинопольской и грозит всему православию великою и непоправимою бедой? Но если бы Порта и стала изощряться в приискании препятствий, пусть бы по крайней мере все затруднения этого дела пали на ее

голову. Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что препятствия, которые встретились бы на этом пути, заслуживали полного внимания как Святейшего Синода, так и вообще русского правительства, которому предстояло бы принять участие в их устранении, и потому я нахожу, что было бы не только естественно, но даже предусмотрительно и мудро, если бы вопрос об этих препятствиях был поставлен в настоящем деле на первый план и если бы самое созвание собора было поставлено в прямую и исключительную зависимость собственно от возможности победить эти препятствия. Тогда дело принимало бы такой вид: русская церковь признала бы в принципе предложение вселенского патриарха достойным всякого внимания, но, оберегая достоинство императорского правительства, дала бы свое согласие на участие в предполагавшемся соборе не прежде, как получив полное убеждение в возможности осуществления мысли святейшего Григория.

Но мы знаем, однако, из самого ответа Святейшего Синода, что главная причина, по которой собор не состоялся, не в этих препятствиях, о коих Святейший Синод упоминает в своем ответе лишь вскользь, а в том, что этот собор мог, по мнению Святейшего Синода, вместо умирения Церкви, послужить поводом еще к большим волнениям в ней и раздорам и вместо ожидаемой пользы принести в своих последствиях только вред; что болгары, в случае решения вопроса в пользу патриарха могли бы не подчиниться решению собора и чрез то подверглись бы его суду, который объявил бы их раскольниками, и таким образом не только Константинопольская патриархия, но в вся Церковь понесла бы величайшую и невозвратимую потерю.

О том, согласились ли бы болгары подчиниться решению собора или нет, в настоящее время сказать ничего

определенного невозможно; это зависело бы, во-первых, от образа действий вселенского патриарха и представителей других независимых церквей, и вообще от того направления, какое приняли бы соборные совещания; во-вторых, от того, насколько удалось бы Болгарам благонамеренным, преданным делу Церкви, своего народа и России, освободиться самим и освободить всю страну свою от гнета константинопольских представителей, захвативших в свои руки народное дело и направляющих его ход в пользу собственных расчетов и Порты, наконец, от влияния множества неуловимых случайностей, коих заранее предвидеть никто не в состоянии.

Что касается вселенского патриарха, то он ни в каком случае не сократил бы размера тех льгот и прав, которые предоставляются болгарам по его проекту, — и есть даже верные известия, что он был согласен сам и надеялся склонить свой синод и свой народ к их распространению. Представители других восточных церквей, коих вопрос этот непосредственно не касается (как, например: антиохийской, иерусалимской, елладской), не имели бы ни малейшего побуждения и повода предлагать, в удовлетворение болгарам, менее того, что было бы им предложено от лица их собственного патриарха. Что же касается представителей церквей славянских: русской, сербской, карловицкой, то их мнения могли бы клониться лишь к расширению, но ни в каком случае не к сокращению льгот и прав, предлагаемых болгарам Великою церковью и, — что особенно важно, — мнения эти могли бы послужить опорой для самого патриарха, который до известной степени стеснен в своих намерениях и действиях менее его великодушными членами клира Великой церкви. Сам же он готов, по его словам, закрыв глаза, подписать все, что признано было бы собором, лишь бы не требовали от него таких уступок, кото-

рые на личную свою ответственность он взять не может. Таким образом, очевидно, что собор дал бы болгарам никак не менее, а, по всем вероятностям, более того, чего они могли ожидать от одного вселенского патриарха. И если была выражена надежда, что болгары примут меньшее от лица патриарха, против коего они раздражены и коего власть над собою они уже отметають, то откуда же могло возникнуть опасение, что они не примут большего от лица всей Церкви, против которой у них нет раздражения и власть которой признается ими безусловно?

Между тем, при таком положении дела открывалась бы немалая надежда для той, ныне загнанной и заслоненной части образованных болгар, которая со своей стороны была готова, как мы видели, помириться до времени и на проект патриарха Григория и которая, получив от собора обещания новых и больших прав, могла бы возгласить о том вслух всего болгарского народа, и, пользуясь поддержкою и содействием представителей всего православного мира, могла бы наконец достигнуть перевеса над константинопольскими представителями или по крайней мере принудить их одуматься и отказаться от безмерных притязаний.

Итак, есть основания с вероятностью предполагать, что болгары не отказались бы от повиновения соборному решению, не говоря уже о других разнообразных и многочисленных средствах, которые могли бы открыться к достижению этой цели и к установлению мира в возмущенной церкви для собора, как живого и разумного представителя общих и высших интересов всего православия, одушевленного искреннею заботою о прекращении возникших в его среде нестроений.

Впрочем, как бы ни была велика вероятность такого исхода дела, все-таки оставалась возможность и обратного предположения. Допустим же, что болгары, то есть их

константинопольские представители, не приняли бы решения Вселенского Собора. Тогда, я в том согласен, положение дела сделалось бы в высшей степени тревожным и опасным, и одной возможности, хотя бы и мало вероятной, такого исхода соборных совещаний было бы достаточно для того, чтобы побудить обратиться к другим способам действия., менее опасным и более действительным, при одном, впрочем, существенно важном условии: если такие способы есть. Но в том-то и вопрос: есть ли они? Вселенский патриарх, как мы видели, их не находил и не находит; другие единомысленные нам церкви их не предлагали, считая, по-видимому, вместе со вселенским патриархом, единственным, или по крайней мере и лучшим, способом собор; Святейший же Синод указывал на такую меру, которая была уже испытана и осталась без успеха.

Между тем, болгарские представители, согласно со своим убеждением в том, что устройство их церковных дел может состояться и без согласия патриарха, по распоряжению самой Порты, с тайного ее разрешения, обратились к единомысленным с ними архиереям болгарских епархий, призывая их прибыть немедленно в Константинополь на общее совещание об окончательном установлении нового порядка церковного управления и учреждения болгарской независимой церкви.

Усилия патриарха воспрепятствовать прибытию этих епископов в столицу не привели ни к чему; Порта, несмотря на данные обещания, не только не пригласила их к соблюдению порядка и повиновения патриарху, но даже объявила болгарам, просившим у него Фирмана на утверждение их независимой церкви, что в этом Фирмане не будет им отказано, как только болгарские епископы, собравшись в Константинополе, придут ко взаимному соглашению относительно оснований новой организации болгарского клира.

Прежде других откликнувшиеся на призыв и прибывшие в Константинополь архиереи — Филиппопольский Панарет, Видинский Анфим, Софийский Дорофей и Ловчанский Илларион, подали 20 декабря 1868 года, за общей их подписью, вселенскому патриарху формальное отречение от его духовной власти.

Это отречение было известно Святейшему Синоду в то время, как он обсуждал приглашение патриарха Григория на Вселенский Собор, так как оно было препровождено к нему при особом послании (27 февраля 1869 года) от имени тех же четырех архиереев с присоединением к ним еще двух имен (бывших) — Макариупольского Иллариона и Филиппопольского Паисия, который, как из этого видно, уже не удовлетворялся в это время прежним своим проектом, предложенным от Святейшего Синода в основу соглашения вселенского престола с болгарам.

Итак, то положение дел, во избежание коего Святейший Синод отказался от приглашения вселенского патриарха к участию в соборе, в действительности было уже совершившимся фактом. Раскол на деле уже существовал, и если не могло быть никаких побуждений спешить церковным осуждением его вождей и вообще окончательные признанием возмутившейся части болгар раскольниками, то были тысячи побуждений спешить навстречу этому злу с теми или другими, но непременно действительными средствами, и ни в каком случае не оставлять такого дела его собственному течению. И если в виду всей Церкви не было, как мы видели, никакого другого средства к устранению угрожающего ей бедствия, кроме предположенного вселенским патриархом, то есть созвания общего собора всей Церкви, то не оставалось, по-видимому, ничего более, как испытать это единственное средство и притом нисколько не откладывая. *Bis dat qui cito dat*¹⁷.

При том же я позволяю себе заметить, что собор есть не только единственное, но и самое приличное для Церкви средство помочь тому бедственному положению, в котором находится церковная область Константинопольского патриарха, и возвратить ей мир, если еще есть какая-либо возможность примирения враждующих племен; что, при решении этого вопроса, никакая власть в мире не может иметь такого значения для обеих спорящих сторон, как власть всей собравшейся, в лице своих представителей, Церкви; что в подобных случаях Церковь никогда не сомневалась в достоинстве и силе соборного суждения как средства к прекращению возникших среди нее нестроений и не опасалась прибегать к нему, веруя, что спасение во мнози совет.

Но независимо от того, что собор православной Церкви является, по изложенным соображениям, единственным и неизбежным средством для удовлетворительного решения греко-болгарского вопроса, он был бы и для всей Церкви вообще событием, в высшей степени важным и обильным последствиями. Совещание есть жизнь Церкви, и там, где по каким-либо причинам ему полагаются преграды или ограничения, в соразмерности с тем непременно оскудевает или даже вовсе замирает и духовная жизнь страны. Согласно с сим значением для Церкви совещательного начала и в ее священных канонах мы находим постановления, коими всем частным церквям вменяется в неперемнную обязанность собираться в известный определенный срок на общие совещания, будет ли к тому какой-либо особенно важный повод, или нет,—все равно. Это есть прямая, сама по себе понятная, живая потребность общения между людьми, связанными союзом любви и единомыслия, и вместе с тем самое верное средство к непрерывному соблюдению истины исповедания и единства установлений и к предохранению

Церкви от опасности всякого рода личных заблуждений или злоупотреблений. Для случаев же важных, выходящих из ряда обыкновенных и превышающих меру власти предоставленной частным церквам, руководимая тем же основным началом своей жизни, Церковь издревле установила и донныне употребляет оправданный вековым опытом и духу ее вполне согласный способ решения вопросов общим голосом всех (вселенские соборы) или, смотря по надобности, нескольких (поместные соборы) частных единоверных церквей. Из истории церкви видно, что большая часть созывавшихся по тому или другому случаю соборов не ограничивались рассмотрением только тех вопросов, которые служили поводом к их созванию, но обыкновенно обозревали общее состояние церковных дел в данную минуту и исправляли в них то, что на ту пору требовало исправления.

Так, без сомнения, поступил бы и собор православной Церкви, созванный для рассмотрения греко-болгарского вопроса, если бы мысли патриарха Григория суждено было осуществиться; по крайней мере, в рассуждениях греческих газет о значении и предметах деятельности предполагавшегося собора, которыми сопровождалось известия о решимости патриарха пригласить к участию в нем все единоверные церкви, упоминались некоторые весьма важные церковные вопросы (армянский, англиканский и др.), которые патриарх имел, по-видимому, намерение подвергнуть общему рассмотрению.

При таких условиях едва ли не каждая частная церковь должна была иметь, кроме общей и главной нужды, и свои собственные побуждения желая собора и, может быть, более всех церковь русская. Между тем как все прочие единоверные нам церкви Востока благодаря близкому между ними соседству и существованию большей их части в пределах одного государства при-

ходят весьма естественно в постоянное между собою соприкосновение и в случаях особой важности легко могут собраться и действительно собираются на частные между собой совещания, русская церковь одна остается, со времени упразднения патриаршества, вне этого живого общения, так что даже тот учредительный акт, который положен в основу ее новой преобразованной организации, Духовный регламент, не был рассмотрен и утвержден общим советом всей православной Церкви и введен в действие, со всеми теперь уже ясно признанными и во многом уже исправленными его недостатками собственно по воле преобразователя и, как свидетельствует история, вопреки убеждению большинства даже подписавшихся под ним из страха лиц. С тех пор в жизни русской церкви, несмотря на неколебимую твердость и неизменность в исповедании истин веры, было немало разного рода явлений, которые самими членами ее разумелись неодинаково и вызывали одних на безусловное одобрение, иных же на протест, и к окончательному изъяснению коих и к успокоению чрез то совести верующих не было действительных средств: так как преобразователь не ограничился поставлением преград к общению русской церкви с единоверными ей церквами Востока, но уничтожил и соборные совещания представителей русской церкви между собою, под тем предлогом, что Святейший Синод установлен «во образ непрестающего собора» и следовательно самым существованием своим как бы устраняет нужду в каком-либо ином способе церковных совещаний. Преследование совещательного начала в церкви, как известно, было простерто до того, что православным архиереям воспрещено было даже взаимное посещение друг друга в епархиях, и эта мера продолжалась в нашем законодательстве (трудно даже этому поверить) до дней настоящего царствования, ко-

тому принадлежит честь ее отмены и возвращения православным епископам такого права, в каком, за исключением их, не отказывалось никому.

При таких обстоятельствах можно было бы, по видимому, ожидать более сочувствия к мысли великого Константинопольского иерарха даже и в том случае, если бы у созванного собора не было столь повелительного повода; следовало бы, мне кажется, ухватиться даже за какой-нибудь, хотя бы самый ничтожный, предлог, лишь бы вновь, после столь долгого насильственного и обоюдного разобщения с единоверными церквями соединиться с ними в живом братском совещании и таким образом воскресить в себе в настоящее время уже столь неясное и слабое ощущение нашего вселенского союза, тем более, что за таким актом возрождения соборного начала не могло не последовать оживление его и во внутренней жизни нашей церкви, столь издавна призываемое желанием и чаянием ее воздыхающих чад. Совещательное начало, восстановленное в его истинном виде и значении, возвратив русской церкви правильности всех ее жизненных проявлений, тем самым восстановило бы ее из того оскудения духа, которое она в настоящее время испытывает, и само собою открыло бы в ней обильные, временно иссякшие, источники обновления и силы. При этом только условия открылась бы и возможность действительно успешных и плодотворных преобразований в области нашего церковного управления, которые до сих пор как-то никому не удавались, вовсе, заметим, не по недостатку добрых намерений или ревности и даже способностей распавшихся на преобразования лиц, а единственно вследствие общей почти утраты ясного разумения требований и смысла истинной церковной жизни. И не только в собственной области церковного управления, но и вообще в жизни нашего общества и всего народа

возвращение русской церкви утраченного ею, по случайностям истории, начала совета и взаимного общения несомненно отразилось бы великими и неожиданными последствиями; в настоящее время мы не имеем никаких способов измерить величину и исчислить количество тех потерь, которые все мы вместе и каждый из нас понесем вследствие оскудения духа в жизни нашей церкви и важность которых раскрылась бы пред нашими очами сама собою, вместе с возвращением нашим к ее оплодотворяющим источникам..

Притом же, кроме этих общих и быть может не всем равно внятных побуждений желать созвания собора православной Церкви мы имеем к тому и другие вполне определительные и для всех одинаково вразумительные причины; ибо есть немало без собора нерешимых, а между тем настоятельно требующих решения вопросов первой важности.

Так, например: вот уже более 200 лет, как у нас существует раскол, и с тех пор, как он возник впервые, до самых последних дней наша церковь постоянно изыскивала против него разного рода меры. В ряду этих мер первое по важности место принадлежит, без всякого сомнения, учреждению единоверия.

Первая мысль о его учреждении явилась, как известно, в ту пору, как наше правительство, а за ним и наша Церковь, сознали неудобство и вред прежних крутых мер и ожесточенного тона обличительных сочинений против раскола и признали за благо обратиться к иным, более свойственным духу Церкви способам кроткого и вразумительного увещания и искреннего обмена мыслями относительно причин, отделяющих такую значительную часть русского народа от общения с православной Церковью. С той самой минуты, как во взаимных объяснениях прежние ругательства и клятвы

заменялись мирными и беспристрастными рассуждениями о предмете разделения, вдруг оказалось, что для целой половины пребывающих в расколе (для поповцев) людей не существовало никакой причины к отделению от Церкви, кроме далеко зашедшей вражды и озлобления. Те содержимые раскольниками обрядовые особенности (двуперстное сложение, сугубая аллилуйя, семь просфор, начертание имени Спасителя и т. п.), которые представлялись до того времени действительным препятствием к соединению и которые на самом деле были только предлогом разделения, — при совершенно согласном с Церковным воззрением поповцев на все основные истины православного исповедания, явились, по отложении вражды, в их истинном значении, то есть почти равными нулю и во всяком случае не препятствующими общению Церкви с теми, кто содержит эти особенности обряда, не соединяя с ними никакого противного учению Церкви рассуждения. Тогда решились предложить старообрядцам свободу в употреблении этих особенностей, лишь бы они в свою очередь оставили свои превратные мнения об усвоенном нами обряде и признали бы над собою власть Церкви и ее иерархов. На условии этих взаимных уступок и состоялось, благодаря, с одной стороны, ревности и искусству митрополита Платона и архиепископа Никифора Феотоки, с другой — усилиям Никодима Стародубского, Сергия Иргизского и иных лучших людей старообрядства, примирение с Церковью значительного числа раскольников и впоследствии основание так называемой единоверческой церкви*. Но так

* Мы употребили выражение «единоверческая церковь» по укоренившемуся обычаю; на деле же особой церкви единоверческой нет (есть одна и та же соборная и апостольская Церковь), а есть отдельные единоверческие приходы подчиненные вместе со всеми другими одному и тому же епископу, а вместе и Святейшему Синоду, но получившие право на употребление особенностей старого обряда (прим. Т. И. Филиппова).

как содержание этих самых обрядовых разностей было предметом суждения и осуждения с клятвою бывшего в Москве при царе Алексее Михайловиче Великого Собора 1666—67 годов, на котором, кроме московского патриарха, присутствовали два восточных, Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский, со множеством иных меньшего чина представителей единоверных нам церквей, — разрешение же употребления сих разностей имело от одного Святейшего Синода — власти сравнительно с собором низшей: то нельзя было не опасаться, чтобы противники мира с Церковью не обвинили нас в превышении власти и не сочли данного русскою церковью благословения на содержание в единоверческой церкви двуперстного сложения и других тому подобных предметов недостаточным для отмены тех клятв, которые на сторонников сего обряда были наложены собором 1666—67 годов. Но еще важнее то обстоятельство, что этой отмены в подлежащем порядке на самом деле не последовало (ее и не могло быть без нового большого собора, так как только большая церковная власть может отменять постановления меньшей власти, а не наоборот), и что вследствие того всякий старообрядец, сознавший заблуждение своего толка и склонившийся к переходу в Церковь на основаниях единоверия, если только он внимательно изучал предмет, неизбежно встречался и доньше встречается с затруднительным вопросом о значении наложенных собором 1666 — 67 годов клятв, юридически еще не отмененных, но только игнорируемых как теми, которые вступают в общение с Церковью, удерживая осужденные собором особенности обряда, так и самую русскою церковью, которая принимает таких лиц в свое общение. Что этот вопрос затрудняет даже самых искренних и просвещенных людей из старообрядческого общества, доказательством тому, в числе многих дру-

гих примеров, может служить, между прочим, пример недавно приобретенного Церковью знаменитого инока Павла Прусского (ныне настоятеля московского единоверческого Никольского монастыря), который уже по окончательной победе над всеми другими сомнениями в истине Церкви, долгое время оставался еще в мучительном недоумении пред этим совместным существованием благословения и клятвы, и только путем крайне тягостных усилий мог пребороть наконец свои нравственные затруднения. Но то, что оказалось трудным даже для такого ревностного и беспристрастного искателя истины, для многих неизвестных нам честных и искренних душ, но не столь сильных волею и умом, без всякого сомнения послужило и еще послужит препятствием неодолимым.

Устранить окончательно этого рода препятствия к духовным приобретениям Церкви мог бы только ее общий собор, который один имел бы полное и бесспорное право, рассмотрев дело вновь и убедившись в необходимости отмены запрещения, наложенного некогда при обстоятельствах, в настоящее время уже не существующих, придать этой отмене силу действительного церковного постановления. Вместе с сим и единоверческая церковь вышла бы из ее настоящего неопределенного положения, которое, как известно, придает повод к существенно важным пререканиям даже между православными писателями и которое составляет главную причину малоплодности ее учреждения. Я не смею брать на себя ручательства в том, что соборное решение, состоявшееся в указанном мною смысле, имело бы своим неизменным последствием многочисленные обращения из раскола в православие: успех дела не всегда зависит от правды действующих, и его в подобных случаях следует всегда предоставлять промышляющему о своей Церкви Богу. Но то несомненно, что достижением такого результата русская

церковь исполнила бы лежащий на ней священный и повелительный долг, что важнее самого успеха.

В свою очередь, и в греческой церкви нашлись бы вопросы, требующие соборного рассмотрения и решения. Известно, например, что в настоящее время в русской церкви существует совершенно иное, чем в греческой, правило о способе принятия в лоно православия приходящих от латин: у нас их принимают, говоря языком церковных правил, вторым чином, то есть чрез миропомазание, между тем как на Востоке их перекрещивают, то есть, принимают по первому чину, который древнею церковью установлен был только для людей самых крайних заблуждений. Известно также и то, что некогда мы сами латин перекрещивали; по крайней мере, такое правило было установлено, как всеобдержное, на соборе 1621 года, бывшим при патриархе Филарете, который, возвратившись из томительного девятилетнего польского плена, не мог соблюсти нравственного равновесия в своем суде о поляках и их вере (тем более, что в то время вся русская земля носила еще свежие следы зверского ляшского опустошения и осквернения ее святынь) и, под влиянием сих событий, признав поляков и ради их всех латин крайними еретиками, постановил со всем собором Русской Церкви принимать приходящих от них к Церкви не иначе, как на условии перекрещивания.

Но на соборе 1666—67 годов, когда этот вопрос вместе со многими другими был предложен общему рассмотрению, представители восточных православных церквей нашли в Постановлении собора 1621 года явную несоответственность со степенью латинских погрешностей против Церкви и неравномерность по отношению к другим отступившим от Церкви обществам и сектам.

Посему, сославшись на пример древней церкви, которая даже македониан и ариан принимала не первым,

а вторым чином, и на постановление Константинопольского собора 1484 года, коим устанавливалось для приходящих от латин миропомазание, и, наконец, на письма Марка Ефесского, который при всей своей твердости в преследовании латинских заблуждений считал достаточным принимать обращающихся от этих заблуждений вторым чином, собор постановил, чтобы и русская церковь, согласно с общим правилом всех единоверных ей церквей, следовала впредь такому порядку.

Между тем менее чем через сто лет после этого соборного решения, православный Восток сам изменил этому преподанному нам указанию и в 1756 году под влиянием крайнего раздражения против бессовестных действий латинской пропаганды постановил на соборе, в котором участвовали три патриарха, принимать латин в Церковь не иначе, как первым чином. И вот с тех пор восточные православные церкви следуют в этом деле тому порядку, который некогда их же представителями был обличен и устранен из церкви русской. Очевидно, что на созванном по мысли патриарха Григория соборе православной Церкви мы могли бы по отношению к этому вопросу оказать нашим восточным братьям такую же услугу и помощь, какую мы сами получили некогда от них.

Важности этого вопроса (не говоря уже о том, что всякое исправление неправильного обычая весьма важно само по себе как восстановление истины, независимо от его последствий) и устранения существующей между восточными церквами и русскою в сем деле разности не следует от себя скрывать. О ней можно судить, между прочим, по тому влиянию, какое она имела на судьбу известного русскому обществу английского ученого богослова Палмера.

Этот знаменитый последователь того направления в англиканской церкви, которое было создано известным

доктором Пьюзеом, внимательно прикинув к изучению творений Отцов Церкви и церковной древности, пришел сначала к тому убеждению, что изо всех ныне существующих христианских церквей единственно хранительницею чистого апостольского предания и вообще богопреданной истины должна быть признана восточная православная Церковь, часть которой составляем и мы, и, по-видимому, был на один шаг от перехода в православие. Но, встретившись с существующим между восточными церквями и русскою разномыслием в таком предмете, который, кроме своего безотносительного значения, имел особую важность лично для него (ибо от него, как от человека, обращающегося к Церкви от заблуждения, несколько не меньшего сравнительно с латинским, на востоке требовали второго крещения), он отступил от своего намерения и, не имея возможности по своим убеждениям оставаться в церкви англиканской, как протестантствующей, решился перейти в католичество, — не по тому, чтоб он признал латинскую церковь единственно истинною (нет! он все таки остался при той мысли, что восточная Церковь имеет пред нею несомненное преимущество по чистоте догмата и обряда), но потому, что он утратил самое верование в существование на земле такой церкви, и вследствие того решился условно пристать к такой из древних апостольских (по учреждению) церквей, в среде которой думал обрести более удовлетворения для своего деятельного духа*.

Без сомнения, и этого одного опыта было бы вполне достаточно для того, чтобы поспешить с отменой Постановления собора 1756 года; но необходимость его безотлагательной отмены представится нам в осо-

* Последние слова мои указывают на то, что приведенная выше причина перемены в настроении Пальмера не была единственною; но несомненно то, что она была первою и привела за собой другие, из совокупности коих он и вывел свой неправильный итог (прим. Т. И. Филиппова).

бенности настоятельно, если мы примем в соображение, что столь строгое по отношению к разномыслящим правило восточных церквей может при случае сделаться действительною преградой к соединению с нею целых иноверных обществ. Припомним недавний опыт с мелхитами (сирийскими и египетскими греко-униатами), которые в начале истекающего десятилетия выразили желание обратиться к православной Церкви и действительно присоединились к ней в числе нескольких тысяч душ, но при этом ни под каким видом не хотели допустить, чтобы над ними было повторено таинство крещения; так что восточная церковь поставлена была в весьма тягостное затруднение выбирать между приобретением столь значительного числа верующих и соблюдением содержимого ею правила. И хотя она решилась, — не без предварительного, впрочем, колебания, — поступиться сим правилом, выше его поставив дело общения с ищущими ее христианами, но все-таки она не могла не испытать при этом некоторого нравственного затруднения, неизбежно соединенного с нарушением не отмененных уставов.

Во сколько же раз должны увеличиться эти затруднения, если дело дойдет до решительных переговоров (на что наши восточные братья имеют, по-видимому, несомненную надежду) о соединении с православною церковью армян, а за ними и других монофиситских церквей, яковитской и коптской, и наконец, членов англиканской церкви, которые не могут предъявить никаких прав на то, чтоб им, по отношению к чину приятия в Церковь, оказано было предпочтение пред латинами (так как армянское и вообще монофиситское заблуждение было предметом суждения Вселенского Собора, халкидонского, и признано ересью, чего о латинских отступлениях Церковь еще не постановляла, англи-

канская же церковь выделилась из той же латинской), а между тем, конечно, не согласятся подчиниться условиям первого чина.

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что наши восточные братья при свете церковных канонов, к коим они питают такое глубокое и достойное наше-го подражания благоговение, и при помощи указаний истории не затруднились бы признать несостоятельность недавно и совершенно случайно проникшего в их уставы правила и что им нужен был бы только какой-либо повод к тому, чтобы подвергнуть его новому и тщательному пересмотру. Наилучшим же поводом к тому было бы, очевидно, созвание задуманного вселенским патриархом Григорием собора, который не только счел бы долгом произвести этот пересмотр, но и имел бы право постановить со властью новое по этому вопросу постановление.

Созвание этого собора, без сомнения, оживило бы сношения с православною церковью, с одной стороны, армян, о стремлении коих к сближению с нею русские читатели могли узнать из помещенного в переводе с греческого в «Христианском Чтении» за 1868 год весьма замечательного рассуждения митрополита Хиосского Григория, с другой стороны — членов англиканской церкви, о намерениях коих печатано было в русских повременных изданиях сравнительно гораздо более. Не останавливаясь на подробном рассмотрении этих двух вопросов из боязни продлить без меры свое и без того не краткое рассуждение и отдалиться еще более от его главного предмета, я ограничусь лишь простым замечанием, что каждый из означенных вопросов по своей важности заслуживал бы соборного рассмотрения Церкви.

Но, конечно, впереди всех других вопросов стоял вопрос болгарский. И если для его благополучного ре-

шения и в то время лучшим и единственным (как показали последствия) средством было соборное его рассмотрение, то в настоящую пору созвание для этой цели собора является необходимостью еще более настоятельной.

Мы видели, что патриарх Константинопольский отверг решение Порты и не подчинился султанскому Фирману, который вторгается в область его неприкосновенных прав. При этом святейший Григорий не нашел даже нужным входить в разбор этих оснований, которые предложены Фирманом для учреждения независимой болгарской церкви, считая эту сторону дела второстепенными подробностями, но устремил всю силу своего veto прямо против права Порты создавать своею властью новые автокефальные церкви. На этой почве патриарх стоит твердо и, как ясно показывает двукратный протест его против торжественно выраженной воли султана, он решился не уступать насилию.

Между тем, тайно руководящие направлением болгарского вопроса лица, и во главе их французский константинопольский посол, по справедливости считающий издание Фирмана плодом и торжеством своего дипломатического искусства, склоняют собравшихся в Константинополь болгарских епископов неотлагательно образовать из себя синод и вступить в действительное обладание теми правами, которые даровал им Фирман. При этом они рассчитывают на то, что за таким шагом болгарских иерархов последует непременно отлучение их и всех тех, кто с ними, от общения с церковью. Для врагов наших, конечно, было бы в высшей степени выгодно создать из болгар новое религиозное общество, хотя по исповеданию и православное, но находящееся вне действительного союза с прочими православными церквами, и чрез такое одинокое и отчужденное положение среди православного мира, поставленное в необ-

ходимость искать опоры вне этого мира, у его исконных и нераскаянных врагов.

Можем ли мы остаться равнодушными зрителями того насилия, которому подвергается первенствующий иерарх нашей церкви, и тех опасностей, в которые вовлекается болгарский народ предательскими внушениями, имеющими единственной целью духовную разлуку его с православным миром, главнейшим же образом с нами? Ответ на этот вопрос может быть только один.

Но так как прямым своим влиянием дать делу другое направление мы, очевидно, уже не можем, и никакого другого средства к выходу из облака облегающих нас затруднений у нас нет, то не остается, по моему мнению, ничего более, как испытать то единственное средство, в силу которого до сих пор не перестает верить святейший Григорий и которое действительно может представить совершенно неожиданные и отсюда невидные способы соглашения и, по выражению блаженно почившего митрополита Филарета, с края пропасти подвинуть к спасению.

В греческих газетах есть, как я слышал, достоверное известие, что патриарх Григорий имеет намерение вновь обратиться к Святейшему Синоду и подкрепить свое предложение о созвании собора новыми убедительными доводами. Правда, в настоящее время осуществление этой мысли представляет гораздо более затруднений, чем в пору первого обращения патриарха. Теперь Порты может с большим для себя удобством сослаться на первоначальное отклонение Святейшим Синодом мысли о соборе и на издание Фирмана, которое может даже приписать, в известном смысле, этому отказу. Труднее будет действовать и на Болгар, получивших от Порты давно искомые ими права и взирающих на церковную сторону вопроса с тем же печальным

легкомыслием, с каким смотрели и продолжают смотреть на нее мудрецы наших фельетонов. Наконец, и в среде самой восточной церкви возникли весьма важные смуты (я разумею дела Александрийской патриархии), которые, конечно, не представляют лишнего удобства для созвания собора. Но патриарх Григорий не считает, как видно, и этих препятствий неодолимыми.

Как будет принято Святейшим Синодом это новое обращение вселенского патриарха, угадать трудно; несомненно одно, что отказ Святейшего Синода от первого приглашения не может связать свободы его нового постановления, так как с того времени произошло в положении вопроса столь важное изменение и возникли совершенно новые обстоятельства, которые могут внушить и новые намерения, по слову премудрости: последние помыслы паче первых.

ПИСЬМО К ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ НИЛЬСКОМУ

Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке. Вып. I и II экстраординарного профессора С.-Петербургской Духовной Академии И. Нильского. Спб., 1869.

М {илостивый} Г {осударь}.

Исполняя обещание, данное мною на вашем диспуте (25 октября), возобновляю с вами свою беседу, которая, к великому моему сожалению, не могла продолжаться изустно столько времени, сколько было бы нужно для предложения вам всех недоумений, возбужденных во мне содержанием вашего ученого труда, и для ваших на мои вопросы разъяснений.

Кстати, позволю себе при этом заметить, что как ни хороша была ваша вступительная речь и как ни заслуженны были вызванные ею рукоплескания, тем не менее, она своею продолжительностью нанесла явный ущерб состязанию, которое составляет главную цель и душу публичной защиты рассуждений, писанных для получения ученых степеней, и которого пределы должны были, против воли возражавших вам лиц, значительно стесниться, причем и самые прения не могли не утратить

некоторой доли ясности и вразумительности для присутствовавшего собрания.

Уже г. Коялович¹, возражавший передо мною, испытывал на себе невыгодные последствия указанного обстоятельства; на мне же они должны были отразиться с особою силою. Поздний час* и общее утомление, в особенности ваше, расстроили весь план моих возражений, задуманных мною в известной последовательности и взаимной связи, и побудили меня ограничиться предложением вам лишь одного (из многих) вопроса, относящегося к учению о браке знаменитого беспоповского писателя прошлого века Ивана Алексеева. Упоминаю о встреченных мною препятствиях с тою, собственно, целью, чтобы обратить внимание вашего досточтимого академического общества на необходимость принять меры к отстранению подобных неудобств на будущее время. Для монологического изложения сокровищ вашей учености можно найти иной путь: для этой цели устраивайте публичные чтения, на которых, после такого блестящего успеха первых двух академических** диспутов, я уверен, будет собираться множество посетителей; а время, отмеренное для ученых прений, отдавайте целиком на предмет его прямого назначения, на живой обмен мыслей между составителями ученых рассуждений и их читателями, в особенности такими, которые не принадлежат к вашей корпорации. Участие в академических состязаниях лиц, посторонних академии и вообще духовно-учебному сословию, должно принести великую обоюдную (для

* Я начал свои возражения в четверть пятого, после с лишком трехчасового ожидания в очереди (*прим. Т. И. Филиппова*).

** Первый диспут в Петербургской Духовной Академии происходил в конце сентября; Иван Васильевич Чельцев, профессор церковной истории, защищал в нем с большим успехом диссертацию «Древние формы символа веры», написанную им на степень доктора (*прим. Т. И. Филиппова*).

академии и общества) пользу, и я почитаю особенным для себя счастьем, что на мою долю выпала честь почина в этом взаимном умственном общении ученого учреждения и общества.

Обратимся к моим возражениям.

1. Прежде всего, я имел намерение, которое теперь и исполняю, заметить вам, что в вашем рассуждении есть весьма важный, по моему мнению, пропуск, а именно: в нем нигде не предложено полного и ясного определения правильного или, что одно и то же, православного понятия о таинстве брака; между тем как в сочинении, которое посвящено изложению столь многообразных учений о брачной тайне (первоначального учения всего беспоповского согласия, оставшегося впоследствии и донныне пребывающего в обществе федосеевцев; учение Ивана Алексеява и его ближайших последователей, новоженцев; учения Василия Емельянова, Гавриила Скоцкого других последователей покровской часовни и пр.), строгая и твердая постановка схемы православного брака составляла, как мне кажется, явную и настоятельную необходимость, а потому отсутствие оной я позволяю себе назвать прямым и немаловажным недостатком вашей книги.

Тех отрывочных и по разным местам вашего сочинения разбросанных замечаний об этом предмете, которые читателю приходится самому извлекать и сопоставлять между собою, чтобы дойти до какого-либо, и при том все-таки не нашего, а своего вывода (не говоря уже о том, что некоторые из этих замечаний находятся в непримиримом взаимном противоречии), слишком, во всяком случае, недостаточно для читателя, которого вы, поставив лицом к лицу с Иваном Алексеявым, Гавриилом Скоцковым, Филиппом Осиповым, оставляете затем его собственным средствам, нисколько, или, по крайней

мере, весьма мало помогая ему в таких трудных, вами самими устроенных, встречах.

Вы можете мне на это заметить, что всякий, приступающий к чтению такого серьезного по своему предмету историко-богословского труда, каков ваш, обязан по малой мере, помнить свой катехизис и его главу о браке; но в том-то и дело, что того сжатого изложения сущности и принадлежностей таинства брака, какое предложено в катехизисе, на этот случай оказывается точно так же слишком мало. Понятие о браке есть понятие сложное, в коем каждая составная часть имеет свое особенное, ей только принадлежащее, значение. Эти составные части суть: а) взаимное, непринужденное соизволение на брак жениха и невесты; б) согласие, при известном возрасте жениха и невесты, их родителей и в) священнословие или, по-нынешнему, венчание вступающих в брак в церкви. Так как взаимное соотношение сих моментов и их относительная важность были предметом суждения и жарких споров между представителями различных беспоповских обществ, коих воззрения излагаются в вашей книге, то объяснить ее читателю истинное значение этих моментов в составе брака и чрез то дать ему ясное руководство к оценке каждого из тех видов брака, с коими вы его знакомите, было, повторяю, вашею несомненною обязанностью. Без этого вашему читателю приходится или поверить вам на слово, когда вы говорите ему, что такой-то вид брака правилен, а другой неправилен, или же приняться самому за самостоятельное исследование предмета, или наконец остаться со своими неразрешенными недоумениями.

Равным образом вам, по моему мнению, следовало бы войти в ближайшее рассмотрение и некоторых других, к понятию об истинном браке относящихся, вопросов, как, например, о том, в какой мере для пра-

вильности брака необходимо: а) чтобы вступающие в правильный брак лица принадлежали к православной церкви и б) чтобы совершающие брак священнослужители были православны; ибо об этих двух условиях правильности бракосочетания в книге вашей предлагаются как от имени беспоповских писателей, так и от вашего лица разного рода мнения, одно другим взаимно не проверенные и потому ни к какому определительному заключению не приводящие.

Напрасно вы стали бы возражать на это, что единственная цель вашего сочинения заключалась в историческом изложении развития в беспоповщинском обществе учений о брачной тайне, и что затем собственно критически разбор того или другого из этих учений в состав вашей задачи вовсе не входил. Во-первых, я и не требую от вас подробной полемики с каждым из представителей беспоповщинских учений, а только установления ясной руководительной схемы брака, которая уже сама собою, без дальнейших с вашей стороны указаний, освещала бы вашему читателю тот путь, который вы заставляете его проходить если не в совершенных потьмах, то в весьма густых сумерках. А затем, если бы и действительно исключительное намерение вашего труда состояло только в историческом, чисто объективном, изложении возникавших в беспоповщинских согласиях учений о браке, то и в таком случае вам невозможно было бы, по моему мнению, обойтись без установления подобной схемы, не нанеся тем явного ущерба достоинству вашего сочинения. Значение какого бы то ни было исторического явления может быть понято и объяснено не иначе, как посредством сопоставления его с каким-либо высшим, над всем рядом однородных с ним явлений господствующим началом; в таком сопоставлении явления с его законом преиму-

щественно и выражается тот элемент суждения, который дает сочинению право на именование ученой диссертации (рассуждения) и при отсутствии которого оно неизбежно обращается в нестройную грудку — *rudis et indigesta moles* — фактов и данных, не связанных в одно целое никакою общею мыслью (идеей) и набросанных без порядка и плана, по русской пословице: «Клади в мешок — дома разберем».

К чести вашего сочинения нужно сказать, что оно вовсе не чуждается этого критического элемента, как вы усиливались, в явный себе ущерб, доказывать на диспуте г. Чельцеву и отчасти мне. Г. Чельцевым были прочитаны на диспуте несколько таких отрывков из вашей книги, из которых свидетели ваших с ним прений могли убедиться, что в суждениях своих о некоторых явлениях в жизни беспоповцев и их учениях вы не соблюли даже той меры спокойствия и беспристрастия, которая была бы обязательна не только для объективно-исторического, но и для чисто критического изложения предмета. Что элемент критики, к сожалению не упорядоченный и не опирающийся на строго приводимое начало, занимает в вашей книге очень заметное место, это не трудно доказать подлинными из нее выписками и ссылками на ваши положения, представляющие итог (далеко, впрочем, не полный) сказанного в книге.

На стр. 11 выпуска I, говоря о браках, которые совершались в обществе отделившихся от церкви ревнителей старого обряда на самых первых порах их отпадения, вы отзываетесь об этих браках таким образом:

«Так как на первых порах на стороне раскола было немало лиц священных, то, по всей вероятности, защитники старины без особых затруднений вступали в браки помимо православной церкви. И если мы возьмем во внимание всю малозначительность тех обрядовых раз-

ностей, исполнения коих раскольники требовали как не-пременного условия для правильности брака, то, кажется, не погрешим, если скажем, что браки раскольников, совершавшиеся по старопечатными требникам священниками, державшимися старых обрядов, сначала были браками в сущности дела правильными».

В этих словах, как вы сами, без сомнения, согласитесь, заключается не просто историческое изложение того, как совершался брак у раскольников в первоначальную пору их отделения от церкви, а также и суждение о нем как о браке, в сущности дела правильном, несмотря на то, что он совершался, как вы сами выразились, помимо православной церкви.

Второе положение ваше изложено в следующих словах:

«Иван Алексеев, автор книги «О тайне брака», признавая необходимым для заключения брака церковное венчание, понимал в то же время брак не как таинство, но как естественный, или по крайней мере гражданский, союз двух лиц разного пола, только неразрывный; он требовал венчания брака не по существу дела, а для соблюдения формы, и в этом случае показал себя истым раскольником».

О том же писателе на стр. 122—123 выпуска I вы говорите, что Иван Алексеев, этот «раскольник, которого мы привыкли считать жарким ревнителем старины и буквы, еще в первой половине прошлого столетия заговорил о браке, подобно современным нам ревнителям женской эмансипации».

Это уже не только суждение, но даже решительный приговор, несправедливость коего я постараюсь доказать при дальнейших с вами объяснениях.

На стр. 259 того же I выпуска, изложив учение о бессвященнословном браке руководителей общества по-

кровской часовни (поморцев) и сущность их полемики с федосеевцами, вы присовокупили от себя:

«Поморцы, довольствуясь для заключения своих браков благословением наставника-мирянина, хотя бы и соединенным с прочтением канона, апостола и евангелия и с пением молебна, очевидно, не придавали браку значения таинства, а смотрели на него просто как на гражданский союз».

Слова эти представляют не что иное, как ваш собственный вывод об учении поморцев, и потому точно так же относятся к области суждения, равно как и отзыв ваш на стр. 182 выпуска II о воззрении на брак федосеевского писателя 50-х годов нашего века казанца Филиппа Осипова, о котором вы выразились так:

«За исключением несчастного заблуждения, будто ныне уже последние времена мира и царство антихриста, будто церковь православная — церковь еретическая, все остальные рассуждения Филиппа Осипова верны и опираются на почву церковного предания».

На стр. 75 выпуска II, говоря о беспоповцах, которые в 40-х и 50-х годах нашего века венчались в православных и единоверческих церквях, без присоединения к церкви, по принуждению власти, и замечая при этом, что они поступали так «не по искреннему побуждению, но из страха, поневоле!» и что «таким образом, благословение церкви часто раздавалось людям, которые не только не уважали его, а напротив, положительно ни во что не ставили»; немного ниже, на стр. 80 того же выпуска, вы присовокупляете к сему, что «в прошлое царствование под влиянием разных обстоятельств учение о необходимости брака более и более усвоилось поморскою беспоповщиной и выражалось не только в форме бессвященнословных, или сводных брачных союзов, заключавшихся по благословению родителей и наставников, но и в виде

правильных браков, освящавшихся молитвами православных и единоверческих пастырей».

То есть, браки лиц, которые повенчаны в православном или единоверческом храме, хотя бы лица эти к истинной церкви и не принадлежали и даже ставили совершаемое над ними священнословие решительно ни во что, вы все-таки признаете правильными. Согласитесь, что и это — суждение; правильное или нет, об этом речь впереди.

Итак, не я, а точные выписки из вашей книги и ваших положений, которые я счел долгом привести в подтверждение своего первого возражения и к которому я буду постоянно возвращаться при дальнейших с вами состязаниях, несомненно свидетельствуют не только о некотором присутствии в вашей диссертации элемента критики (что, повторяю, вам было бы слишком невыгодно и отрицать), но даже о том, что ни один из видов брака, в вашем сочинении рассмотренных, не оставлен вами без вашего личного о нем суждения и критического отзыва о степени его правильности. А так как степень правильности того или другого вида брака определяется, по моему, конечно, и по вашему убеждению, большим или меньшим приближением его к понятию о браке, содержимому церковью, то обстоятельное и по возможности полное изложение того, в чем, по учению церкви, состоит самая сущность таинства брака, какое значение имеет, в частности, каждая из выше упомянутых составных частей сего понятия и какие вообще условия необходимы для правильного бракосочетания, входило, еще раз скажу, в круг несомненных обязанностей писателя, предлагающего обществу «исторический очерк раскольнического учения о браке». Такое изложение было бы в высшей степени полезно не только для вашего читателя, которому оно помогло бы в правильной оценке изображенных

вами явлений из жизни беспоповщинских обществ, но и для вас самих: оно должно было предостеречь вас от немаловажных ошибок и немалочисленных противоречий с самим собою и предотвратить ту сбивчивость терминологии, которая составляет характеристическую черту вашего сочинения.

II. Второе мое замечание касается вашего отзыва об учении Ивана Алексеева, о котором во втором положении, выше вполне приведенном, а также на стр. 122—123 выпуска I, вы выразились: будто бы он брак не признавал таинством, а смотрел на него как на естественный, или, по крайней мере, на гражданский, союз двух разного пола лиц, только неразрывный, и что, признавая священнословие необходимым не по существу дела, а только для формы, он явил себя истым раскольником и даже общником тех учений, которые проповедываются современными нам ревнителями женской эмансипации.

Этот отзыв я считаю, во-первых, неверным; во-вторых, оскорбительным для памяти деятеля, которого, несмотря на его религиозные заблуждения, мы не можем не уважать как восстановителя в обществе беспоповцев попранного ими начала семейной жизни; в-третьих, несогласным с вашими собственными словами о характере учения и деятельности Ивана Алексеева, сказанными в другом месте вашей книги.

Вы говорите, что Иван Алексеев считал брак не таинством, а естественным или гражданским союзом; но во всей вашей книге, исполненной многоразличных выписок и ссылок, я не нашел ни одного подлинного слова Ивана Алексеева о том, чтобы он сам предлагаемый им брак не считал за таинство и чтобы в замену бывшего в Христовой церкви таинственного союза мужа и жены, во образ союза Христа с церковью, он предлагал новый, им самим вымышленный, брак естественного или граждан-

ского характера. И я беру на себя смелость утверждать, что такого отзыва о браке, сделанного от лица самого Ивана Алексеева, вы не отыщете во всем обширном его сочинении, и что ваши слова представляют таким образом не им самим формулированное учение о брачном союзе, а вами за него сделанный вывод из его соображений, за правильность коего ответственность лежит исключительно на вас.

Данные, из которых сделан вами этот вывод, собраны во 2 главе I выпуска вашего сочинения; позвольте вас пригласить рассмотреть их вновь вместе со мною и затем рассудить, приводят ли они необходимо к тому заключению, на котором остановились вы, или есть возможность, не выходя из их круга, прийти к иному, даже совершенно противоположному выводу. При этом чтобы прямее и ближе подойти к решению занимающего нас вопроса, начнем с рассмотрения того, чем, собственно, вызвано было знаменитое сочинение Ивана Алексеева «О тайне брака» и какой потребности беспоповских обществ соответствовала его главная мысль.

После приговора Московского собора 1666—1667 гг. и по наложении им на последователей старого обряда нерешимых и безвозвратных клятв, коими было утверждено и запечатлено конечное отлучение старообрядцев от общения с церковью, та часть раскола (беспоповщина), о которой у нас речь, пришла, как известно, к такому убеждению, что «существующее время, со всеми обстоятельствами, самое последнее», что в мире воцарился уже противник Божий, и св. церковь «без вести бысть»; что вместе с гибелью благочестия исчезло и правильное священство и что «за рассыпанием руки освященных» не может быть и совершения установленных церковью тайн. Исключение было допущено ими только для двух из семи таинств: крещения и покая-

ния, которые по нужде могут совершаться, по их мнению, и без священства, простецами. На этом основании они провозгласили учение о безусловной невозможности совершения в их обществе брака и о всеобщем обязательном девстве, и не только не допускали брачного сочетания между лицами, принадлежавшими к их согласию изначала, но даже и обращавшихся к единомыслию с ними супругов, венчанных в церкви, разводили, по их выражению, «на чистое житье».

Вот против этого-то мнения начальных беспоповских учителей* и выступил сперва со своей устной проповедью, а потом и со своею книгой, Иван Алексеев, возмущенный до глубины души теми последствиями, к коим неизбежно должно было привести и действительно привело беспоповцев учение о принудительном девстве или, лучше сказать, безбрачии, и стал учить, что к допущенным уже всеми беспоповцами изъятиям относительно крещения и покаяния следует присоединить новое исключение в пользу таинства брака: ибо, вопреки мнению прежних учителей беспоповского толка, и брак, точно так же, как крещение и покаяние, может, по его мнению, быть вполне правильно (в виде таинства) совершаем при безусловном отсутствии на земли правильного священства. Я не вхожу здесь в рассмотрение того, правильно ли было воззрение Ивана Алексеева, так как у нас пока не о том речь. Ведь и та мысль беспоповцев, что они имеют право совершать без священника таинства крещения и покаяния, не может быть признана справедливою; тем не менее, никто не решится на этом основании утверждать, что беспоповцы не считают крещения и покаяния церковными тайнами; если бы не считали, им незачем было

* Впрочем, и между первоначальными наставниками беспоповского согласия были люди, признававшие необходимость брака и семьи, как, например, Вышатин и Феодосий Васильев, родоначальник нынешних бракоборцев (прим. Т. И. Филиппова).

бы их и совершать. А потому можно опровергать как их учение о способе совершения крещения и покаяния, так и понятие Ивана Алексеява о сущности и условиях правильного брака; но из-за этого приписывать ему воззрение на брак как на союз естественный или гражданский, чуждый благодатного таинственного освящения, значит внести в заключение то, чего не дано в посылках.

Иное дело ошибочно думать о таинстве, и иное отвергать его: разность в степени и характере того и другого заблуждения очевидна и при том весьма значительна. Например, латинская церковь неправильно мыслит и учит о совершении таинства евхаристии, допуская опресноки, лишая мирян чаши и отступая от издревле хранимого в церкви предания о самом времени пресуществления даров; между тем, никто вследствие сего не скажет, что эта церковь не признает евхаристии за таинство и что она отвергает самое пресуществление, как кальвинисты.

Поповское согласие сманило к себе в 1846 году недостойного православного митрополита, и способами, всем известными, восстановило в своей среде, через сего странного священноначальника, высшую иерархическую степень, которой ему недоставало и которая явилась источником нужного для сего согласия священства². Одной минуты беспристрастного размышления достаточно, чтобы признать неправильность такой нечаянно возникшей иерархии; но никому, однако, не придет на мысль выводить из этого, что поповцы считают рукоположение не таинством.

Что Иван Алексеяв сам почитал предлагаемый им брак за таинство, тому свидетель вся его книга, начиная с ее заглавия: «О тайне брака». Весь подвиг его жизни и все намерение его ученого исследования в том только и состояли, чтобы обществу беспоповцев, которые потому единственно и отвергали брак, что он, по их мнению, не

может быть совершен без правильного священства, доказать, что, напротив того, и при отсутствии истинного священства вполне возможно совершение брака как таинства. Именно: брака как таинства; ибо что касается гражданского брака, то и говорить нечего, что он может быть совершен без священника: тут нечего было бы и доказывать, и не надо было бы предпринимать тех дальних странствий и усидчивых книжных изысканий, на которые обрек себя еще с отроческого возраста Иван Алексеев. И способ доказательств, и самый источник их был бы в таком случае иной: зачем бы Ивану Алексееву, если б он вздумал предлагать брак гражданский, искать подтверждения своей мысли в Большом Катехизисе или в Кормчей, где ни о каком другом браке, кроме признаваемого церковью, следовательно, таинственного и благодатного, не может быть и речи? Зачем ссылаться на Дионисия Ареопагита и на свидетельства ветхозаветной и новозаветной истории? Да и кому бы стал он предлагать гражданский брак? Обществу, которое все условия своей жизни определяло началом религиозным или церковным и которое одной минуты не потратило бы на разговор о браке гражданском, ни на что ему не нужном? Ведь вы сами же говорите в положении 3-м, что искание выговскими поморцами в первой половине прошлого века, архиерея на востоке было вызвано главным образом вопросом о браке. Не ясно ли из этого, какой брак, освященный или гражданский, был нужен беспоповскому согласию? Все дело в том, что Иван Алексеев путем своих изысканий дошел до такого заключения, что сущность таинства брака состоит не в священнослужении, совершаемом в церкви иереем, а инде, именно: во взаимном соизволении, или как он выражается, «в любовных слогах» жениха и невесты, а также в согласии на брак их родителей (до известного возраста брачующихся), и в том первоначаль-

но изреченном Божиим глаголе: «да будет два в плоть едину». Церковному же священнословию, надобности в коем он, впрочем, нисколько не отвергал, Иван Алексеев придавал значение второстепенное, как действию, коим выражается, с одной стороны, общественное признание совершаемого брака, с другой, обязательство вступающих в брак пред обществом хранить брачный союз неразрывно и честно. «Трети, — говорит он, — согласии составляется брак: согласиём родителей, согласиём жениха и невесты и согласиём общенародным».

Каким же путем дошел Иван Алексеев до такого заключения? Во-первых, в разных учительных книгах он нашел, как говорите вы сами³, такие определения брака, в которых не говорится о существенном значении для него пресвитерского венчания и в которых, по-видимому, подается та мысль, что единственным основанием брака служит первоначальное Божие благословение, данное в лице Адама и Евы их потомкам, и затем взаимное согласие желающих вступить в брак, выраженное словами перед свидетелями; Так, в Большом Катехизисе на вопрос: «Что есть брак» дается такой ответ: «Брак есть тайна, ею же жених и невеста от чистыя любви своя в сердца своем усердно себе изволят и согласие между собою и обет сотворят, яко производительно, по благословию Божью, во общее и неразделимое сожитие сопрягаются: яко же Адам и Ева, прежде падения и без плотского смешения, прав и истинный брак иместа; и есть сопряжение мужа в жены в законном чину, в сожитие нераздельное, иже от Бога приемлют особне сию благодать, дабы дети добре и христиански родили и воспитали и да соблюдутся от мерзостнаго блудного греха и невоздержания».

А на вопрос: «Кто есть действительник тайны брака», в том же Катехизисе дается такой ответ: «Первое убо сам Бог, яко Моисей боговидец пишет: и благослови я

Господь Бог, глаголя: «раститесь и множитесь и наполняйте землю, и обладайте ею», еже и Господь в Евангелии утверждает, глаголяй: «яже Бог сочета, человек да не разлучает». Посему сами брачующиеся сие себе тайну действуют, глаголющее «аз тя посягаю в жену мою, аз же ты посягаю в мужа моего: аки сам кто продается, сам есть вещь и купец, сие и в сей тайне сами себе продаются и предаются оба себе купно в сию честную работу».

С другой стороны, Иван Алексеев несущественное в составе таинства брака значение священнослова выводит из того соображения, что церковь во все времена принимала супругов, приходивших в ее лоно от ересей, иудейства, даже от язычества, не совершая над ними таинства брака и сожития сих супругов, равно как и деторождение их, всегда признавала благословенным и не имеющим нужды в каком-либо восполнении, наравне с браком, совершенным в церкви, и с деторождением, от церковного брака последовавшим, и таким образом браку, заключенному не только в еретическом обществе, но даже и вовсе вне христианства, усвояла известную священную силу.

«Все святых апостолов и святых отец правила, — пишет Алексеев, — и всея святых церкви обычаи и истории свидетельствуют, елико приемляху браки от еллин, еликия от еретик, якоже в введении и невведении, все равно в церковь неповторно, не разведше, приемляхуся; зри, колико быша сего во дни арианства, во дни единовольных еретик, во дни иконоборства, егда все грады, все страны в то принуждахуса: обаче ни единая история не помяне, чтобы браковенчания в тех еретиках праввернии или повторялися, или не принималися»⁴.

«Видим, — пишет он в другом месте, — яко поеллински, яко по-жидовски, такожде по еретически браки восприявше, церковь Божия равно в приятии поступает,

о чем весь народ христианский, пришедый от оных в познание истины, свидетельствует наши словеса не ложна быти. Аще же кои в познавше свет евангельского разума и потом случаем каким либо браковенчашася в еретиках, и тако браковенчанно паки со женами возвращахуся к соборной церкви, не разведше, ниже второвенчанно в соборную приимахуся церковь, и не токмо приимахуся таковии, но и призывахуся»⁵.

Наконец, в другом еще месте своего сочинения Алексеев говорит:

«Тайна брака не так от церковного действия силу имать, как от Божияго оногo содетельства и Божих оных словес... Посему церковь неразнственнo все браки имяше... И от всякого языка, аще от еллин, не знающих Бога, аще от жидов и аще от еретиков праходящия со своими их браки приемлет в том же действе, точию бы в них было законно по коегождо обычаю совокупление. *Прочия же тайны, кроме сея единыя, святая церковь не приемлет*»⁶.

Прошу вас вникнуть в последние, курсивом напечатанные, слова: неужели из них неясно, что Иван Алексеев не исключал брака из числа седми церковных тайн, а напротив, считал его именно одною из этих тайн, но только находил в ней известную, выше объясненную, особенность?

И так все, что вы могли бы с некоторым правом сказать об учении Ивана Алексеева на основании вами же самими приведенных данных, не простирается далее следующего: что он брак понимал как одно из богопреданных церковных таинств, но заблуждался лишь в определении его сущности и в уменьшении того значения, которое в составе брака принадлежит собственно иерейскому венчанию. Я сказал: «с некоторым правом», ибо и это заключение, уже далеко не столь

для Ивана Алексеева предосудительное, потребовало бы доказательств, которые должны были бы состоять в опровержении всех приведенных им в подтверждение его мысли доводов; а между тем этого опровержения в вашей книге нет.

Мало того. Если говорить строго, то вы, именно вы, не имели настоящего права сделать даже и такой отзыв о сущности учения Ивана Алексеева. Почему вы предлагаемый им брак считаете не только неправильным, но даже вовсе исключаете его из ряда таинств? Собственно, потому, что Иван Алексеев, полагая сущность таинства не в священнословии, обращался за ним к той церкви, которой сам не признавал истинною, между тем как такое, не в истинной силе, а только условно и с ограничением приемлемое священнословие, совершаемое священником иноверным, таинства составить очевидно не может. Но если так, то позвольте вас спросить: на каком же основании вы считаете, что браки раскольников, совершавшиеся (на первых порах их отпадения) помимо православной церкви священниками, державшимися прежних обрядов, были браками, в существе дела правильными?⁷

Чем же эти браки правильнее тех, которые заключались по учению Ивана Алексеева? Между ними общее то, что и там, и здесь в брак вступали раскольники, то есть люди, за оградой св. церкви стоящие и, следовательно, действительного участия в ее таинствах принять неспособные; разность же в том, что браки совершались и священниками, от церкви отлученными, между тем как браки Ивана Алексеева благословлялись священниками православными. Таким образом, разность обращается еще в пользу учения Ивана Алексеева. За что же вы к нему столь безмерно строги, тогда как к заблуждениям более важным являете столь же безмерное снисхождение? Собственными силами согла-

сать эти противоречия я не мог, и буду с нетерпением ожидать ваших объяснений.

Но верх несправедливости по отношению к Ивану Алексееву составляет сделанное вами приравнение его учения к учениям современных нам ревнителей женской эмансипации⁸.

Стремления этих ревнителей, как известно, состоят в том, чтобы в вопросе о союзе между лицами разного пола их личному чувству и влечениям предоставить полную и ничем не ограниченную свободу не только до вступления их в этот союз, но и по заключении оного: пока обоим вступившим в такой союз лицам нравится жить вместе, они живут; как скоро одному из них перестало это нравиться, он может с правом искать нового союза, столь же мало для него обязательного, как и первый, и так далее, смотря по темпераменту, до третьего, седьмого, двадцатого, сотого, без малейшего при этом помышления и заботы о нравственном состоянии и внешней судьбе покидаемых им лиц и даже прижитых с ними детей. Один из самых известных и наиболее обаятельных типов последователей сего учения представлен в романе Жорж Занд «Лукреция Флориани», именно в образе этой самой Лукреции. Что же она такое? Эта женщина, еще в цвете лет и в полном блеске своей красоты, является в начале романа окруженною четырьмя малютками, рожденными ею от четырех еще живых отцов, преемствовавших друг другу, и затем вступает в связь с пятым любовником, развитие коей и составляет содержание романа. Правила, которыми она руководствовалась в своих сближениях с отцами своих детей, состояли в том, что она никогда не отдавалась без увлечения. Об одном из своих бывших друзей она выражается так: «Я его прогнала».

Потрудитесь же примирить к этой схеме отношений между полами учение Ивана Алексеева и скажите,

что вы нашли между ними общего? Разве не сами вы нарисовали нам так живо чистый нравственный образ этого деятеля, который еще в детском возрасте стал ощущать безобразие нравов своего общества и, едва переступив черту отрочества, отправляется уже за решением возбужденного в его уме томительного вопроса в далекие и трудные странствия, предлагает свои недоумения на рассмотрение знаменитым наставникам своего согласия и предается неутомимым исследованиям всех доступных ему книжных источников, в надежде почерпнуть оттуда убеждение в вечном пребывании тайны брака; наконец, по достижении своей цели, остается сам непричастным браку, конечно не гнушаясь им, но отстранив тем всякое подозрение в своекорыстии своей проповеди? И все это при цветущей молодости, красоте, обширном уме и познаниях и в высшей степени приятном нраве, наконец, при громкой известности, одним словом, при всевозможных благоприятных условиях для заключения брака.

Что же, повторяю, здесь общего с учениями и действиями современных эмансипаторов женщин? И не вы ли сами, говоря о браке Ивана Алексеева, заметили, что он почитал брак союзом хотя и гражданским только, или естественным, но, во всяком случае, неразрывным? Да что же вооружает эмансипаторов такою непримиримую ненавистью к церковному браку, как не его неразрывность? Все остальное, т. е., то, что он совершается в церкви и благословляется священником, хотя тоже не нравится эмансипаторам; но на эту сторону они смотрят гораздо легче, как на предмет, не имеющий большого значения, как на малостоящую дань суеверию и общему невежеству. Главный же порок церковного брака состоит, по их мнению, именно в его неразрывности, с которою у них и не может быть мира.

Уж если вам непременно хотелось параллели между учением женских эмансипаторов и беспоповских наставников, то мне странно, как вы не остановились на ком-нибудь из федосеевцев, например на Илье Алексеевиче Ковылине? Тут сходство по крайней мере в отношении к образу действия весьма близкое; и вся разница, мне кажется, в том, что федосеевцы грешат, но каются, а последователи эмансипационных доктрин делают то же самое и этим гордятся, так что их можно бы, пожалуй, назвать некаяущимися федосеевцами. Близость этого сходства давно уже замечена, и я знаю, что она кидается в глаза людям с простым, но ясным взглядом на вещи. Я помню давнюю в Москве происходившую беседу, в которой одним юным последователем Жорж Занд развивалось с большим жаром и увлечением учение о женской эмансипации и по окончании которой один из присутствовавших (московский купец) кратко, но выразительно заметил: «Понимаем! Это, значит, по Илье Алексеевичу»!

Сказанного доселе, я полагаю, достаточно для того, чтобы подтвердить мою выше выраженную мысль о неверности и несправедливости по отношению к Ивану Алексею вашему отзыве о свойстве предлагаемого им брака; остается показать, что этот отзыв противоречит вашим же собственным словам о том же предмете. А для этого довольно будет, как я думаю, сослаться на стр. 149-ю выпуска 1-го вашей диссертации, где говоря о действии проповеди Ивана Алексея на беспоповское общество, вы выразилась так:

«Потому ли, что учение защитников всеобщего девства со всеми основаниями, на которых оно утверждалось, будучи сопоставлено с учением Ивана Алексея о браке, являлось в глазах людей непредубежденных и беспристрастных слишком натянутым и фальшивым,

или потому, что нужда брачного сожития слишком живо чувствовалась невольными девственниками вследствие господствовавшего в среде их разврата, — только все, что было в беспоповщине более честного и способного на принятие слова истины, стало на сторону Ивана Алексеева и готово было воспользоваться его советами в устройении своей жизни».

Каким же дивом слово истины оказалось на стороне Ивана Алексеева, который, по вашему мнению, признавал брак не за таинство, а за гражданский союз, сходился в своем воззрении на брачный союз со взглядами ревнителю женской эмансипации и в этом именно пункте своего учения явился, как вы выразились, «истым раскольником»? Слово истины и гражданский брак! Слово истины и эмансипация женщин! Слово истины и истый раскол! Наес non соhaerent.

«Странная некая влагаеши во ушеса наши» — скажу я с древними Афинянами и в недоумении своем, из которого сам выйти не умею, взываю к вам их же словами: «да слышим тя паки о сем».

III. Третье возражение мое относится к вашему заключению о бессвященнословном браке, который введен был в среду беспоповского согласия наставником покровской часовни Василием Емельяновым, и который вы считаете (положение б) в сущности одинаковым с браком Ивана Алексеева и только по форме представляющим «новый шаг на пути удаления раскольников от церковного предания». Изложив сущность учения наставников покровской часовни и главные черты их полемики с федосеевцами, вы остановились на следующем заключении об относительном достоинстве учения того и другого толка.

«Если, — говорите вы, — смотреть на дело относительно к тем следствиям, к коим приходили

федосеевцы и поморцы, то нельзя не сознаться, что преимущество остается на стороне первых. Федосеевцы в понимании брака стояли на строго церковной почве и признавали брак таинством, которое может совершить только пастырь церкви; между тем как поморцы, довольствуясь для заключения своих браков благословением наставника-мирянина, хотя бы и с прочтением канона, апостола и евангелия, с пением молебна, очевидно, не придавали браку значения таинства, а смотрели на него просто как на гражданский союз. Но если обратить внимание на те отклонения от нравственных начал, к которым неизбежно вели различные воззрения на брак федосеевцев и поморцев, в таком случае невольно приходится стать на сторону последних, потому что сожителство с одною избранною женщиною, хотя бы только на основании одного гражданского союза все же лучше и выше блуда с переменными любовницами»⁹.

Здесь повторяется вами та же самая ошибка, которую вы допустили в своем отзыве об учении Ивана Алексеява и которая мною рассмотрена уже с достаточною подробностью. И Василию Емельянову с его последователями, как выше Ивану Алексееву, вы приписываете взгляд на брак не как на церковное таинство, а как на естественный или гражданский союз. А между тем достаточно раскрыть наудачу любую страницу Каталога, или же Исторического словаря Павла Любопытного (с которыми, замечу, вы так часто справлялись), чтобы найти там ясное опровержение вашего отзыва и положительное подтверждение той мысли, что наставники покровской часовни признавали брак именно таинством, и притом таким, коему суждено сохраниться в церкви (церковью они почитают, разумеется, свое согласие) до кончины века.

Так, например, исчисляя в своем Каталоге* сочинения поморского учителя Ивана Филиппова, Павел Любопытный седьмым, по своему счету, его произведением показывает: «Ясное, убедительное и духом благочестия дышащее показание или врачество злочестивым бракоборцам, уверяя их и Духом Божиим, гласящими везде: что законный брак в Христовой церкви (а не гражданский, как вы говорите) будет существовать вечно, и он совершаться может навсегда свято (т. е. как священное таинство) единым того существом, кроме хиротонии (будучи предмет случайной принадлежности) и благословением сопрягающихся родителей».

В том же самом Каталоге** в числе творений Гавриила Ларионовича Скочкова под числом 2-м показано: «Трогательное и живое, духом убеждения в Христовой любви исполненное увещание к грубым федосианцам и филипповцам о явном их заблуждении в бракоборстве: что сия тайна во Христовой церкви вечно иметь пребывать, доколе мир сей существует, и что она может совершаться свято (заметьте, опять свято, следовательно, как таинство) хиротонии».

Итак, нет сомнения, что учителя и последователи покровской часовни проповедовали и учили о браке как о церковной тайне и уверяли только, что это таинство может быть совершено без священника, собственным своим существом (то есть, взаимным изволением жениха и невесты) и благословением родителей лиц, вступающих в брак. Вот пункт, на котором вам предстояло вступить в борьбу с писателями покровской часовни и который вы, однако, обошли, не дав битвы. А между тем в приведенных вами самими цитатах из сочинений покровских

* По рукописному списку, принадлежавшему Валентину Федоровичу Серебренникову, лист 41 обор. (прим. Т. И. Филиппова).

** Тот же самый список, лист 32 (прим. Т. И. Филиппова).

учителей вам сделан был вызов самый решительный, так что ваше уклонение от полемики (чем бы вы его ни извиняли) производит впечатление, для вашего сочинения не совсем благоприятное, тем более, что вы не просто умалчиваете об этом вопросе, а позволяете себе отвергать вывод покровцев, не дав себе труда опровергнуть предварительно те доказательства, на коих этот вывод основан.

На стр. 242-й выпуска 1-го вашего сочинения читается, между прочим, следующее место:

«К свидетельству св. Дионисия* поморцы присовокупляли свидетельства Матвея канониста и Севаста Арменопула¹⁰, из которых (говорите вы) будто бы видно, что даже в IV веке, при Василии Великом, браки заключалась без священнословия: «Матвей канонист, писал Скочков, в гл. 8-й, в толковании 38-го правила Василия Великого, явственно показывает, яко тогда упоминаемые им браки кроме всякого священнословия состояшася. То же и Севаст Арменопул в книге 8-й объясняет, яко тогда с соизволением, а не с священнословием, браки состояша, но зазрения ни от правил ни от закона, ни от кого не бывало».

Вы сказали: «будто бы видно», — стало быть, сами такого мнения, что ни из Матвея канониста (порусски — правильника, по прозванию, Властаря¹¹), ни из Севаста Арменопула, вовсе видно, чтобы было когда-либо такое время, когда бы браки совершались единым соизволением, без священнословия. А между тем Скочков совершенно прав, и ссылка его, по крайней мере, на Матвея Властаря (Арменопула я не имею под рукою) совершенно верна и находит себе подтверждение в других церковных писателях, на которых Скочков не сослался, вероятно, по незнанию.

* Дионисия Ареопагита, на коего ссылается в подтверждение своей мысли и Иван Алексеев (прим. Т. И. Филиппова).

38-е правило св. Василия Великого, о изъяснении коего Матвеем Властарем идет речь, содержит в себе следующее постановление:

«Дочери, без воли отца последовавшие, блудодействуют, если же родители примирятся, то дело приемлет исцеление; не прямо же восстанавливаются в общение, но да будут под епитимиею три года».

Толкуя это правило, Матвей Властарь говорит:

«38-е Великого Василия правило: подвластных (по возрасту, родителям) дочерей, которые мимо воли своих отцев предали себя любовникам в общение брака, судить, как блудниц. Но если бы, говорит, родители с ними помирились и сожитительство их с любовником и растлителем приняли, то сначала бывшее незаконным чрез последующее соизволение родителей должно (по мнению св. Василия) исправиться (на условии трехлетней епитимии). Но тогда единым соизволением брак составлялся; в наше же время он без священнослова не состоялся бы».

Еще яснее, в том же самом смысле, выразился об этом другой знаменитый истолкователь священных правил, Феодор Вальсамон, при изъяснении того же 38-го правила св. Василия Великого. Сказавши, что, в случае примирения родителей с дочерьми, предавшими себя в общение брака без воли родителей, бывшее сначала зло исправляется последующим соизволением родителей, так что блуд переходит в брак и что это последующее соизволение делает брак правильным, Вальсамон присовокупляет к этому:

«Но это, как мне кажется, имело место (собственно, в то время), когда брак составлялся единым соизволением. Ибо ныне, когда он совершается с священнословием, если бы родители и изъявили согласие, брак с священнословием не последовал бы ранее истечения трехлетней епитимии».

Итак, ваше «будто бы» решительно не удалось, и Скочков имел, как вы видите, полное право утверждать, что, по свидетельству Матвея канониста, во время св. Василия Великого «браки кроме всякого священнослужения состояшая». Свидетельство Матвея подтверждается (кроме Севаста Арменопула, на которого ссылается Скочков тоже, можно думать, не без основания) древнейшим сравнительно свидетельством наиболее уважаемого и обстоятельного толковника церковных правил, сперва номофилакса и хартофилакса Великой церкви, а впоследствии патриарха антиохийского Феодора Вальсамона¹², и оба эти свидетельства весьма замечательны по своей форме: ни Вальсамон, ни Матвей Властарь, как вы, вероятно, заметили, вовсе и не усиливаются доказывать, что в прежние времена брак составлялся без священнослужения, а указывают на это с совершенным спокойствием и твердостью как на общеизвестный в их время факт, в достоверности которого не было ни малейшего сомнения.

Таким образом, Скочков на основании приведенных им свидетельств ставил перед вами и вообще перед нашею богословскою наукою следующее ученое положение:

«Если в истории истинной Христовой церкви действительно было такое время, когда вполне правильные, в смысле церковном, браки составлялись единым соизволением, без священнослужения, а между тем такого времени, когда бы брак в церкви не почитался за таинство, никогда не было, то отсюда вывод ясен, и вопрос о безусловной невозможности брака, как таинства, без священнослужения решается отрицательно».

И на этот вопрос наша наука, по крайней мере от вашего лица, не предложила не только вполне удовлетворительного решения, но даже вовсе никакого ответа, если не считать за ответ ваше косвенное «будто бы». А

между тем, это был пункт для генерального сражения; здесь требовалась вся ваша ученая энергия, чтобы доказать (если только доказать это вы считаете возможным), что священнословие не только теперь, но и во все времена христианской истории составляло существенную и необходимую сторону таинства брака. Если же этого доказать нельзя, то вам предстояло, по крайней мере, объяснить вашим читателям, когда и при каких условиях введено в церкви священнословие брака, почему оно сделалось необходимостью и каким образом, по введению священнословия, в него было перенесено, так сказать, средоточие брачного таинства, причем, брак в наше время без священнословия и состояться не может... как говорит Матвей канонист.

Вы этого не сделали; не знаю, сделал ли за вас кто другой. Думаю, что нет. А до тех пор, пока этого не сделано, вы не имели, по моему мнению, никакого права не только приписывать наставникам покровской часовни воззрение на брак как на естественный или гражданский союз (что во всяком случае останется несправедливым), но даже считать предлагаемую им схему брака неправильною. Иное дело мы, то есть, лица, не писавшие об этом предмете ученых исследований: с нас довольно знать, что церковь в наше время не знает и не предлагает верным иного брака, кроме священнословного. И как, по выражению св. Феофилакта Болгарского, «почивает веровавший от иудей, егда слышит яко от Давида есть Христос», так и нам, пребывающим в общении и послушании церкви, достаточно знать, что церковь учит так, а не иначе, чтобы не искать другого брака. Но вы не просто верующий член церкви; вы — ученый исследователь, по доброй воле избравший предмет своего ученого труда раскольническое учение о браке и, следовательно, обязанный отвечать достойным

науки образом на всякое, а тем более на столь важное, приращение противных учений. Вывод из вышеизложенного для нашей науки не совсем лестный. Но я покаюсь перед вами, что он доставляет мне не одно огорчение. Меня всегда возмущало наше легкомысленное отношение к ученым исследованиям раскольнических писателей, которых мы, с легкой руки Феофана Прокоповича¹³ привыкли обзывать огулом «тупыми и грубыми сумасбродами, и единой части христианского исповедания не знающими, но токмо обманом простого народа чреву своему служащими, сущими атеистами, прямыми безбожниками»* и которые между тем не редко удивляют беспристрастных читателей обширную начитанностью и необыкновенным прилежанием в своих изысканиях, которые, прибавлю, того же самого Феофана (в вопросе о поливательном крещении, по поводу коего он их и наградил исчисленными эпитетами) умели поставить *au pied du mur*¹⁴, обличив его неправильное мнение о равночестии поливательного и погружательного крещения непрерываемыми свидетельствами о постоянном хранении в церкви исключительно погружательного способа крещения. Мне всегда казалось, что с раскольников будет и того, что они вытерпели в течение 200 лет от направленных на них карательных мер в области жизни гражданской и общественной; науке же, как бесстрастному судилищу истины, не приемлющей лица, неприлично идти по следам страстей и узких практических воззрений; на ее суде нет ни раскольника, ни еретика, а есть только их мнения, с которыми она и должна ведаться в мере своих сил. Справедливость в суждениях и отзывах — это **minimum наших обязанностей** по отношению к противникам. И потому настоя-

* Истинное оправдание правоверных христиан, крещением поливательным во Христа крещаемых. 1724 г (прим. Т. И. Филиппова).

щий урок, данный в вашем лице всем нам, я считаю не бесполезным.

IV. В вашем 5-м положении выражена та мысль, что учение Ивана Алексеева о браке могло найти себе последователей среди беспоповцев, только благодаря тому обстоятельству, что в первой половине прошлого столетия некоторые православные причты решались, по разным побуждениям, нарушать закон о венчании раскольников не иначе как после предварительного присоединения их к церкви и по новоисправленным требникам.

Закон, о котором вы здесь говорите, выражен в двух указах Святейшего Синода, последовавших в 1722 году, 15 мая и 16 июля, из коих в первом сказано: «В брачных раскольников с православными сочетаниях лице раскольничье православному сопрягаемое, первое да примет церкви святой обещание с присягою; обоих раскол держащих лиц не венчать»; а во втором: «Раскольники, ежели похотят детей своих венчать от православным иереев, и таковых православным иереям венчать по чину церковному и по новоисправленным требникам, как и прочих православных, точно брачующихся обязывать присягою и сказками, что им впредь расколу не держать, но быть в содержании правоверия твердым и с раскольниками никакого согласия не иметь» и т. д.

Эти указы, подтвержденные еще новым Указом 21 марта 1736 года, преграждали последователям Ивана Алексеева путь к совершению приемлемых ими браков: так как они искали бракосочетания в православных церквях вовсе не с тем, чтобы войти в соединение с церковью, а единственно для удовлетворения потребности, которая средствами их собственного согласия удовлетворена быть не могла, и при этом ставили непременно

условием, чтобы священнослужение брака совершалось по древнепечатным (иосифовским) книгам¹⁵.

«Но, к радости Алексеева и его последователей, — замечаете вы, — в то время, когда издавались указы с предписанием венчать раскольников не иначе, как по церковному чину и новоисправленным требникам и по присоединении их к православию, между православным духовенством было немало лиц, который считали распоряжения власти, чего бы они ни касались, не для них писанными, или, по крайней мере, за пенязи¹⁶ готовы были нарушать их при всяком удобном случае».

Что этот отзыв не есть клевета на православное духовенство первой половины прошлого века, а сущая правда, тому доказательством приводится у вас упорное неисполнение духовенством всех епархий (кроме Московской и Нижегородской) Высочайшего указа 1716 года «О сборе во всем государстве штрафа с неисповедавшихся и о переписи и обложении раскольников двойным окладом против их платежей». Упорство это доходило до того, что, несмотря на новое подтверждение об исполнении этого указа от имени Синода и Сената, к концу того же 1716 года потребовался новый подтвердительный указ Святейшего Синода «о присылке надлежащих бородачам и раскольникам ведомостей», и что за всем тем по всем этим указам «достодолжного исполнения не учинено».

Прежде всего, позвольте вам заметить, что сопротивление этим и тому подобным указам со стороны епархиальных духовных проистекало не из одного корыстного потворства раскольникам, а также и из прямого сочувствия части тогдашнего духовенства к старообрядчеству, о чем и сами вы свидетельствуете (Вып. I, стр. 154 и далее), так что влияние пенязей в этом деле едва ли справедливо ставить на первый план. Затем, об-

ратите внимание на содержание и цель указа, от исполнения коего устранилось духовенство: взимать денежный штраф с лиц, не бывших на исповеди. Положим, что Петру I, как вы справедливо замечаете, нужно было много денег на флот, на шведскую войну, вообще на его преобразования; но не могло же нравственное чувство строителей тайн Божиих не смущаться тем, что одна из сих богопреданных и священнейших тайн была поставлена в такое неприличное и оскорбительное соприкосновение с фискальными целями государства. До какой степени живо чувствовалась в народе неестественность этой связи между святыней и налогом, можно заключить из того, что устранение оной было одною из первых забот старообрядцев, пришедших впоследствии, во времена Екатерины II и Павла I, к сознанию необходимости воссоединения с церковью. Статья 13-я прошения, поданного самими старообрядцами митрополиту Платону и послужившего основанием ныне существующему единоверию, состоит в следующем требовании:

«При старообрядческих церквях иметь троючастные книги; но во время святых постов, если кто из старообрядцев, по каковым-либо встретившимся обстоятельствам, на исповеди и у причастия св. тайн не будет, таких ко взысканию с них штрафных денег не выписывать, а о том никуда не представлять, но да судят о том духовные их отцы по священным правилам. Если же кто, по нерадению, или пренебрежению, или другим незаконным причинам, уклоняться будет от оных святыни, таких записывать в особые книги и наказывать епитимию и другим духовным исправлением».

Относительно сего требования митрополит Платон, представляя свои предположения об учреждении единоверия на усмотрение Святейшего Синода, дал от себя такой отзыв:

«Хотя на сию статью и можно согласиться, но как штрафные деньги собираются в казну, то сие зависит от благоусмотрения Святейшего Синода. А если б и все православные от одного денежного штрафа были освобождены, а наказуемы б они были за духовное преступление духовными епитимиями, сие бы сходственное было с духовным прегрешением».

Далее, нельзя оставить без внимания и того обстоятельства, что переписывать «бородачей» приходилось людям, которые сами носили бороду. И если даже теперь, через 150 с лишком лет, это странное преследование почтенного народного обычая представляется напрасным и оскорбительным насилием, которому так и хочется противопоставить по крайней мере строгость запоздалого исторического осуждения, то каково же было современникам той эпохи, когда гонимые властью особенности народного обычая получили значение символа, и в особенности тем из них, которые, как, например, духовные лица, принуждались к участию в этом преследовании?

Итак, хотя ваши показания о недостатке усердия местного духовенства первой половины прошлого века к исполнению означенных указов вовсе не клевета; но в них есть, по моему мнению, во-первых, та ошибка, что «пенязям» отведено в этом деле слишком видное место, а во-вторых, явное преувеличение в том, будто бы духовенство того времени считало не для него писанными все распоряжения власти, чего бы они ни касались. Чтобы доказать это последнее положение, вам нужно было бы привести какие-либо новые данные. Из тех же явлений, на которых вы основали свой вывод, такого заключения вывести решительно нельзя, а можно заключить лишь одно, что иные меры, исходившие от церковной власти во времена Петра I, принимались духовенством весьма несочувственно и потому встречали в нем вме-

сто готовности к исполнению явную холодность, а иногда и прямое противодействие.

Впрочем, эти замечания, относящиеся не прямо к предмету нашего состязания, я привел только кстати, так как мимо их лежала дорога. Главное же, о чем я хотел просить вашего разъяснения по настоящему пункту, состоит в следующем: если вы так строго осудили духовенство первой половины прошлого века за совершение выше описанных браков, то, разумеется, потому, что вы эти браки считаете неправильными; ибо в противном случае пришлось бы заключить, что Святейший Синод запрещал совершение браков православных, чего вы не говорите и чего не только не было, но, очевидно, и быть не могло. В чем же состояла неправильность этих браков? Без сомнения, в том, что они совершались над лицами, которые к церкви присоединены предварительно не были, а потому и права на участие в таинствах церкви иметь не могли.

Я со своей стороны не имею ничего сказать против той мысли, что эти браки были существенно неправильны; но я не могу понять, как можете держаться такого мнения вы.

Из вашей книги мы узнаем, что в 40-х и 50-х годах нашего столетия, когда правительство было занято изысканием наиболее действительных против раскола мер, признано было полезным и возможным разрешить венчание в православных и единоверческих церквях таких лиц, которые до венчания, во время венчания и после венчания были и оставались раскольниками, и если решались принимать церковное бракосочетание, то единственно по принуждению власти и по чувству самосохранения.

Говоря о таких браках (стр. 159 вып. II), вы выразились таким образом:

«Жаль только, что епархиальная власть, равно как и Святейший Синод, отказывали в подобных просьбах о повенчании раскольнических супругов в православных церквях, на том основании, что «венчание в православной церкви лиц обоего пола, в расколе пребывающих и к православной вере не обращающихся, указами 1722 года мая 31 и 1736 года марта 21 воспрещено».

Если вы изъявляете сожаление о медлительности Святейшего Синода в этом деле, то очевидно, что вышеописанные браки вы признаете правильными; ибо я не могу допустить мысли, чтобы вы сожалели о недостатке в церковной власти решительности на допущение действий неправильных. Впрочем, в другом месте вашей книги, выше мною приведенном, признание этих браков правильными выражено вами в форме весьма определенной, не допускающей ни малейшего сомнения в сущности вашего воззрения на этот предмет.

«Таким образом, — говорите вы в заключении главы 2-й выпуска II, — в прошлое царствование под влиянием разных обстоятельств учение о необходимости брака более и более усвоялось поморскою беспоповщиной и выражалось не только в форме бессвященнословных или сводных брачных союзов, заключавшихся по благословению родителей и наставников, но и в виде правильных браков, освящавшихся молитвами православных и единоверческих пастырей».

Позвольте же вас спросить, чем эти браки правильнее тех, которые совершались в православных храмах последователями Ивана Алексея и за которые вы предаете суду и негодование читателя священников прошлого века? Неужели тем, что в прошлом веке эти браки были воспрещены, а в нынешнем разрешены? Но разве возможно вопрос о правильности того или другого вида брака поставить в зависимость от случайных распоряже-

ний местной церковной власти и считать один и тот же вид брака, пока он запрещен, неправильным, а когда разрешен, правильным? Очевидно, нет; правильность брака, как и всякого другого церковного таинства, определяется такими условиями, которые относятся к его сущности; и если заключенный брак по сущности своей оказался бы правильным, то он оставался бы правильным и запрещенный; если же он в существе был неправилен, то будет неправильным и разрешенный. Не только власть местной церкви, но решительно никакая власть в мире не может присвоить себе права признавать богопреданные таинства, от начала христианства до последних дней, неизменно в одном и том же разуме содержимых всеми верными, унаследовавшими сей священный залог своего спасения и блаженного упования от св. апостолов, исповедников и вселенских учителей веры, правильными или неправильными, по своему усмотрению. В таком деле не может быть, по апостолу, ей и ни.

Ведь если, по-вашему, признавать такой брак правильным, то личное расположение и настроение приемлющих таинство придется поставить ни во что, между тем как им, собственно, и привлекается всегда готовая снизойти и только ожидающая призвания освящающая благодать таинства.

А между тем расположение, с каким беспоповцы приступали к совершавшемуся над ними в 40-х и 50-х годах, против их воли, таинству брака, очень хорошо известно. Вы сами изображаете его в следующем виде:

«Те из них, кои венчались (в православных и единоверческих церквах), делали это не по искреннему убеждению, но из страха, поневоле, и, таким образом, благословение церкви часто раздавалось людям, которые не только не уважали его, напротив, положительно ни во что не ставили»¹⁷.

И после этого все такие браки правильны? Да не будет! Как вы не заметили, что и разрешившая их власть отнюдь не признавала их правильными? Ведь в вашей же книге мы читаем, что указы о повенчании сих браков давались епархиальными начальниками только для собственного их руководства, с тем чтобы это разрешение не предавать гласности и браки повенчанных в церкви раскольников записывать не в общие метрики, а в особые тетради; что разрешение венчать эти браки давалось, по выбору, сперва одной губернии, а потом другой, по соображению местных условий, иногда вопреки убеждению епархиального начальства.

Все эти предосторожности и ограничения, вообще, все приемы власти, разрешавшей эти браки, ясно показывают, что подобная мера не считалась и ею самую за правильную, а только за полезную по ожидавшимся от нее последствиям и входящую в разряд таких распоряжений, которые характеризуются греческим термином: «домостроительства (церковного, разумеется) ради».

Уж если на то пошло, то скажу вам, что, по моему мнению, ближе к правильным и браки, которые совершались в православных церквях над последователями Ивана Алексеева. Сии последние приступали к церковному таинству по чувству собственной внутренней в ней потребности, нисколько им не гнушаясь, напротив, признавая за ним некоторое священное значение, как ясно видно из следующих, вами же приведенных, слов Ивана Алексеева: «Святая церковь (здесь, разумеется, беспоповское согласие) не умствует о внешней (православной) церкви так, аки бы в ней священных не было молитв, но глаголет молитвы, бываемые в ней, молитвы священные, и вси сосуды и одежды внешняя церкви и действия не суть проста, но суть священная»¹⁸; между тем как беспоповцы, приступавшие к бракам,

разрешенным в минувших десятилетиях, почитали это только уступкою насилию, которую и спешили очистить, по возвращении к своим наставникам, надлежащим исправлением и епитимиею.

V. Все, читавшие вашу книгу, с кем только я имел о ней разговор, согласно отзываются с невыгодной для вас стороны о том тоне, в который вы не редко вдаетесь при изображении непривлекательных и предосудительных черт жизни раскольнических обществ. К этим отзывам вполне присоединяюсь и я, тем более, что, впадая по временам в этот тон, вполне свойственный комедиям и водевилям и отнюдь не допускаемый в серьезных ученых рассуждениях*, вы нимало не искупаете своей ошибки потребным для этого искусством, которым в высшей степени владеет другой мой добрый приятель, тоже Иван Федорович (Горбунов). Жребии человеческие разделены, и лучше всего держаться каждому своей доли, какая она есть, не преступая в предел братень: по-латыни это выйдет: *suum cuique*¹⁹!

Несоответствие этого тона серьезному содержанию вашего сочинения еще ярче выступает в тех случаях, когда ваш отзыв о том или другом явлении из жизни беспоповцев является притом, и по сущности своей, несправедливым или, по крайней мере, неравномерным. Так, например, говоря о совершении в беспоповщинском согласии бессвященнословных браков, вы выражаетесь так: «главная фабрикация раскольнических беспоповских браков в С.-Петербурге совершалась на Охте, в бывшей здесь покровской молельне»²⁰.

Это и другие сему подобные уничижительные выражения о бессвященнословном браке, во-первых, с ва-

* Я разумею тут ваши: «ндраву моему не препятствуй» и тому подобные изречения, о коих упоминал, между прочим, в своих возражениях г. Чельцов (прим. Т. И. Филиппова).

шей же точки зрения, несправедливы, ибо вы почитаете их в сущности одинаковыми с браком Ивана Алексея, проповедь о коем вы назвали, как показано выше, «словом истины»; во-вторых, неприятны, ибо они приводят на память другие вами же упоминаемые и справедливо осуждаемые выражения (о тех браках) некоторых епархиальных архиереев, от коих нашел нужным воздержаться их даже Святейший Синод.

Меня в этом деле оскорбляет главным образом то, что подобного выражения никто из нас не позволит себе, говоря о браке, например, лютеранском; между тем как, по суду церковному, он не имеет никакого преимущества перед браком покровской часовни. Как тот, так и другой совершается простецом, т. е. лицом, не имеющим благодати рукоположения, и вся разница, стало быть, в том, что там немец и доктор богословия, перед которым мы чувствуем трепет, а здесь русский простолюдин, которого мы изощраемся презирать сколь возможно глубже. Это презрение проявляется в большей части полемических сочинений, писанных против раскола, где нередко попрекают его наставников тем, что они мужики. Эта черта какой-то аристократической брезгливости, носящей на себе печать шляхетских нравов и занесенной к нам, как мне кажется, киевскими и вообще западнорусскими учеными. Не говоря о крайнем неприличии таких попреков, нужно было бы брать во внимание хоть то, что раскольники с необыкновенным искусством умеют обращать эти попреки в свою пользу, указывая на то, что «худородная мира и уничиженная избра Бог, и не сущая, да сущая упразднит», и на слово фарисеев к слугам, посланным взять Иисуса и не приведшим Его: «еда кто от князь верова во Ны, или от фарисей; но народ сей, иже не весть закона, прокляти суть».

Расчетливо ли давать своим противникам новое на себя оружие?

На этом я прекращаю свое с вами состязание. Хотя запас моих возражений и не совсем еще исчерпан, но я решил опустить те из моих замечаний, которые относятся к частностям и подробностям вашего труда, желая сосредоточить ваше внимание на том, что мне казалось в вашем сочинении наиболее важным. Я счел своею обязанностью как перед наукой, так и перед вами, выразить свое мнение с полною свободой, нисколько не скрывая силы и значения представленных мною возражений, и я уверен, что вы мне не поставите этого в вину даже и в том случае, если бы какое-либо из моих замечаний показалось вам не совсем сдержанным по своему тону.

ПРИЗНАТЕЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ЕДИНОВЕРЦЕВ ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ ИОАКИМУ III

Ваше Всесвятейшество!
Крайний в Православии пастырь!
Архиепископ Нового Рима и Вселенский Патриарх!

Мы, чада Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, пребывающие в сыновнем подчинении священноначалию церкви русской и в духовном общении веры и любви с прочими повсюду сущими православными церквями греко-восточного закона, но содержащие некоторые от древнего благочестивого предания дошедшие до нас особенности местного русского обряда, приемлем дерзновение — через настоящее послание наше — предстать пред Вашим Всесвятейшеством с изъявлениями нашей благоговейной преданности и признательности.

Виною нашему благодарению и самому посланию послужила радостная весть, что Ваше Всесвятейшество разрешили и благословили невозбранно содержать чтимые и хранимые нами обряды братьям нашим, русским обитателям Майноса, предки коих ради свободы сих обрядов, связанной соборным постановлением 1667 года,

оставили некогда свою родину и, презирая иго неверных, поселились в пределах священной области Кизика, вверенной Божиим Промыслом Вашему верховному управлению. Дабы ни в малом чем не коснуться чувства ревнителей древнерусского обряда, современному Востоку неизвестного, Ваше Всесвятейшество благословили дать свое братолюбивое и законом церковным требуемое согласие, чтобы пришедшим в общение церкви майносам священный притч был поставлен рукою русского иерарха.

Этот частный случай, знаменательный сам по себе, имеет и общее весьма важное значение. Он громко вещает, вслух всему православному исполнению, что просветивший нас Восток совершенно чужд того несправедливого предубеждения и той обрядовой исключительности, которые два века тому назад привели русскую церковь к пагубному разделению, и что в тот недалекий, по упованию нашему, день, когда Богом просвещенные пастыри русской церкви обратятся к содействию восточных церквей для окончательного решения наложенных на свободу нашего обряда уз, они не откажут в своей духовной помощи и тем послужат миру и соединению ныне разлученных чад единой матери, земли русской.

Тот нареченный и великий день, призываемый помыслами ревнителей мира и вселенского общения, да приидет и не закоснеет! И да принесет он с собою успокоение и все блага христианской свободы не одной русской, но и всей православной церкви, отовсюду всеобразно гонимой возмогающим князем мира и преданной всем в поправление доселе, во испытание терпения и веры святых и во исполнение слов: скверный да сквернится еще и святыи да святится еще!

Слагая к стопам Вашим наши сыновние искренние и радостные приветствия и вверяя себя заступлению Ва-

ших праведных богоприятных молитв, имеем счастье именоваться и быть Вашего Всесвятейшества, великого и Богом преосвященного святителя, нашего милостивейшего владыки и по духу отца покорнейшие слуги и благоговейные почитатели:

(следуют подписи).

О НУЖДАХ ЕДИНОВЕРИЯ

(Читано в собрании С.-Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения 18 января 1873 г)

Ваше императорское Высочество!
Милостивые государи!

Из лиц, не принадлежащих ни к духовенству, ни к составу духовно-учебных заведений, мне первому выпала доля воспользоваться дарованным нашему Обществу правом свободного в среде нашей рассуждения о делах Церкви. Искренно ценя этот важный дар, я чувствую весьма понятную потребность засвидетельствовать как перед вами, милостивые государи, так и перед целым обществом, до которого наша нынешняя беседа дойдет, по всей вероятности, путем печати, о моей почтительной признательности к церковной власти, разрешившей, или, по крайней мере, ослабившей до известной степени, узы нашей мысли и нашего слова. Мне могут, конечно, заметить, что данная нам свобода составляет наше бесспорное право; что для христиан нет ничего естественнее, как собираться для бесед о вопросах, касающихся их верований и упований, вообще их высочайших нравственных потребностей; что это даже их прямая обязанность, к исполнению которой постоянно и убедительно приглашали

свою паству великие учителя древней церкви, и что, следовательно, отказ в разрешении верующим собираться для такой цели был бы напрасною обоюдо-вредною несправедливостью. Все это так. Но разве история человеческих обществ не представляет нам бесконечного ряда примеров тому, как самым законным стремлениям к приобретению природных человеческих прав руководимая односторонними понятиями и эгоистическими побуждениями власть ставит разного рода преграды, нередко в ущерб самой себе. А потому каждое добровольное и благожелательное движение самой власти к освобождению общества от излишних и никакую действительную нужду не вызываемых стеснений имеет в моих глазах неотъемлемое право на общую признательность.

Перехожу за сим к предмету моего рассуждения о нуждах единоверия.

Вам известно, милостивые государи, что в составе русской церкви есть такие члены, которые наравне со всеми нами признаются чадами единыя, святыя, соборныя и апостольския Церкви (п. 16 правил митрополита Платона), но отличаются от нас тем, что совершают, с разрешения Святейшего Синода, богослужение по старопечатным, т. е. до патриарха Никона изданным книгам, с сохранением при этом некоторых обрядовых особенностей, бывших в употреблении тоже до времен Никона и затем на Соборе 1667 года запрещенных, вследствие чего эти члены православной Церкви и выделяются в особые так называемые единоверческие приходы, состоящие под управлением общих православных епископов, подобно всем другим православным приходам, с тою лишь разностью, что на них не распространяется власть и влияние епархиальных консисторий.

Такое устройство единоверческих приходов (совокупность коих именуется обыкновенно, хотя и непра-

вильно, единоверческой церковью) вполне согласно, по-видимому, с тем общим постоянно содержимым вселенскою Церковью правилом: что единство веры состоит в безусловно согласном исповедании догматов как Богом откровенных и потому недвижимых основ христианского вероучения, и что этому единству отнюдь не препятствует различие в местных церковных обычаях, чиноположениях и т. п.

Первый известный нам из истории случай, подавший повод ко всеобщему оглашению сего начала, относится к самым первоначальным временам церковной истории, а именно: при посещении св. Поликарпом Смирнским, учеником Иоанна Богослова, Рима, открылось, что между восточными и западными церквами существовала разность во мнениях о дне празднования Пасхи: восточные праздновали его постоянно 14-го числа еврейского месяца нисана, в какой бы день это число ни случилось, а западные — так, как празднует ныне вся Церковь. Но эта разность не помешала римскому епископу Аниките не только пребыть в общении со своим знаменитым гостем, но и предоставить ему при сослужении честь первенства. Впоследствии, когда со стороны римского епископа Виктора было сделано покушение на подчинение восточных церквей обряду западному и даже на расторжение из-за этого церковного с ними общения, св. Ириней Лионский предотвратил эту попытку напоминанием о мирном воззрении на этот предмет их предшественников и тем содействовал новому подтверждению той истины, что разность в обрядах не препятствует единству веры и церковному общению.

За этими древнейшими примерами представляется непрерывный ряд явлений, доказывающих, что разнообразие обрядов, неизбежное в древней церкви по самой

сущности дела, уживалось постоянно с безусловным единством основных положений веры.

Известно, что все до нас дошедшие и ныне Церковью содержимые последования и чиноположения составлялись постепенно, в течение веков, и, входя в состав богослужения, по необходимости изменяли его порядок и вид.

«Не взят, — писал Константинопольский патриарх Паисий к патриарху Никону¹, — церковь наша изначала образ сей последования, еже держит ныне, но по малу: ибо, яко же глаголет Епифаний Кипрский, прежде читашу в церкви токмо единомадесять псалмов, таже ващшия, и имегоху различные степени постов и мясоядений... И прежде святых Дамаскина и Космы и иных творцев ниже тропари, ниже каноны, ниже кондака певахом. Обаче зане сохраняшеся непреложно таяжде вера от всех прочих церквей, не возможе сие разнство чинити, да вменить тые еретическия или раздорные».

«Не подобает убо, — присовокупил он к тому, воздерживая ревность патриарха Никона к единообразию обряда, — ниже ныне непщевати, яко развращается вера наша православная, аще един творит последование свое, мало различное от другого в вещех, яже не суть сущительный, сиречь составы веры, токмо да согласит в нужных и свойственных с соборною церковью».

Сообразно с сими последними словами кира Паисия, Церковь православная, и по окончательном развитии, завершении и установлении ее внешнего чина, не считала ни нужным, ни возможным настаивать на том, чтобы он содержался всеми и всюду неизменно в одном и том же виде, но постоянно оставалась верною своему исконному правилу о широкой свободе обряда.

Так, когда в 1451 году прибывший из Чехии в Константинополь гуситский священник Константин Англик

по изложению своего исповедания веры оказался во всем существенном единомыслен с православною Церковью, члены патриархии (это случилось в междупатриаршество) не усомнились принять его в общение несмотря на отличие содержимого им обряда, и затем в грамоте своей к городу Праге, всем чинам чешской земли и всему чешскому народу писали, что если они все таковы (в отношении к вероисповеданию), каков Константин Англик, то различие во внешних вещах не воспрепятствует их соединению с православною Церковью.

До времен патриарха Никона в русской церкви существовал обряд, ныне содержимый единоверцами и раскольниками, тогда как восточные единоверные нам церкви содержали тот обряд, который усвоен нами со времени исправления книг при Алексее Михайловиче. И однако эта разность не только не мешала полному и безусловному единению в вере церковей восточных и русской, но о ней до времени патриарха Никона никогда не было и помину, точно ее на деле и не было. А между тем в ту пору посещения России нашими восточными братьями: греками, сербами, сирийцами, болгарам и т. д., были весьма часты, можно сказать, непрерывны. За это время у нас жил и действовал в течение нескольких десятилетий знаменитый церковный учитель Максим Грек, совершилось поставление патриарха Иова константинопольским патриархом Иеремиею, патриарха Филарета — иерусалимским патриархом Феофаном и т. д. Не заметить при этом обрядовой разности, которая существовала между русскою и восточными церквами, очевидно, было нельзя, но, повторяю, вопроса о ней и даже малейшего упоминания ни с чьей стороны, сколько мне известно, не возникало.

Далее, когда в 1723 году восточные патриархи: Иеремия Константинопольский, Афанасий Антиохий-

ский и Хрисанф Иерусалимский, со всем освященным собором, отвечали на обращение, последовавшее к ним со стороны англиканской церкви, то, посылая им известные 18 членов, которые содержат в себе изложение православной веры, составленное на иерусалимском соборе 1672 года и на основании коих англиканской церкви предлагалось соединение с православною Церковью, патриархи сочли нужным заметить:

«Что же касается до прочих обычаев и чиноположений церковных, до совершения церковных обрядов литургии, то и сие, при совершившемся с Божиею помощью единении, можно будет легко и удобно исправить. Ибо из церковных исторических книг известно, что некоторые обычаи и чиноположения в различных местах и церквях были и бывают изменяемы, но единство веры и единомыслие в догматах остаются неизменными».

Наконец, в наше время, можно сказать, на этих днях, когда досточтимый о. Иосиф Овербек вместе со своими единомысленными соотечественниками, задумав смелый план устройства западной православной церкви, во всем существенном вполне едивомысленной с православною восточною Церковью, но сохраняющей свои обрядовые особенности, и свой чин последования литургии, и с этим вопросом обратился к правительству русской церкви: то Святейший Синод, по внимательном исследовании дела и по рассмотрении представленной о. Иосифом литургии, нашел со своей стороны возможным удовлетворить благочестивому желанию просителей и, передавая свою мысль на заключение других единоверных нам церквей, в послании своем к Константинопольскому патриарху Анфиму VI (1 апреля 1872 г.) писал следующее:

«Мы со своей стороны не можем не выразить желания, чтобы предполагаемая западная православная

церковь была признана членом нашей единой апостольской Церкви, как созидаемая на полном с нами единстве веры и единомыслия в догматах, и чтобы вместе с тем было разрешено западным православным сохранить некоторые указанные ими местные обряды и употреблять представленную доктором Овербеком литургию с теми исправлениями, которые исчислены в прилагаемых замечаниях».

На этом только начале, коего православная Церковь держалась и держится от времен апостольских до наших дней, могут быть основаны и надежды нашего юного общества на успехи православия среди старокатоликов; ибо, в случае действительного обращения их к духовному союзу с нами, дело соединения могло бы устроиться не иначе, как на условии полной свободы в содержании выработавшихся на Западе (разумеется, правильных) обрядов и чиноположений.

Итак, исконный обычай и неизменное правило православной Церкви несомненно доказывают правильность того распоряжения, по которому русским единоверцам, отличающимся от нас только сложением перстов, предпочтением восьмиконечного креста четвероконечному, сугублением аллилуйи и тому подобными особенностями обряда, открыты были с конца прошлого века затворенные дотоле двери Церкви. Но дело в том, что по отношению к ним, и только к ним одним, это всеобщее начало свободы обряда было применено не вполне и не безусловно, а с некоторыми, и даже весьма важными и стеснительными, ограничениями.

Когда в первые века нашей эры восточные и западные христиане различествовали во мнениях о дне празднования Пасхи; когда вводились на Востоке чинопоследования Дамаскина, коих в ту пору еще не знал далекий от него Запад; когда члены Константинопольской патриархии зва-

ли в общение веры гуситов; когда восточные патриархи указывали англиканской церкви на условия ее соединения с Церковью православною; когда, наконец, Святейший Синод писал к святейшему Анфиму о признании овербековой литургии, ни у кого никогда не было и тени такой мысли, чтобы между членами Церкви соединенными в вере, но отличающимися друг от друга в обрядах, можно было положить какое-либо различие в отношении, так сказать, к их церковному состоянию или достоинству, или признать одних более, а других менее православными; но всегда и всюду между теми и другими предполагалось полное равенство прав и чести и церковного всыновления. А между тем наши единоверцы, несмотря на то, что они называются, как и мы, чадами едыныя, святяыя, соборныя и апостольския Церкви, в действительности не пользуются всею полнотою церковных прав, соответствующих сему справедливому их наименованию.

Вам известно, что церковное положение единоверцев определено правилами, изданными в 1800 году и изложенными в 16-ти пунктах поданной московскими старообрядцами митрополиту Платону просьбы и в особых по каждому пункту заключениях митрополита.

На пункт 11-й этой просьбы, в котором сказано: «Если кто из сынов Греко-российской церкви пожелает приобщиться св. тайн от старообрядческого (единоверческого) священника, таковому не возбранять; равно же, если старообрядец пожелает приобщиться св. тайн в Греко-российской церкви, не возбранять оному», — митрополит Платон положил такое вошедшее потом в силу закона заключение: «Сын православной Греко-российской церкви не иначе может иметь дозволение, разве в крайней нужде и смертном случае, где бы не случилось найти православного священника и церкви; старообрядцу же дозволить то без всякого затруднения».

Что же это значит? Почему же, собственно, одним нашим единоверцам признано было нужным предложить такое исключительное и, как я думаю, несогласное с выше изъясненным общим началом условие, которого никогда, ни прежде, ни после, не предлагали обществам, искавшим православия вместе с сохранением их местных обрядов, и на которое не согласился бы ни под каким видом ни чех-гусит XV века, ни англиканец XVIII века, ни современный нам старокатолик.

Уж нет ли в свойстве самих обрядов, содержимых единоверцами, чего-нибудь такого, что препятствовало бы принять их в полное и безусловное общение с Церковью? С уверенностью можно отвечать, что нет. Не говоря уже о том, что нашим предкам они не мешали быть некогда вполне православными, и в настоящее время наши епископы, служа в единоверческих храмах, со свободной и спокойной совестью изображают на себе знамение креста двуперстным сложением, служат по старопечатным книгам и т. д. Мало того; очень часто в единоверческие приходы определяются священники из приходов православных, причем они обрекаются уже на постоянное употребление дониконовского обряда; а этого, конечно, не могло бы быть, если бы в особенностях этого обряда была какая-нибудь существенная погрешность, не позволяющая допустить содержащих оные лиц до полного равенства с последователями общеправославного обряда.

И вот в каких выражениях говорит о единоверческих обрядах и какое значение придает их отличию от нашего обряда замечательнейший представитель русской церкви за последнее пятидесятилетие, блаженно почивший митрополит московский Филарет, в известной беседе своей, обращенной к братии одного из московских единоверческих храмов:

«Не имеем ли мы твердых оснований нашего единения в вере? Не едину ли единосущную и нераздельную Троицу одними и теми же догматами православия исповедуем и славим? Не едину ли крестную смерть и живоносное воскресение Иисуса Христа полагаем в основание нашей веры и нашего спасения? Не едину ли благодать Св. Духа приемлем в одних и тех же таинствах? Не одни ли и те же имеем заповеди и правила евангельские, апостольские, соборные, святоотеческие? Узел единства, связанный из столь многих золотых нитей, перестанет ли быть крепким, если ниже его кто-нибудь усмотрит расходящиеся концы некоторых малых нитей?»

«Знаю, что единоверие ваше не для всех кажется ясным, во-первых, потому, что видят у вас некоторые богослужебные обряды и обычаи, по внешнему образу отличные от употребляемых в Великой Церкви: хотя, впрочем, не противоречащие духу и значению оных, как дозвано испытанием некратковременным; во-вторых, потому, что держащиеся сих обрядов некогда подвержены были осуждению, когда держались оных с преслушанием Церкви и с отторжением от ее единства. Но не разрешаю ли уже и сих недоумений, когда только произношу их? Где есть единый дух веры и единение духа в любви и в послушании, там некоторое случайное разнообразие в обрядах не есть разделение, и от суда, произнесенного на непокорных, по справедливости освобождаются послушные. Так рассуждать не мы начали ныне, и не наши предшественники недавно: так рассуждала и поступала св. Церковь и в первые свои времена по требованию обстоятельств».

Но если это так, т. е. если единоверцы, оставаясь при своих обрядах, допущены в общение с Церковью на тех же самых, как свидетельствует святитель, основаниях, на которых Церковь постоянно везде и всегда

допускала в свое общение лиц, содержащих местные обряды, и если, с другой стороны, мы знаем, что Церковь принимала таких лиц, не предлагая им никаких условий и не устанавливая между ними и другими своими членами никакого различия и никаких степеней, то отчего же и на основании какого иного известного в Церкви начала для единоверцев установлены стеснительные ограничения и условия? Если мы, как выразился высокопреосвященный Филарет, едину и тую же с ними благодать Св. Духа приемлем в одних и тех же таинствах, то отчего же священник единоверческого храма без нарушения закона не может мне преподавать, а я не могу от него принять, тела и крови Господней иначе, как в крайней нужде и в смертном случае? И почему же мой священноначальник может совершать св. тайны и приобщать его им в том самом храме, в котором мне св. причастия не дадут, если я не болен к смерти?

Вопрос весьма затруднительный и, может быть, даже нерешимый, если только смотреть на дело так, что выработанные первоначально митрополитом Платоном и впоследствии Святейшим Синодом усвоенные и высочайшею властью утвержденные 16 пунктов или статей, определяющих церковное положение единоверцев, составляют неизменные и не подлежащие усовершенствованию основы этого положения. Но его решение весьма облегчается, если вспомнить, что, к нашему счастью, мы не имеем ни прямой обязанности, ни побудительных причин придавать такое значение правилам митрополита Платона, составляющим меру частную, не проверенную суждением вселенской Церкви и предпринятую, как выражаются греки, ради домостроительства, с ясно выраженной надеждою на привлечение чрез нее к церковному соединению тех честных старообрядцев, которые, не считая для себя

возможным изменить перешедшему к ним от предков обряду, в то же время сознавали духовную опасность от своей разлуки с Церковью.

Что же могло побудить митрополита Платона и затем Святейший Синод установить для единоверия такие основания, которые ставят это учреждение в положение беспримерное и обоюдо, по отношению как к единоверческому обществу, так и к нам, неудобное и вообще неудовлетворительное, когда была, по-видимому, полная возможность предоставить им, по образу, показанному всею прошлою историею церкви, совершенную свободу обряда и в то же время безусловное с нами равенство во всех прочих отношениях?

Может быть, к тому была не одна, а многие причины; но главная из них и единственно, по моему убеждению, существенная, состояла в том, что употребление тех самых обрядов, которые разрешались русскою церковью, на основании правил 1800 года, для единоверческих приходов было некогда, именно на большом Московском соборе 1667 года, осуждено и воспрещено.

Очень понятно, что определение собора, на котором, кроме Московского патриарха, присутствовали двое восточных, Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский, не могло быть отменено одною местною церковью, без ведома и согласия тех церквей, представители коих участвовали в соборном суждении и постановлении; и так как по причинам, мне неизвестным, при учреждении единоверия не сочли нужным обратиться к восточным патриархам для согласного и более прочного установления его оснований, то и пришлось поневоле остановиться на такой условной и половинной мере, которая не так резко противоречила бы никем не отмененному соборному определению и которую, как принятую условно, можно было бы всегда, в случае нужды, объяснить перед вос-

точными церквями требованием обстоятельств и другими тому подобными причинами.

Итак, повторяю: главная причина того противоречия, в котором правила 1800 года находятся с постоянным учением Церкви о свободе обряда, состоит в том, что свобода употребления этих именно обрядов, которые нужно было разрешить единоверцам, была связана клятвою Собора 1667 года. Но, ограничивая свободу употребления сих обрядов, достигал ли митрополит Платон по крайней мере той цели, которую, имел при этом преимущественно в виду, т. е. полного согласия установленных им правил с Соборным постановлением 1667 года?

По моему мнению, нет, ибо Собор 1667 года воспрещал разрешенные правилами 1800 года обряды безусловно, и в его определении нельзя найти — как я постараюсь доказать ниже — ни одного слова, из которого можно было бы вывести, что он исключает эти обряды из употребления только на время и что он предвидел возможность их восстановления в будущем на каких бы то ни было условиях.

Я знаю, что многие ученые писатели, и в числе их такие, коих имена я произношу не иначе, как с благоговением (как, например, покойный митрополит Московский Филарет), думали и думают об этом предмете совершенно иначе, и клятвам Собора 1667 года приписывают вовсе не то значение, которое придаю им я; но так как мнениями этих писателей убедиться в ошибочности моего взгляда я до сих пор не мог, то и решаюсь свои соображения по сему предмету представить на просвещенный суд настоящего собрания, в той, между прочим, надежде, что за моим изложением предмета последует, быть может, чье-либо дополнительное объяснение и что таким образом, при помощи изустного обстоятельного и мирного состязания, спорный вопрос получит более

удовлетворительное разрешение или по крайней мере сколько-нибудь к нему приблизится.

Вообще относительно клятв Собора 1667 года существуют следующие мне известные мнения:

1) что они изречены Собором на самые особенности обряда, которые содержались русскою церковью до книжного исправления при патриархе Никоне.

2) Что, не касаясь прошлого, они распространяются на всех тех, которые, несмотря на последовавшее на Соборе воспрещение употреблять сии обряды, продолжали держаться их и после Собора.

3) Что клятвы, не касаясь ни употребления местных обрядов русской церкви, ни тем менее самых обрядов, наложены были Собором только на тех, кто из-за этих обрядов удалялся от церковного общения, хуля Церковь и ее тайны, так что по силе сего последнего мнения и после соборного определения 13-го мая 1667 года члены русской церкви не лишались возможности оставаться в общении с Церковью, не покидая дониконовских обрядов.

Первое мнение, если понять его буквально, оказывается до очевидности несостоятельным: возложить клятву на те обряды, которые были предметом суждения на Соборе 1667 года, отцы этого Собора не могли, потому что это значило бы предать проклятию всю русскую церковь до времен исправления обряда и частью даже самих себя, так как все представители русской церкви на Соборе, за исключением быть может малороссийских, сами держались прежде этих же самых обрядов.

Впрочем, о значении клятв 1667 года в этом смысле думают преимущественно те из раскольников, которые не помышляют о мире с Церковью и которым, конечно, очень выгодно такое толкование соборного определения. Из православных же писателей такое мнение выражено

было, сколько мне известно, только сотрудниками некоторых из наших современных изданий. Но я вполне уверен, что употребленное ими выражение о наложении клятв на обряды есть не что иное, как самый обычный риторический троп (метонимия), и что, относя соборную клятву к обрядам, они разумели, без сомнения, не самые обряды, а людей, эти обряды содержащих.

Засим пред нами остаются два несоглашенные исследованием мнения о клятвах, приведенные выше в пунктах 2-м и 3-м.

Я держусь того, которое изложено в пункте втором, и утверждаю: что после соборного определения 13-го мая 1667года члены русской церкви не имели свободы следовать по своему выбору прежнему, или новоисправленному обряду, если только они хотели остаться в согласии с постановлением Собора и что изреченные Собором отлучение и клятва отсекали от церковного общения всякого, кто не соглашался изменить прежнему обряду, хотя бы он при этом был во всем прочем покорен Церкви и желал пребывать в ее общении.

На чем же основано такое понятие о значении соборных клятв 1667 года?

Первое и главное подтверждение ему я нахожу в самом тексте того соборного деяния (13-го мая 1667 г.), коим клятвы были наложены и которое должно быть исходною точкою для всякого, желающего исследовать дело².

Это деяние начинается, как известно, извлечением из Постановления Собора 2-го июля 1666 года, состоявшегося во время междупатриаршества, еще до пришествия в Москву восточных патриархов, Паисия Александрийского и Макария Антиохийского, но потом им (равно как и новому Московскому патриарху Иоасафу) представленного и ими утвержденного.

«И мы, — сказано в этом извлечении от лица русских церковных властей, — им преблагеннейшим и всесвятейшим вселенским патриархом наши соборы и дела вся подробну известихом, и они всесвятейшии патриархи наши соборы и дела и рассуждения слышавше, глоголали, яко тако есть, истинно и право рассудисте... и своим великопастырским благословением наши соборы и дела благословиша и утвердиша»³.

Соборное же постановление 2-го июля 1666 года коснулось⁴:

во-первых, новоисправленных при патриархе Николе книг, причем указано было на то, что исправление это «патриарх Никон сотвори не собою, но по совету святейших патриархов греческих и всего Российского государства со архиереи и со всем освященным собором, с греческих и древних славянских книг», и что в книгах этих «ничтоже стропотно или развращенно, или вере нашей противно обретается».

Во-вторых, изображения на просфорах креста, причем узаконено исключительное употребление креста четырехконечного; прежние же печати повелено было «у просфорниц все поотобрать и отдать их все на Москве в Тиунскую избу, а по градом отдавати десятильником, с Росписью за своею рукою, чтобы впредь у просфорниц тех печатей отнюдь не было».

В-третьих, сложение перстов в знамение креста, причем определено «три первые персты слагати правыя руки, палец глаголемый, иже вскрай его глаголемый указательный и средний, два же глаголемый мизинец и иже вскрай его близосредний имети праздны и наклонены».

В-четвертых, молитвы Иисусовой, причем один ее вид, как древний и к Церкви общеупотребительный: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» предложен к предпочтительному употреблению в обществен-

ном богослужении, но и другой, содержимый старообрядцами вид: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — не осужден.

В-пятых, ангельской песни: «аллилуйя», причем повелевалось проповедовать «везде накрепко, чтоб по церквам и по домам сами священники глаголали в словословии Божии и людей бы такожде научали глаголати «аллилуйя» трижды, а четвертое «слава тебе, Боже».

Наконец, в-шестых, сложения перстов для священнического благословения народа, причем предложено к исключительному употреблению («не инако, но сие имать бытии») перстосложение именованное, изображающее: IC XC.

В заключении же сего деяния сказано:

«Аще же кто вас (обращение это относилось к священникам, игуменам и вообще к духовному чину) не послушает, хотя в едином чесом повелеваемых от нас, или начнет прекословити, и вы на таковых возвещайте нам, и мы таковых накажем, духовно; аще же и духовное наказание наше начнут презирати, и мы таковым приложим и телесная озлобления.

Аще же вы сами повеление наше начнете презирати, и не учнете радети и по церквам дозирати, или на ослушников бесчинников не будете извещати, а кроме вашего извету где в церкви которой ни буди вашего сорока обрящается какое, противу сего нашего соборного писания неисправление или нестроение, а хотя едино что, а нам учинится ведомо, и за то тебе старосте и десятским быти в церковной казни, безо всякия пощады».

Здесь клятв еще нет, но я позволю себе остановиться на следующем соображении, бесспорно, как мне кажется, истекающем из вышеприведенного извлечения: если за употребление книг печати патриарха Иосифа, за изображение на просфорах восьмиконечного креста,

за сложение перстов в знамение креста и для благословения народа по прежде бывшему образу и за сугубую аллилуйю предполагалось мирян наказывать не только духовно, но и телесно, а за упущения священников по надзору за неупотреблением исчисленных особенностей обряда или даже какой-либо одной из них, им обещана церковная беспощадная казнь, то очевидно, что всякий, державшийся в ту пору запрещенных собором обрядовых особенностей, являлся, уже в силу одного этого, послушником и непокорником церковной власти, хотя бы он и не участвовал в явном против нее мятеже и не износил ни на Церковь, ни на ее тайны и их совершителей, аввакумовских и лазаревских хулений⁵. Ни в букве, ни в тоне этого постановления я не мог заметить того оттенка мысли, что новоисправленные книги и чины предлагаются свободному выбору, только как лучшие, более согласные с текстом подлинных священных книг и с обрядом, существующим у других православных народов, но что при этом для тех, которые в немощи своей совести встретили бы препятствие к немедленному их усвоению, разрешалось, хотя бы в виде снисхождения, как ныне разрешено единоверцам, оставаться при прежних книгах и обрядах.

Но, может быть, это простой пропуск, который был пополнен в указанном смысле впоследствии, в окончательном и завершительном Постановлении Собора 13-го мая 1667 года, где присутствовали уже два восточных патриарха и новоизбранный Московский Иоасаф II?

Для ответа на этот вопрос опять обращаюсь к соборному деянию и прошу досточтимое собрание выслушать терпеливо следующее довольно длинное его изложение.

«К сим убо ныне, — следует в Деянии прямо за изложением Постановления 2 июля 1666 года, — обще мы милостию Божиею православнии Вселенстии патриар-

си, Паисий папа и патриарх великого града Александрии и судия вселенной и Макарий патриарх Божия града великия Антиохии и всего востока, вкупе с братом и сослужителем нашим святейшим кир Иоасафом патриархом Московским и всея России, и с преосвященными митрополиты, архиепископы и епископы российскими, и со прилучившимися zde греческими архиереями и со прочими, и со всем освященным собором Великороссийского государства, во имени Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, соборне заповедуем всем вам архимандритом и игуменом и всем монахом, протопопом и старостам поповским и всем священником местным и неместным, клириком же и всякого чину православным христианом, великим и малым, мужем и женам, и повелеваем покоряться во всем без всякого сумнения и прекословия святой восточней и апостольской церкви Христове, архимандриты же и игумены да научают братию свою в монастырех, протопопы и старосты поповские и попы местные и неместные, местные же священники кийждо в своем приходе прихожан, и кийждо священник вся своя дети духовныя, мужи и жены и отроки, да учат по часту во всех церквах и наедине, дабы покорялись вси во всем без всякого сумнения святей восточной Церкви, и книги, яже за повелением благочестивейшего великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белья России самодержца, и благословением и советом святейших вселенских патриархов братьий наших, исправишася и преведошася и напечаташася при Никоне, бывшем патриархе, и после его отшествия за благословением освященного собора, книги служебники, и требники и прочия (зане суть право исправлены) приимати и по них да прикажете правити церковное все Божие славословие, чинно и немятежно и единогласно, и гласовное пе-

ние пети на речь; и святыи символ примати и глаголати, яко же святыи и богоноснии отцы в первом вселенском соборе иже в Никеи и во втором вселенском соборе иже в Константинополе написаша греческим языком и прочии вселенстии и поместнии собори приимаша и утвердиша, яко же ныне исправлено противу греческого и напечатана славянским языком, без прилога «истинного» и без всякого изменения, тако убо всем держати повелеваем и глаголати в церкви и повсюду исповедание православных веры; и аллилуйя в божественном пении во учиненных местах глаголати трижды, сиречь «аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава тебе Боже», сице трижды по древнему преданию, якоже писано есть и в древних харатейных славенских и греческих книгах; и знамение честного и животворящего креста творити на себе тремя первыми персты десные руки, палец глаголемый и иже близ его глаголемый указательный и средний слагати вкупе, во имя Отца и Сына и Святого Духа, два же, глаголемый мизинец ниже близ его близосредний, имети наклонены и праздно, по древнему преданию святых апостолов и святых отцев: тако бо имут вси народи христианстии, мнози языцы, иже суть в православии от востока и до запада, предание издревле и донныне неизменно держать, якоже и ныне видится и в России, яко мужие поселяне неизменно из древнего обычая знаменуются тремя первыми персты; и молитву иисусову глаголати сице: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас», в церковном пении и во общем собрании, а наедине, якоже кто хошет; к сему же приказати всем просфорникам, где кому приказано, чтобы просфоры печатали печатаю креста четвероконечного, якоже выше изобразися, по свидетельству великих учителей Афанасия Великого, Иоанна Дамаскина и иных, яко и от двою древу сложенный крест истинный есть крест; по сему же и чин

церковный и монастырский и посты храняты по предании святых апостолов и святых отцев, якоже восточная святая соборная и апостольская Церковь содержать ко спасению всем православным христианам. Еще же повелеваем всем вам освященному чину и показуем, како вам знаменовати, сиречь благословляти народ: сложивши десные руки иерею два перста, глаголемый указательный простерт и великосредний мало наклонен, яже знаменуется Иисус, и паки два перста глаголемый палец и близосредний наклонена друго-дружно совокуплены, яже знаменуется литеру Х, и паки присовокуплен к близосреднему персту малый перст, глаголемый мизинец, простерт и мало наклонен, иже знаменует литеру С, и вся сия три персты знаменуют ХС; и сим именем Господа нашего Иисуса Христа завещуем вам знаменовати верных народы, по реченному ко Аврааму о Христе: и в семени твоём возблагословятся вси языцы».

«Сие наше соборное повеление и завещание ко всем вышереченным чином православным предаем и повелеваем всем неизменно хранити и покаяться святей восточней Церкви».

«Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней Церкви и сему освященному собору, или начнет прекословити, и противлятися нам: и мы такового противника, данную нам властью от Всесвятого и Животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и благодати и проклятию предаем, аще же от мирского чина, отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святого Духа и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочленения и стада и от Церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, дондеже вразумится и возвратится в правду покаянием».

И в этом постановлении, сколько раз я его ни перечитывал, я не мог найти ничего иного, кроме безусловного повеления принять новоисправленный обряд, под угрозой подвергнуться, в случае сопротивления, отлучению от Церкви и соборной клятве, причем под сопротивлением разумелось именно нежелание принять предлагаемый собором, вместо прежнего, новоисправленный обряд. Тот, кто этого обряда не принял бы, тем самым уже явил бы себя такого рода непокорником и противником, на которого простиралась соборная клятва.

Перед вами, милостивые государи, и текст соборного постановления, и мой из него вывод, который я отдаю на ваш суд. И так как среди вас я имею удовольствие видеть лиц, которые составляют украшение нашего законодательного и юридического сословия и которые всю жизнь свою упражняются в применении законов и в изъяснении их истинного смысла, то не скрою, что услышать их отзыв по настоящему вопросу мне было бы особенно желательно и важно. Вопрос ставится так: преслушание ли Церкви вообще, или же специальная, так сказать, непокорность ей, выразившаяся в отказе принять исправленный обряд, имелась в виду при издании этого постановления? И слова: «дондеже вразумится и возвратится в правду покаянием» то ли обозначают, что бывший хулитель Церкви и его таин, совершаемых по новоисправленным книгам, мог быть, на основании этого постановления, принят в общение Церкви с сохранением прежнего обряда, лишь бы только он принес покаяние пред Церковью в своих хулениях на нее из-за этого обряда, или же это вразумление и возвращение в правду не могло совершиться иначе, как на условии отложения прежнего обряда и усвоения новоисправленного?

Повторяю, что сам я держусь последнего мнения, которое, кроме текста соборного определения, подтверж-

дается как дальнейшими постановлениями и распоряжениями власти, так и многими другими обстоятельствами и соображениями, а именно: в статье г. Нильского «о единоверии», помещенной в майской книжке «Христианского Чтения» за 1870 год, указан факт, которого я прежде не знал: что соловецкие старцы в своей челобитной и московские раскольники под предводительством Никиты обращавшиеся к патриарху в 1682 году, желали сохранить общение с Церковью вместе с сохранением своего обряда, о чем и просили соборного рассмотрения; но в этом им было отказано, а предложено принять книги и обряды, одобренные Собором.

Затем, в 1721 году некоторые раскольники желали обратиться от раскола к Церкви, о чем и просили Святейший Синод чрез посредство Златоустовского архимандрита Антония, который спрашивал разрешения: «как (ему) поступать с раскольниками, которые от раскола обращаются, но прежнего своего сложения перстного не переменяют и не проклинаяют?» Святейший Синод таковых раскольников в общение Церкви не принял, а составил увещательные пункты, в которых хотя и объяснил, что обряды составляют в Церкви вещь среднюю, к благочестию ниже нужную, ниже вредную, но из этого положения пришел, однако, весьма, по моему мнению, неожиданно, не к тому заключению, чтобы искавших соединения с Церковью принять в его лоно, разрешив им употребление прежнего обряда, а к тому, что принять их в общение невозможно. Отчего же так?

От того, объяснил Святейший Синод, что они, т. е. просители, «свой сложения (перстного) образ сделали злым: не аки бы он сам собою зол был, но яко непокоривой, злой, немиролюбной, гордоеретическую совести их свидетель есть. И того ради аще кто образ сложения раскольникового преминити не похощет, мощно знать,

что он безответно упрям и непокорив пребывает, и не с доброю совестью, но лукаво, лицемерно и коварно приходит к церковному соединению».

Таким образом, отказ старообрядцев от перемены перстосложения и от произношения на двоеперстие клятвы был в глазах Святейшего Синода уже достаточною причиною для того, чтобы не допустить их в Церковь.

Последствием сего возбужденного Златоустовским архимандритом дела был особый Указ Святейшего Синода от 15 мая 1722 года, в котором читаем (пункт II):

«Которые хотя святой Церкви и повинуются и вся церковные таинства приемлют, а крест на себе изображают двема персты, а не треперстным сложением: тех, кои с противным мудрованием, и которые хотя и по невежеству и от упорства то творят, обеих писать в раскол, не взирая ни на что»⁶.

Еще ранее этого, именно в 1720 году, был издан по распоряжению императора чин принятия в Церковь обращающихся от раскола, в коем новообращенному предлагалось произносить отречение в следующих, между прочим, словах:

«Проклинаю вся ереси и отступления и злохуление и расколы: а именно: сложение триех первых перстов в знамении крестном ересию и печатью антихристовою нарицающих и незнаменающих тремя первыми персты, но двема указательным и средними»⁷.

Подобное же отречение должен был произносить обращающийся и от других особенностей дониконовского обряда.

Спрашивается: могли ли, даже при Петре I, исходить такие постановления от духовной и мирской власти, если бы употребление старого обряда не было воспрещено Собором 1667 года? И решится ли кто-нибудь до-

казывать, что эти постановления не имеют отношения к определению сего Собора и даже идут с ним в разрез? До сих пор по крайней мере никто такой попытки не предпринимал, и я уверен, что она никому бы и не удалась, тем более, что в других распоряжениях и постановлениях власти, состоявшихся после Петра I, слышится тот же дух преследования дониконовского обряда, с некоторым, быть может, различием только в степени его силы, которое объясняется выдающеюся жестокостью личного нрава Петра и его фанатическою ненавистью ко всему, что составляло особенность умственного склада и внешнего образа древне-русского человека;

Так, например, в 1726 году Святейший Синод, рассмотрев отобранные от раскольников и представленные ему образа и в числе их отыскав икону Пресвятой Богородицы, пред которой изображен некто, молящийся с двуперстным сложением для изображения крестного знамения, определением от 4 февраля того года постановил: «Присланные от поручика Зиновьева с ветхими святыми иконами, написанный пред образом Пресвятыя Богородицы (без подписи), по раскольническому вымыслу, с изображением двуперстного сложения, кумир истребить немедленно».

В 1729 году, от 28-го июля, по делу о попе Евдокиме Михайлове за сокрытие старопечатных книг и служение молебна для записного раскольника лишенном сана и наказанном кнутом, а впоследствии раскаявшемся, Святейший Синод постановил: сперва его испытать, «и буде никакого подозрения и сумнительства не покажется, то учинить ему, при всенародном собрании, очистительную присягу всех раскольнических лже-учений и суеверий проклятием».

От 5-го марта 1737 года Святейшим Синодом определено: «Взятые у бывшего в расколе крестьянина Да-

ниила Кобелева образы, неисправно в перстном рук сложении написанные, кроме креста медного литого осьмиконечного, которого по надлежащему переправить, кроме вновь переделки, невозможно, призвав в синодальную канцелярию иконописца, в иконном художестве искусного, коштом оною Даниила Кобелева являющуюся неисправность исправить, и потом те образы отдать оному Кобелеву с таким обязательством, дабы оные образы впредь по раскольническому суетумудрствию переправляемы не были, под жестоким за неисполнение сего, в надлежащем месте, истязанием».

В 1752 году вышло второе издание «Пращицы», в которой на вопрос (212-й): «Аще который иерей ныне во святой Церкви отслужит святую литургию по старопечатным служебникам на седми просфорах?» дан такой ответ:

«Аще которые попы дерзнут тако служить, противящися восточной и великороссийской Церкви и вышепомянутой соборной клятве, таковии суть прокляти и извержены и весьма священнослужения обнажены, и от таковых собором проклятых и священства изверженных попов не может быть сущее святое тело Христово и кровь Христа весьма».

Таким образом, дело шло до вступления на престол Екатерины II, при которой, как известно, круто изменился как взгляд на раскол, так и система правительственных против него мер, причем было положено действительное начало и единоверию, в правилах 1800 года, получившему лишь определенные основания своего бытия.

И даже в ту пору, когда в 1799 году подана была московскими старообрядцами просьба, которая послужила и донныне служит основанием единоверию, большая часть московского духовенства, от которого митрополит

Платон потребовал мнения по сему делу, не одобрила его предположений, находя их несогласными как со смыслом соборного постановления, так и вообще с образом действий русской церкви за прежнее время.

Опять позволяю себе спросить: возможно ли было бы в официальном акте высшей правительственной власти именование образа, в коем замечен молящийся двуперстно, кумиром, или отрицание действительности евхаристии, совершенной на седми просфорах, если бы клятва 1667 года не простиралась на содержание этих обрядов?

Точно так же без этого условия невозможно было бы и появление в обличительных против раскола сочинениях первого периода тех странных и для нас мало даже вероятных ругательств на двоеперстие и другие особенности дониконовского обряда, которые встречаются сплошь и рядом даже у самых высоких по уму и святости жизни писателей. Кто бы без этого посмел назвать двуперстное сложение крестного знамения ариевою пропастью, арменским кукишем, демоновым седанием, или же сказать про старообрядческое начертание имени Иисус, что в этом начертании оно значит не Спаситель, а некий равноухий (от греческих слов).

За сим обращаю внимание собрания на то, что и те старообрядцы, которые, по отложении воздвигнутых на них гонений, первые получили возможность приступить к духовной власти с мирным намерением приискать средства к соединению с Церковью при сохранении своих обрядов, смысл определения 13-го мая 1667 года понимали так же, как разумею его я, т. е. они были убеждены, что обряды эти возбранены верующим, под угрозой клятвы сообразно с чем Стародубский инок Никодим, истинный родоначальник единоверия, в доношении своем кн. Потемкину от 29-го апреля 1785 года прежде всего просил:

Пункт 1. «Произнесенные бывшими в царствующем граде Москве, в царство великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всего России самодержца, в патриаршество Никона и Иоасафа патриархов, в 1666 году и в 1667 году, соборами, тоже и в 1720 году чинопRIAтием, клятвы и поречения на двуперстное сложение и на прочие некоторые древние греко-российской церкви содержания, — сношением святейших четверопреестольных вселенских патриархов разрешить».

Подобно тому и московские старообрядцы, коих прошение положено было в 1800 году в основу нынешнего церковного состояния единоверцев, в первом пункте этого прошения просили:

«Дабы Святейший Синод разрешил прежде положенные клятвы на двоеперстное сложение и другие подобные ему обряды».

И что же? Митрополит Платон не нашел возможным ответить им на эту просьбу так, как готовы были бы ответить за него некоторые из позднейших и современных нам писателей: что клятвы Собора положены не на тех, которые хранят прежний обряд, не враждуя против Церкви, а только на тех, которые из-за этих обрядов сами не хотят пребывать в ее общении, и что следовательно, в ту самую минуту, как они (т. е. московские старообрядцы) отложили свою непокорность и взыскали входа в Церковь, клятвы уже слагаются с них сами собою, в силу того же соборного определения, как положенный условно, только до тех пор, «дондеже (старообрядцы) вразумятся и возвратятся в правду покаянием».

Нет, он отвечал иначе, и вместо такого прямого указания на смысл определения Собора 1667 года, предложил объяснение, в котором слышится как бы желание оправдать себя в том, что он счел, при тогдашних обстоятельствах, возможным сложением соборных клятв.

В числе доводов, приведенных им в оправдание его распоряжения, о Соборе 1667 года и его определении даже вовсе не упомянуто; за основание же для удовлетворения просьбы старообрядцев приняты, во-первых, пример апостольского снисхождения к немощным, во-вторых, надежда на приобретение св. Церкви множества человеческих душ. О клятвах же сказано только в том смысле, что они наложены на старообрядцев праведно.

Таким образом, определение Собора 1667 года, коим употребление дониконовского обряда воспрещено, как я старался доказать, безусловно, осталось и донныне остается как бы в прежней силе; в действительности же воспрещенные сим собором обряды разрешены и благословлены для употребления в единоверческих приходах, с известными только, отчасти указанными выше, ограничениями в церковных правах употребляющих оные лиц.

Итак, кроме противоречия с исконным и всеобщим понятием Церкви о свободе обряда, о коем была речь выше, правила 1800 года оказываются несогласными и с соборным определением 1667 года.

К чему же все это я веду? И не таково ли мое мнение, что лучше бы было оттолкнуть от себя честные души, жаждавшие церковного общения, лишь бы сохранить в ненарушимой целостности постановление Собора?

Сохрани Бог! Разрешение этих уз было необходимо и даже обязательно для церковной власти, и я выражаю свое сожаление только о том, что оно совершено было, говоря казенным языком, не в надлежащем порядке и потому оказывается не удовлетворяющим не только требованиям церковного чина, но и потребности взыскавших церковного входа старообрядцев.

Вся беда в том, что власть русской церкви, приступая к столь важному делу, как учреждение среди православного русского народа отдельного общества, и зная,

что она дает разрешение на то, что некогда было по тем или другим обстоятельствам воспрещено властью сравнительно высшего (именно Собором, на котором, кроме представителей русской церкви и ее патриарха, были представители прочих единоверных церквей и в том числе два патриарха), не остановилась на мысли о сношении по сему делу с восточными патриархами, на необходимость коего так ясно указывал инок Никодим, а еще яснее самая сущность дела.

Я знаю, что некоторые писатели отрицают эту необходимость, доказывая право русской церкви быть самой судьей в таком деле, как установление обряда для своих членов.

Но эти доводы можно было бы признать правильными в том только случае, если бы русская церковь устанавливала тот или другой обряд вновь; тогда на ней действительно не лежало бы неперменной обязанности советоваться с другими единоверными ей церквями. Так, например, когда в древние времена она усвоила себе двоеперстие, хождение посолонь и т. п., она была в своем праве, которого представители восточной церкви, до времен патриарха Никона, не оспаривали и даже не касались мыслью. Но в данном случае она имела дело с такими церковными обычаями, которые, по ее же настоятельной просьбе, были подвергнуты подробному обсуждению других церквей и в заключение были воспрещены общим постановлением всех бывших на Соборе представителей православия.

Было бы в высшей степени любопытно дознаться, если только в настоящее время это возможно, что именно удержало Святейший Синод от своевременного сношения с восточными патриархами, несмотря на то, что нужда в этом была, во-первых, очевидна сама собою, во-вторых, прямо и категорически указана родоначаль-

ником единоверия, иноком Никодимом. Быть может, в делах Святейшего Синода, относящихся к учреждению единоверия, и есть какие-нибудь следы рассуждения об этом предмете, и наш достоуважаемый сочлен, которому ближайшим образом поручен разбор архива Святейшего Синода, оказал бы вопросу, который в настоящую минуту нас занимает, существенную услугу, если бы отыскал в давних делах синодских какой-либо след, по коему можно было бы дойти до искомой цели. Отвычка ли это от прямых сношений с единоверными церквами, составляющая одно из печальнейших последствий Петровских преобразований, отразившаяся так бедственно на современных нам событиях в православной Церкви, или же другие какие встретились к тому препятствия, подобные тем, о которых у меня будет речь ниже?

В наше время необходимость пересмотра соборного определения 1667 года и сношения с восточными церквами по вопросу об устройстве единоверия сознается уже не одними единоверцами.

Ученый, исследователь раскола, профессор Петербургской Духовной академии И. Ф. Нильский в упомянутой выше статье о единоверии, помещенной в майской книжке «Христианского Чтения» за 1870 год, говорит:

«Если Церковь, убедившаяся в правильном смысле обрядов, содержимых единоверцами, нашла возможным дозволить им их употребление, то, без всякого нарушения правды, она может, не ограничиваясь частным разрешением каждого вступающего в общение с нею путем единоверия старообрядца, разрешить вообще клятву Собора 1667 года, изреченную им на тех, кто не хотел принять узаконенными Собором обрядов, содержимых ныне православием».

«Такое действие Церкви не только успокоит самих единоверцев, но будет в то же время одним из самых

действительных средств к приведению на путь истины и раскольников. Что бы кто ни говорил, но, по нашему искреннему убеждению и по словам самих раскольников, клятва Собора 1667 года, бывши одною из причин того, что приверженцы церковного порядка вещей, существовавшего до Никона, сделались во второй половине XVII века раскольниками, служит и доселе главною преградю, препятствующей лицам, ревнующим за одну букву церковной книги, за каждую мелочь церковной практики, войти в союз с Церковью».

«Итак, — присовокупляет к вышесказанному г. Нильский, — разрешение клятвы Собора 1667 года необходимо и по существу дела, — разногласие с Церковью в обрядах, с которыми не соединяется никакого неправославного мудрования, не такой грех, который заслуживал бы анафемы, и в виду (видах?) уничтожения тех затруднений, какие ставит эта клятва на пути искреннего соединения с Церковью не только раскольникам, но и многим из самих единоверцев, и наконец, для того, чтобы Церковь, допустившая употребление этих обрядов в единоверии, не казалась по крайней мере противоречащею самой себе. Тогда и, по нашему искреннему убеждению, только тогда единоверие делается силой, которая сокрушит раскол в самом его основании».

Одновременно с г. Нильским и, конечно, не сговариваясь с ним, я выразился об этом предмете совершенно в том же почти смысле в статье моей «Решение греко-болгарского вопроса», напечатанной в июньской книжке «Русского Вестника» за тот же 1870 год. Упомянув о тех затруднениях, которые должен испытывать честный и умный старообрядец при встрече с совместным существованием благословения и клятвы на употребление прежнего обряда, я заключил свою об этом речь такими словами:

«Устранить окончательно этого рода препятствия к духовным приобретениям Церкви мог бы только ее общий собор, который один имел бы полное и бесспорное право, рассмотрев дело вновь и убедившись в необходимости отмены прещения, наложенного некогда при обстоятельствах, в настоящее время уже не существующих, придать этой отмене силу действительного церковного постановления. Вместе с сим и единоверческая церковь вышла бы из ее настоящего неопределенного положения, которое, как известно, подает повод к существенно важным пререканиям даже между православными писателями и которое составляет главную причину малоплодности ее учреждения. Я не смею брать на себя ручательства в том, что соборное решение, состоявшееся в указанном мною смысле, имело бы своим неперменным последствием многочисленные обращения из раскола в православие; успех дела не всегда зависит от правды действующих, и его в подобных случаях следует предоставлять промышленному о своей Церкви Богу. Но то несомненно, что достижением такого результата русская церковь исполнила бы лежащий на ней священный и повелительный долг (что важнее самого успеха)».

Статьи г. Нильского и мои вызвали возражения со стороны достоуважаемого о. Павла Прусского, который отвечал мне (не называя меня по имени) и г. Нильскому, как автору выше упоминаемой статьи «Христианского Чтения» в «Современной Летописи» при «Московских Ведомостях» (от 21-го сентября 1870 года № 33); но возражения его не коснулись, однако, самой мысли о необходимости созвания собора, а только смысла того решения, которого следует ожидать от этого собора.

«Я вполне соглашаюсь, — писал он, — что по вопросу о клятвах Собора 1667 года необходимо церковное решение; но не в том оно должно состоять, чтобы клятвы

сии соборне были сняты или упразднены, а только чтобы соборне разъяснен был смысл оных: за что и на кого они положены, кто подлежит им и на кого они не простираются; да еще необходимым признаю, чтобы церковною властью уничтожены были слишком резкие выражения, смущающие чтителей глаголемых старых обрядов в некоторых полемических сочинениях».

В настоящем чтении, которое и без того грешит своею продолжительностью, было бы слишком неудобно вдаваться в подробное разъяснение того разногласия, которое по вопросу о клятвах возникло между г. Нильским и мною с одной стороны и о. Павлом, с другой. Я надеюсь, улучшив досуг, поговорить об этом печатно; здесь же замечу одно: для меня особенно важно, что и о. Павел считает необходимым созвание по поводу клятв 1667 года церковного собора. А затем, как бы кто ни думал о задаче Собора, постановление его во всяком случае будет зависеть не от наших мнений или желаний, а от собственного убеждения Собора в истине того или другого мнения и в необходимости того или другого определения. Главное, чтобы собор был созван.

Наконец, мысль о необходимости общецерковного пересмотра соборного определения 1667 года, кроме литературного ее обсуждения, была предметом рассмотрения и нашей церковной власти.

В 1864 году московские единоверцы обратились к своему знаменитому архипастырю, прося его ходатайствовать пред Святейшим Синодом о сношении с восточными патриархами по вопросу о клятвах 1667 года.

Митрополит Филарет не только не отказал им в этом, но принял их просьбу с вниманием и любовью. В Святейшем Синоде она встречена была с тем же вниманием, и вождеденное сношение с представителями православных восточных церквей, с нетерпением ожи-

даемое многими тысячами искренних душ, готово было совершиться; но случилось препятствие, возникшее отсюда, откуда следовало бы, по-видимому, ожидать только помощи.

Из дел Святейшего Синода, обязательно сообщенных мне по распоряжению г. обер-прокурора Святейшего Синода, видно, что наше константинопольское посольство, которому предварительно сообщено было о намерении Святейшего Синода обратиться к братьям своим, восточным патриархам, отвечало на это, что они сильно сомневаются в успешном исходе задуманного дела: так как, по его предположениям, патриархи никогда не согласятся признать двоеперстие и другие ему неизвестные особенности дониконовского обряда, что они потребуют отчета в разрешении единоверцам употреблять эти особенности, которые воспрещены собором 1667 года, и т. д.

Впоследствии самые события неопровержимо доказали, что сношений по сему предмету опасаться вовсе не было причины и что если бы эти сношения были своевременно сделаны, то теперь русская церковь имела бы уже утешение видеть всех честных старообрядцев, преимущественно тех, которые перешли в единоверие, успокоенными в не покидающем их донине недоумении.

Те из вас, милостивые государи, которые читают газету «Голос», может быть заметили статью, помещенную в одном из летних ее номеров за 1872 год, под заглавием: «Вести из далекого старообрядческого уголка». В ней сообщены были радостные известия, полученные из Константинополя и с Афона, о намерении майноских старообрядцев* соединиться с православною Церковью,

* Селение в азиатской Турции, в котором живут наши соотечественники (часть некрасовцев), оставившие ради сохранения обряда родную землю (прим. Т. И. Филиппова).

на условии сохранения содержимого ими обряда, равно как и о том, что Константинопольский патриарх, к власти коего принадлежат майносы, не усмотрел в этом условии ни малейшего препятствия к их присоединению и даже не входил в подробное рассмотрение этих обрядовых особенностей, вполне удовлетворившись представленным ему удостоверением в том, что русская церковь принимает таковых старообрядцев в свое общение.

Тем не менее, напрасные, на личных соображениях основанные, опасения взяли верх над искренними желаниями московских единоверцев, искавших успокоения своей совести и общего блага и мира Церкви.

Намерение снестись с патриархами было покинуто, по-видимому, без обстоятельного даже испытания расположения восточных иерархов, на необходимость коего указывал митрополит Филарет и которое, как доказал опыт, привело бы, конечно, не к тому, чего опасалось посольство, а к полному удовлетворению просьбы единоверцев.

К счастью, нет никакой причины считать это дело безвозвратно потерянным; из самого его хода видно, что оно только отложено, и от усмотрения Святейшего Синода, конечно, зависит привести свое прежнее намерение в исполнение, как только представится к тому благоприятный случай.

Скоро ли он представится — это вопрос, на который трудно отвечать в настоящую минуту, когда внимание всей православной Церкви всецело поглощено давно ей грозившим и наконец постигшим ее бедствием и когда никакая человеческая проницательность не в силах предвидеть исхода охвативших весь православный мир волнений. Но если в сокромом от людей совете Божиим предопределен день мира, то и для нас настанет вновь пора совершить, наконец, то, что было так

хорошо начато и, к великому сожалению, не доведено в свое время до конца.

На этом я прекращаю нынешнюю беседу о нуждах единоверия и в заключение нахожу нужным сказать только несколько слов для устранения недоумений относительно возможности пересмотра Соборного Постановления 1667 года, без унижения и оскорбления достоинства бывшего Собора.

К счастью, в этой возможности легко убедиться из собственных слов самого Собора, которые он произнес при рассмотрении некоторых отвергнутых им постановлений Собора Стоглавого, бывшего при Грозном и при митрополите Макарии в 1551 году.

«Многия образы и указания, — писали отцы Собора, — имать святая Церковь от ветхого и нового завета на лутчшее преспевати ей, аще соборне и обще, аще отчасти; сие же бывает от еже не растерзатися нам друг от друга, но повиноватися и ко общей ползе совет благий друг от друга любоприятна восприимати, якоже премудрый Соломон пишет: им же и несть совета, падут, яко листья; спасение же во мнозе совете».

Указав затем на примеры взаимного послушания и мирного вразумления в Ветхом завете и во времена апостольские, Собор продолжает:

«Подобне сему и последи св. апостол святые отцы, иже на соборех вселенских и поместных бывшы, узаконположенная от прежде бывших соборов прочии последи их обличаху и исправляху не совершенна изложенная от них правила».

«Не точию же сие, но и апостольская узаконения и правила святии отцы последи на соборех исправляху на лутшее, яко же видети есть в VI же вселенском собор, во 12 правиле сие глаголаю: аще и речено есть во апостольских правилах не пустити жен епископом, но мы

на лутчшее поспешение промышляюще, поставляемому епископу уже к тому не жити с женою заповедуем. И многа ина такова обрести имать кто в правилах святых отец от прежних убо святых соборов недобр некая, забвения ради или иного дельма, случая, изложенная от последних соборов без всякою зазора обличена и добр исправлена быша; и святая церковь не стужает о семь, паче же похваляет»⁸.

Я кончил, милостивые государи, и, предполагая, что, по вниманию к важности рассмотренного мною вопроса, кто-нибудь из присутствующих пожелает вступить со мною в дальнейшие объяснения, счел полезным выразить сущность сказанного мною в следующих кратких положениях:

а) по буквальному смыслу соборного определения 13 мая 1667 года, употребление дониконовского обряда воспрещено было на будущее время безусловно. Отлучение от Церкви и клятва Собора, не касаясь лиц, употреблявших эти обряды до соборного о них решения, изречены были на всякого, кто после сего решения отказывался принять новоисправленный церковный обряд.

б) Этому определению вполне соответствуют приведенные в моем рассуждении последующие постановления духовной и мирской власти до времен Екатерины II, равно как и полемические приемы обличителей раскола за этот период времени.

в) Разрешение употреблять дониконовский обряд, данное обратившимся к Церкви старообрядцам сперва при Екатерине II, без определенных условий, а потом при Павле I, на условиях, изложенных в 16 правилах 1800 года, с точным смыслом соборного определения 1667 года не согласно.

г) Ограничение церковных прав единоверцев, изложенное в 11-м и некоторых других пунктах правил

митрополита Платона, ставит их в такое положение, которому в православной Церкви нет никакого подобия и которое во всяком случае не согласуется с постоянным и всеобщим православным началом свободы обряда.

д) Для устранения этих противоречий, которые связывают не только единоверцев, но и нас самих, необходимо пересмотр соборного определения 1667 года, в котором не было предвидено случаев искреннего обращения к Церкви, на условии сохранения прежнего обряда.

е) Наиболее удовлетворительным способом для пересмотра этого определения было бы созвание нового собора, который необходим православной Церкви и по другим не менее важным причинам.

ТРИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТАРООБРЯДЦА

I

На значение клятв 1667 года мой взгляд всегда был один в тот же; но окончательную уверенность в истинности моего взгляда я получил после знакомства с Павлом Прусским, с которым имел по этому вопросу четырехчасовую беседу.

В 1866 году, после довольно продолжительной разлуки с Москвою, я имел случай там быть и познакомиться с иеромонахом Пафнутием, бывшим старообрядческим Коломенским епископом, который только что перешел в православие и, по распоряжению митрополита Филарета, помещен был в келии Чудовского монастыря для беседований со старообрядцами. Познакомился я с ним при посредстве двух московских купцов, Петра Васильевича Медведева и Василия Васильевича Борисова, бывшего спутника старообрядческого архимандрита Геронтия по пути в Белую Криницу и описанного П. И. Мельниковым в его романе «В лесах» под видом Василия Борисовича, тогда уже единоверца. Пафнутий принял нас очень любезно, посадил меня на диван, на который и сам сел;

спутников моих поместил по обеим сторонам дивана, а какие-то два его посетителя сели в некотором отдалении от нас, ниже приступочки, которая была в келье. Эти гости о. Пафнутия были в русском платье и имели вид русских людей как бы более обыкновенного. Разговор наш начался и продолжался и шел до конца об одном предмете: о радости недавнего обращения к Православной Церкви видных белокрыницких деятелей. Говорил почти я один. У меня отверзлись уста, речь моя лилась складно и одушевленно, и я вскоре стал замечать, что один из гостей о. Пафнутия с явною жадностью вслушивается в мои слова. На лице его часто появлялась одобрительная и радостная улыбка, глаза его часто освещались огнем; одним словом, я чувствовал, что речи мои доходят до его сердца. Беседа наша продолжалась немного менее четырех часов, и когда она окончилась и я со своими купцами вышел из келий о. Пафнутия, он пошел проводить меня в коридор и тихонько сказал мне:

— Третий Иванович! купцов-то мы отпустим, а вы, хотя на малое время, вернитесь в мою келью; ведь это сидит у меня Павел Прусский.

Мы познакомились, любезно поцеловались и затем простились.

Когда после нас вышел из кельи Павел Прусский со своим спутником Иваном Цветковым, казанским начетчиком-беспоповцем, то, проходя по двору Чудовского монастыря, Павел спросил у Ивана Цветкова:

— Ну, что же Иван, идешь? (Т. е. идешь ли в Церковь?)

Цветков отвечал:

— Нет, я не согласен.

— Ну а я иду, брат, прощай!

Об этом разговоре я узнал впоследствии от самого Цветкова, который, прочитав мои рассуждения о нуждах

единоверия, приехал из Казани нарочно для свидания со мной, напомнил мне о беседе в кельи о. Пафнутия и о ее влиянии на настроение Павла Прусского.

По знакомстве с Павлом Прусским я на другой же день поехал сказать о нем графу А. П. Толстому (бывшему обер-прокурору Святейшего Синода, жившего в ту пору в Москве без службы), который немедленно отправился к нему и после обстоятельного объяснения с ним выразил мне удивление, что Павел Прусский совсем готов перейти в Церковь, но претыкается о какие-то, как выразился граф, клятвы. «Что бы ни значили эти клятвы, все-таки Павел Прусский должен бы понимать и, конечно, он понимает это не хуже нас с вами, что он вне Церкви и что вне ее ограды спасение сомнительно».

Через некоторое время я возвратился в Петербург, а за мною вслед прибыл туда и Павел Прусский по пути в Пруссию, куда он отправлялся, чтобы заявить о своем решении соединиться с Православною Церковью. Он посетил меня, и во время нашей весьма продолжительной беседы он с особенною ясностью и убедительностью раскрыл предо мною свой взгляд на смысл клятв 1667 года, которые многим старообрядцам, чувствующим и понимающим свое неправильное религиозное положение, препятствуют соединиться с Церковью. После его присоединения к Церкви я получил от него очень трогательное письмо, в котором он говорит об обстоятельствах первого нашего знакомства и с благодарностью упоминает о моей беседе. «Ваши слова и донны лежат посреди моего сердца».

После этого видеться нам не пришлось долго, но встретились мы с о. Павлом в литературе по следующему случаю. В моих сочинениях о болгарском расколе я проводил ту мысль, что для уничтожения этого раскола нет другого способа, как созвание представителей всех

православных автокефальных церквей на общий собор. Настаивая на этой мысли, я упомянул и о том, что на этом соборе, если бы Бог судил ему состояться, могли бы быть рассмотрены весьма многие другие вопросы, требующие неотложного решения. В числе этих вопросов указан был и вопрос о клятвах 1667 года, которые полагают претыкание искренним душам многих старообрядцев, и в примере затруднений, которые они испытывают, я прямо указал на о. Павла, испытавшего такие затруднения при своем переходе, и что, следовательно, более слабые души остаются зачастую вне Церкви и подвергаются опасности. Немало я испытал удивления, когда в ответ на мои об этом слова я прочитал в «Современной Летописи» (1870 г.) отповедь о. Павла, который заявил, что я в этом ошибаюсь, что если бы он — Павел — так думал о клятвах, то он и не присоединился бы к Церкви, а присоединился уже он после того, как Бог открыл ему, что эти клятвы наложены за противление Церкви. О способе сделанного ему Богом откровения он никакого объяснения не предложил. Одно ясно, что его решимость вступить в церковную ограду состоялась еще в ту пору, когда на значение клятв он имел совершенно одинаковый со мною взгляд.

В 1872 году начались, в 1873 году продолжались и в 1874 году окончились мои чтения о нуждах единоверия в с.-петербургском Отделе Общества Любителей духовного просвещения. В подтверждение своего взгляда на значение клятв 1667 года мною были приведены такие доказательства, которые добросовестные исследователи дела опровергать не будут. На московских собеседников со старообрядцами — Пафнутия и Павла Прусского — мои чтения произвели совершенно различное впечатление.

Пафнутий недоумевал и, поверя быстро разнесшимся сплетням, заподозрил меня в неискренности и в

желании такую постановкою вопроса кому-то угодить. В таком настроении я застал его в 1873 году, когда пришел в его чудовскую келью, но чрез полчаса или час нашей с ним беседы он отбросил эти подозрения и с тех пор явно присоединился к моим воззрениям и в таком смысле повел свои объяснения со старообрядцами на кремлевских площадях, что нередко ставило его в значительное затруднение. Мне помнится один такой случай, Однажды о. Пафнутий беседовал со старообрядцами, стоя на ступенях Ивановской колокольни. В недалеком от него расстоянии стоял я, и когда о. Пафнутий произнес несколько слов в смысле моих чтений о нуждах единоверия, то стоявший тут же какой-то молодой старообрядец, высив голос, сказал ему:

— Постой, постой! Как же ты прежде говорил совсем иное?

— Послушайте, господин, — сказал он, обратясь ко мне, — вот как он прежде об этом думал и нам передавал. Отчего же такая перемена?

Положение было затруднительное, ибо и некоторые из предстоящих старообрядцев, бывавшие на прежних беседах о. Пафнутия, подтвердили показание молодого старообрядца. Тогда о. Пафнутий совершенно особым оборотом речи сумел увернуться кое-как от этих обличений.

О. же Павел Прусский возмутился моими чтениями и написал ко мне письмо, в котором мне за произведенное в Церкви смущение грозил евангельским судом.

В ответ на это я написал ему приблизительно следующее:

«Мне такая угроза странна. Зная по собственному опыту мою ревность к Православной Церкви, Вы не можете заподозривать моих чтений в намеренном желании принести ей вред. Все намерение моего труда состояло

в искреннем и беспристрастном рассмотрении спорного вопроса. Если и предположить, что я в этом деле ошибся, то и в таком случае я менее всего мог бы бояться суда именно евангельского; всякий другой суд мог бы покривить душою и сам сбиться с пути и приписать мне намерение, которого я не имел. Евангельский суд ошибиться не может и, зная искренность моих суждений и чистоту побуждений, несомненно смягчил бы свой приговор надо мною и в том случае, если бы нашел мой взгляд ошибочным. Вместо того, чтобы пугать евангельским судом, пред которым мне предстать не страшно, я прошу вас собрать всю свою братию (он был игуменом Никольского единоверческого монастыря в Москве), назначить мне день и выслушать меня, предложив мне свои возражения. На петербургских прениях перевес оказывался на моей стороне, но мне этого было мало. Хотя мои соперники — о. Иосиф Васильев, И. Ф. Нильский, Чельцов и Чистович — представляли, и каждый из них сам по себе, а тем более в совокупности, очень внушительную силу, но так как они родились в Православной Церкви и вопросы старообрядства изучали книжно, а не на собственной своей душе, то я затем и приехал в Москву, чтобы объяснить со старообрядцами, которые примирились с Церковью, и прежде всех имел в виду вас и о. Пафнутия».

В назначенный о. Павлом день я прибыл в Никольский монастырь, где были собраны некоторые члены братии; встретил меня сам о. Павел, и в его кельи я нашел о. Филарета, бывшего члена белокриницкой иерархии, и некоторых других, в точности их имен не помню, кроме слепца Шашина, в ту пору вновь вступившего в число братии Никольского монастыря послушником. Я ожидал важных возражений по существу вопроса, мною возбужденного, но о. Павел коснулся лишь некоторых

подробностей, которые не имели значения; другие присутствующие, и притом немногие из них, ограничились тоже частностями, для решения главного вопроса не имеющими значения. О. Филарет, начитаннейший из всех присутствовавших, изучивший вопросы старообрядства и книжно, и на своем собственном опыте, все время просидел молча, не проронив ни одного слова. Беседа не клеилась. Я начал уже сожалеть, что мое посещение и длинная дорога (от Девичьего поля, где я жил, до Преображенского кладбища верст пятнадцать) пропали даром. Наконец слепенький послушник Шашин обратился ко мне с такою приблизительно речью.

— Третий Иванович! Мне с вами говорить не в силу; вы видите, я человек убогий, вы же ученый, знаете даже по-гречески; стало быть, вам меня опрокинуть не трудно, а только вот что выслушайте. Родился я в старообрядстве, в Нижегородской губернии, и имел близкого друга в том же селении Дмитрия Ивановича, с которым мы часто беседовали о прежней вере и он мне прочитывал многие книги, которые касались занимающего нас предмета, и мало-помалу дочитались мы до того, что неправильное положение старообрядства стало нам открываться. По мере того, как мы усиливали наши совокупные исследования, расширяли и круг чтений, учащали наши беседы и, наконец, убедившись в неправоте раскола, приняли решение присоединиться к Православной Церкви. И вот Бог меня сподобил. Вы видите, что я теперь состою в единоверческом монастыре, а Дмитрий Иванович, прочитав ваши рассуждения о нуждах единоверия, поколебался в своем намерении и вот теперь стоит в недоумении, и в церковь нейдет. Больше этого я вам ничего не могу сказать». Я ответил ему:

«Если вам нечего больше по этому вопросу сказать, то должен вам заметить, что рассказ ваш вовсе меня не

смутил. Друга вашего я не знаю, но, во всяком случае, думаю, что если мое изложение предмета могло его остановить в принятом решении и ввело его в некоторое сомнение, то это во всяком случае лучше, что он испытал это сомнение до перехода в Церковь. Если бы он к Церкви присоединился и недоумение его постигло потом, то с ним могло бы случиться полное духовное крушение. Повторяю вам, что я души вашего приятеля не знаю, и если он, как вы говорите, есть истинный искатель правды, то за судьбу его души я не опасуюсь и смело вверяю ее промышляющему о Своей Церкви Богу».

На этом кончилось собеседование и чрез несколько времени я простился дружественно с о. Павлом и с прочими собеседниками и возвратился на Девичье поле.

Через несколько дней мне докладывают, что меня желает видеть какой-то мелкий торговец или приказчик. Я гулял в саду и попросил гостя в сад.

— Что вам угодно? — спросил я у пришедшего незнакомца.

— Я, — говорит, — Тертый Иванович, тот самый человек, о котором в Никольском единоверческом монастыре у о. Павла мой приятель послушник Шашин говорил вам и говорил в том смысле, что я остановлен был от присоединения к Церкви прочтением ваших статей. Действительно, статьи эти меня приостановили, и я решился для разъяснения дела отправиться в Калугу, к Иллариону Егоровичу Ксеносу. С вашими чтениями он уже был знаком, и на мой вопрос: что же мне делать? — он ответил мне:

«Дмитрий Иванович! поезжай к Тertiю Ивановичу и, как он тебе скажет, так и поступи».

Я должен сказать, что Иллариона Егоровича я до той поры лично не знал, и заочное знакомство наше состояло в том, что я послал ему свои чтения о нуждах единоверия

и получил от него в высшей степени замечательное письмо, которое здесь и приведу целиком.

Этот случай для меня был поразителен. Судьбу души смущенного моими чтениями Дмитрия Ивановича я смело вверил Богу, а Богу угодно было решение этой судьбы отдать в руки мне. Дмитрию Ивановичу я отвечал таким образом:

«Если бы мои мнения могли помешать вступить в Церковь, то они не позволили бы мне и оставаться в Церкви; а так как я в ней не только остаюсь, но в ней вижу и единую надежду на свое спасение, то ответ мой краток и ясен».

Вскоре за сим Дмитрий Иванович присоединился к Православной Церкви.

Личное мое знакомство с Илларионом Егоровичем Ксеносом произошло через три года после этого случая. В 1876 году я получил от Государственного Контролера С. А. Грейга поручение обревизовать некоторые из контрольных палат, в том числе и калужскую. Илларион Егорович жил еще там, при старообрядческой молельне, и я отправился к нему. Не застав его дома, я остался ожидать его возвращения, и с причетником этой часовни, имя которого не помню, вел довольно продолжительный разговор, которому дала повод моя книга, причетнику тоже известная. Прошло более часа; стали спускаться сумерки. Наконец мой собеседник сказал: «Вот уже возвращается Илларион Егорович».

Описать ту радость, которую испытал Илларион Егорович от свидания со мной, мне очень трудно. По лицу его побивали крупные, радостные слезы, и он настоятельно пожелал поцеловать ту руку, которая писала рассуждения о нуждах единоверия; уступив движению его сердца, я дал ему свою руку и в свою очередь поцеловал его руку. Сам я тоже испытал особенную радость от

этого свидания. Чистота и сила чувств, обнаруженных Ксеносом, его замечательная простота и художественная речь, самая наружность Иллариона Егоровича привлекли к нему сразу мое сердце. Долго мы пробеседовали. На другой день он пришел ко мне и я, воспользовавшись происшедшим уже между нами сближением, позволил себе спросить его:

«Ради Бога, Илларион Егорович, объясните мне. Я вижу полную искренность ваших убеждений, полное знание старообрядческого вопроса, знакомство с церковными законами. Как же вы можете признавать правильною австрийскую иерархию? Этого я никак не могу одного с другим примирить».

— Да я ее и не признаю, — ответил он.

— Тогда как же вы живете без всякого окормления?

— Так и живу, ввергая себя в пучину милосердия Божия, ожидая того радостного дня, когда вопрос старообрядческий, столь запутанный двухсотлетними состязаниями, будет решен согласно с правдою и когда церковная власть вступит на единственный правильный и верный путь, разрешит узы клятв 1667 года и тем предоставит старообрядству с радостною и светлою совестью вступить в лоно Церкви и избавить нас от неизбежного двоедушия, в которое впадают присоединенные ныне единоверцы.

С той поры я не видал более Иллариона Егоровича, но переписка его со мною продолжалась до самой его кончины, последовавшей в 1881 году,

Этот человек имел чистое сердце, возвышенный ум и литературные дарования. Посылал я ему на просмотр мои рассуждения о болгарском расколе, на которые он сделал несколько замечательных объяснений. Из писем его особенно важно было одно: о приготовлении нашими школами противников власти и о противопоставлении

такому направлению наших училищ способа воспитания старообрядческих отроков и юношей.

II ПИСЬМО О. ПАВЛА ПРУССКОГО

Ваше превосходительство, возлюбленный о Господе Тертый Иванович.

Имел я счастье достопочтенное Ваше письмецо получить и премного Вас благодарю за Ваше ко мне благоволение. Я весьма Вас благодарю и за первое Ваше ко мне странному приветствие. А паче за благие советы Ваши, ибо Ваши слова, сказанные мне, что Бог ради церкви оставил небо, признаюсь, они так сильно подействовали на меня, что я их даже и теперь помню, и они у меня лежат среди сердца. Бог да воздаст Вам. Благодарю Вас, что Вы изъявили желание или соизволение участвовать в братстве нашем, но, к сожалению, это братство наше еще не получило утверждения, потому и не принимается никто ни за какую деятельность, а по утверждении лениться братству, кажись, будет нельзя, ибо во извет лености сказать будет нечего. Письмо Ваше Его Сиятельству г. Толстому, как Вы писали для доставления, передал отцу Иллариону. Намерение мое есть, ежели Бог поможет, побывать к старым знакомым около Ковны и Вильны, и когда буду в Петербурге, желательно видеться с Вами, не оставьте своим приветствием и беседою.

Молитвами Св. Отец да будет милость Божия и Божие благословенье на Вас.

Вашего Превосходительства покорный слуга

Настоятель иеромонах Павел.

2 октября 1869 г.

III
ПИСЬМО ИЛЛАРИОНА ЕГОРОВИЧА КСЕНОСА

Блажени хранящие суд, и творящие правду во всяко время.
(Псалом 105, 3)

Твердый и непобедимый поборник истины
Тертий Иванович!

Первым долгом поставляю просить у Вашего Превосходительства извинения за медленность, невежество и ненаучение мое.

Приятный дар Ваш (протоколы 6, 7 и 8 заседаний 1873 года в Пет. Отд. Об. Люб. Дух. Пр.), с драгоценнейшим надписанием от 22-го Августа прошедшего года, я имел величайшее удовольствие чрез Дм. Ив. своевременно получить, за что в душе моей всегда благодарю Вас, великодушнейший благодетель! Неимение же Вашего адреса лишило меня возможности письменно возблагодарить Вас.

И, на сих днях известившись чрез приказчика г. С. Т. Большакова, что присланные в минувшему Апреле месяце 6 №№ «Гражданина» суть дары Вашего Превосходительства, коими изволили утешить и обрадовать худость мою. Итак, сугубое благотворение Ваше понуждает меня послать чрез того же г. Большакова (за неимущем адреса) сие убогое начертание.

Примите, достолюбезнейший благодетель мой, искреннейшую и душевную мою благодарность за Ваше внимание и любовь ко мне недостойному. Да воздаст вам Всеблагий Господь Бог воздаянием благодетельным! Да усугубит дни Ваши и увенчает Вас цветущим благоденствием, милостью и щедротами и да подаст Вам слово премудрости и разума противу всех ополчений академических, да не возмогут противиться вси проявляющееся Вам!

Замечательнейшие статьи чтения Вашего — в отношении клятв Московского собора 1667 года — я почитаю по совести и убеждению моему вполне справедливыми и непреборимыми. Они наполнены правоты, беспристрастного исследования, здравого рассуждения и светлого взгляда на вещи. Читать оные и слушать отраднo, сладостно и превожделенно. О! если бы эти мысли и рассуждения разделяли Верховнейшие члены Богоучрежденной светской и духовной власти и не тормозили бы некие из писателей, велику бы пользу учили для расточенных и распущенных многочисленных душ, за них же Христос пострадал и Божественную кровь свою пролил.

Начатые при Никоне и завершенные Московским собором 1667 года клятвы и анафемы на содержащих дониконовский церковный обряд и последующий взгляд светской и духовной власти, совокупно и полемические приемы, совмещавшие гаждения и жестокословные порицания на вещи, не подлежащая хулению, не собирают со Христом, но расточают, и произвели в народе велие смятение, возмущение, ожесточение о конечное разделение.

Блаженный Августин Иппонийский¹ в послании 10-м к Иерониму², вспоминая о некоем Епископе, определившем чести в подвластной ему церкви пере-

вод его — Иеронимов — свидетельствует: «Некоторый брат наш епископ, егда определи чести в церкви сущей во власти своей твой перевод и произнеся ничто много иначе от тебе положенное во Ионе пророке, неже было во всех памяти и чувствах углублено и чрез толиких лет прешествие затверждено: сотворися толико смятение в народе... что более? принужден бе (епископ) аки ложное исправить, хотящ, по велием зоключении, не остатися без паствы» (предисловие к Библии, изд. при Александре I).

И аще убо едино чтение превода толико знаменитого мужа (Иеронима), иначе изложенное, неже было во всех памяти углублено и чрез долгое время затверждено, можаше в народе смятение сотворити: кольми паче обнесете еретичеством до Никона многолетно существовавшего церковного обряда, клятвы же и анафемы на содержащих оный; засим преследование, цепи, изнурительные пытки, земляные — нижегородские и боровские — глубокие ямы, костры и плахи естественно могли произвести в нашем русском народе все то, что было и есть в настоящее время, т.-е. разъединить и расточить овцы словесного стада Христова и поселить в оных непокорение и совершенное недоверие к пастырям, хотевшим вразумить их помянутыми средствами — «властью, наказанием и наруганием» (Иезекииля 34, 4) и поддержать авторитет свой изобретением соборного деяния на Мартина армянина и Феогностова требника, — с тем, чтобы объересить всю древнеправославную церковь свято-русскую, невзирая на то, что в ней многочисленный сонм святых подвизався угоди Господеви и ныне ликует в торжествующей церкви. Но к унижению и к вечному бесславию изобретших и приводивших во свидетельство оные документы, они ясно оказались жалкие подлоги,

которыми православная церковь Христова ни в каком случае руководствоваться не может.

А посему благовременно бы ныне ученейшим Архипастырям и мудрым писателям поприлежнее взглянуть на дело и, вняв гласу беспристрастного рассуждения вашего — гласу вопиющая истины, — совокупно с восточными патриархи, грозные клятвы и прещения глаголемого великого собора и прежде оно на двоеперстное сложение и на прочие обряды частно произнесенные разрешить и разрушить. Понеже и в древние времена случались проклятия и анафемы, но вселенский учитель — Павлова уста и Христова уста — Божественный Иоанн Златоустый возбраняет анафематисати верные. «И яко же соборный свиток в царство Константина багрянородного и патриарха Алексея, со анафемою сложенный, отвержен бысть» (Матвей правил., в объятии всех...), тако в гремящие клятвы оны, заряженные железом, камением и тимпаном, направленные против содержащих обряд дониконовский и касающиеся сынов грекороссийской церкви (приемлющих от нее все таинства и молящихся двоеперстно), должно соборне уничтожить, упразднить и яко небывшие вменить, и полемические изошренный стрелы, пущенные в порыве гнева и запальчивости на двоперстие и прочее святочтимые обряды (бывшие в употреблении в период дониконовский во всероссийской церкви), притупить и самые луки сокрушить и всеконечно положить оружие, заповедав соборне: ктому не ратовати на обряды и дозволить желающим совершать оные, если бы таковые были в из сынов грекороссийской церкви. Тогда бы и единоверие имело правильный и последовательный ход, а теперь оно поставлено в двусмысленное положение: поелику клятвы собора 1667 года еще не отменены, и донине существует совместно благословенье и клятва

на одни и те же предметы, как свидетельствуют исторические факты и очень ясно и справедливо в чтениях своих вы доказали, великий оратор! За что да будет вам от всех беспристрастных читателей заслуженная, искреннейшая и вечно-достойная благодарность!

Повторяя при сем мою душевную признательность, пребываю к Вам с достодолжным уважением.

почитающий Вас
Вашего Превосходительства
всенижайший слуга
Убогий Ксенос.

10 июля 1874 г.

IV ПИСЬМО И. Е. КСЕНОСА

Ваше Превосходительство
достолюбезнейший и сладковещайнейший
Тертий Иоаннович!

Первым долгом поставляю благодарить Вас за Вашу любовь и великодушие, яко изволили посетить меня недостойного в толиком отдалении от Вас отстоящего чрез добродушного Н. Я. Соловьева, с которым я пошлю Вам ответное начертание и экз. Окружного послания. Ныне же по чувству уважения к Вашей Высокочтимой особе сообщаю мою мысль:

Ужасно жаль! Что в наше время, то тамо, то онамо произростает революционная пропаганда: и царевубийцы то на берегах Невы, то в Париже, то в Берлине на жизнь

Монархов покушаются! Хотя десница Всевышнего и не допускает им достигать своих целей, но зло, очевидно, растет и усиливается, как это ясно доказывают события в Одессе, на Садовой³ и в прочих местах. Очень странно, что между ученою молодежью участвуют женские лица; к чему эти жалкие люди стремятся? в на что решаются? и что это наука их до сего безумия доводит? или развращенная нравственность помрачивши во глубину погубили порывает. Против этого зла, поставленным на страже и представителям высших наук необходимо нужно принять надлежащие меры, и противодействовать, елико возможно, дабы не отравлялось Русское юношество тлетворным влиянием Запада.

У нас в старообрядческом Русском неученом мире, благодаренье Господу Богу, сего зла не обретается; юноши, следуя примерам праотцев, изучив Русскую грамоту, читают Священное Писание и разные отеческие поучения, в коих часто напоминает: что Власти от Бога учинены, и что царей почитать и бояться необходимо нужно. Внимая учению Писания и гласу совести, у них о революции и прилог помысла не касается. Для наглядного понятия о чествовании Царей, при сем осмеливаюсь послать Вам 5 экз. всеподданейшего письма, препровожденного Государю Императору в 1863-м году, во время польского восстания, из коего можете видеть неизменные верноподданические чувства старообрядцев последователей, Стоглавого собора и первых пяти Всероссийских Патриархов или, что тоже: всей Древлерусской церкви, начиная от Царя и до земледельца.

Прилагаемый адрес, хотя грубо написан, и с научной стороны не заслуживает внимания, но зато по чувству искреннего и непритворного убеждения составлен: и сильно ратует против всех революционеров, так нагло вооружающихся против Богопоставленных Царей!

При сем прилежно молю: соблаговолите прислать через почту труд Ваш о греко-болгарском вопросе, коего с нетерпением ожидаю.

Вашего Превосходительства
Всенижайший слуга
У. Кс. И.

14 сентября 1878 г.

V
ЗАПИСКА О. ПАВЛА ПРУССКОГО

Несколько слов по вопросу о клятвах Собора 1667 г: подлежат ли они упразднению или только разъяснению?

Некоторые писатели, говоря о клятвах Собора 1667 года, выражают мнение о необходимости снятия или уничтожения силы клятв и, в доказательство правильности такого мнения своего, между прочим, приводят мои слова, что особенно сильным препятствием к соединению с церковью служили для меня именно клятвы Собора 1667 года. Если, рассуждали они, для Павла Прусского соборные клятвы казались таким важным препятствием ко вступлению в церковь, то, конечно, еще большим препятствием служат они для прочих старообрядцев, а посему и надлежит оные снять, упразднить. Я не имел бы нужды входить в пререкание с сими писателями, и мнение их, как и следует, предоставил бы вполне суждению и решению церковной власти; но когда они в подтверждение своего мнения приводят

слышанное ими от меня, то обязанным себя почитаю сделать пояснение моих слов, раскрыть, по каким тогдашним убеждениям моим находил я в соборных клятвах сильное препятствие ко вступлению в св. церковь. Сделать такое пояснение считаю тем более необходимым, что дело касается не меня одного, не моего только прежнего понятия о клятвах, но с моим о клятвах понятием писатели (справедливо) поставляют в связи таковые же понятия и всех именуемых старообрядцев.

Какое же понятие имел я первоначально о клятвах Собора 1667 года, и почему они казались мне сильным препятствием к соединению с церковью?

Если бы я, как утверждают некоторые в своих сочинениях, всю силу и важность усвоил тому только, что клятвы, положенный Собором 1667 года, продолжают существовать; доселе не уничтожены церковью: это не могло бы служить для меня препятствием к соединению церковному. Нет, не то меня удерживало от присоединения ко св. церкви, что все еще существуют и не отложены доселе соборные клятвы, а самое наложение сих клятв Собором 1667 года, — то самое, что они были в то время положены церковью: ибо, рассуждал я, произнесением клятв на древние обряды церковью грекороссийская пала, лишилась благодати Святого Духа. (Что таковы были в прежнее время мои понятия о клятвах Собора 1667 года, это я не в первый раз теперь высказываю, но говорил и прежде, чему доказательством служат написанные мною беседы с отцом Онуфрием, с Семеном Семеновичем, и другие сочинения, в которых я касался сего предмета). Так разумел я в прежнее время значение клятв, произнесенных Собором 1667 года; такое же о них понятие имеют и все вообще старообрядцы, не только беспоповцы, но и заимствующиеся от св. церкви крещением и священством поповцы: одни

говорили и говорят, что тогда на Соборе 1667 года, положив клятвы на святочтимые обряды, церковь вовсе лишилась благодати Святого Духа, другие придумали, что тогда в церкви благодать Св. Духа изменилась на несвятость и только оживлялась в оживляется барствующими попами и ныне существующим австрийским архиерейством.

Если бы глаголемый старообрядец и убедился уже в древности начертания имени Христа Спасителя Иисус, в святости четырехконечного креста, и прочие мнимые нововведения признал не нововведением, а древним обычаем, и только оставался бы в недоумении относительно соборных клятв, и тогда препятствием к соединению с церковью для него будет служить не то, что клятвы Собора еще не сняты, существуют доселе, а то, что церковь, по его мнению, чрез наложение соборных клятв на именуемые старые обряды подпала тяжкому греху хуления святоотеческих чтимых обычаев, лишилась чрез сие благодати Св. Духа, сама пребывает в связании, и еще требует исправления и очищения.

Вот в чем состоит укоренившееся в старообрядцах понятие о значении соборных клятв. Оно-то и удерживало и меня от присоединения ко св. церкви (да и многих других, известных мне, удерживает доселе), — и при таком понятии одного снятия, или упразднения клятв Собора, если б оно и последовало, как само собою понятно, не могло быть достаточно, чтобы убедить меня и подобных мне ко вступлению в церковь. Тогда только соборные клятвы перестали служить для меня препятствием к соединению с церковью, когда изменил я самое понятие о сих клятвах, когда уразумел наконец действительное их значение. И случилось это таким образом: во-первых, Бог помог мне понять, что церковь, изъязв из употребления так называемые старые обряды,

не отвергла самого учения догматического, с сими обрядами соединяемого, как, например, образование двумя перстами двух естеств во Христе она не отмечает, но точно иными перстами оные повелевает образовать, в молитве Иисусовой заповедала соборне говорить Боже наш, а не Сыне Божий, не потому, чтобы Сыном Божиим Христа не признавала (ибо и сама в песнопениях соборне всегда славословила и славословит Христа Сыном Божиим), а по иным уважительным причинам. Но это был только еще первый шаг к устранению обретаемого в соборных клятвах препятствия к церковному соединению; совершенное же устранение сего препятствия последовало тогда, когда я выразумел, что Собор 1667 года, при произнесении клятв, имел в виду лица раздирателей церковных и хульников, также людей, хотя не отделившихся еще от церкви, но не признававших ее уставов и злые порицания износивших на ее обряды, о чем и самый Собор, прежде изнесения клятв, ясно засвидетельствовал; на такие же личности, которые бы св. церковь не хулили и обряды ее уважали, а только за привычку просили бы у церкви дозволения содержать обряды времен прежних патриархов московских, — на такие личности Собор в своем определении не указывает и на них приговор свой с проклятием не простирает; посему на таковых блюстителей именуемого старого обряда возводить соборные клятвы значило бы поступать несогласно с волею и решением Собора. Убедясь таким образом, что соборные клятвы положены не за содержание именуемых самых обрядов, тем паче не на самые обряды, а на людей похуливших церковь из неразумной ревности по обрядам, что притом они вызваны дерзкими хулениями этих людей на церковь и ее уставы, я уже не видел в сих клятвах препятствия к соединению с церковью; это наконец усвоенное мною и,

по моему разумению, вполне согласное с самым существом дела понятие о соборных клятвах и отворило мне дверь ко вступлению в православную церковь.

И не со мною одним так было, но и со многими присоединившимися ко св. церкви в разных местах России и по разным губерниям, как то: в Москве, в Петербурге, в Казани, в Ярославской губ., Костромской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Харьковской, в Житомире, в Витебской губ., Псковской, Ковенской, Виленской, в Пруссии, в Австрии; из сих в разных местах присоединившихся старообрядцев есть личности весьма начитанный, и все они сделались верными сынами церкви и ревнителями православия единственно с таким же, как и мое, убеждением о клятвах Собора 1667 года, т. е., что оные положены на противников церкви, из неразумной ревности по именуемым старым обрядам отделившихся от общения церковного. А снятие или упразднение клятв Собора без такого убеждения не только не привлекло бы их к св. церкви, по еще подало бы им довод заключать, что, видимо, церковь и в самом деле прокланала не противников и раздорников церковных, а самые святоотеческие, чтимые нами обряды, и чрез сие впала в грех, лишилась благодати... Не снятия или упразднения соборных клятв желают все присоединившиеся ко св. церкви сведущие и рассудительные люди, а только того, чтобы сделано было соборное разъяснение клятв в таком смысле, что оные положены и лежат на хулителях церкви, из-за обрядов воздвигших и поддерживающих раздор церковный; да еще все они желают того, чтобы уничижены были слишком резкие выражения о именуемых древних обрядах, допущенные частными писателями в полемических сочинениях.

Здесь для лучшего разъяснения занимающего нас вопроса не лишним полагаю изложить одну беседу о

значении соборных клятв, которую имел я не с беспоповцем и не с кириловцем, или так наз. раздорником, а с защитником окружного послания, покойным Семеном Семеновым. Когда я свиделся в Чудовом монастыре с о. Пафнутием вскоре после его присоединения к церкви, тогда была молва, что единоверцы ходатайствуют об упразднении клятв Собора 1667 года При разговоре с о. Пафнутием была у нас об этом речь, и, между прочим, он сказал мне: «Я слышал от Семена Семеныча, что и его от присоединения к церкви удерживают также одни только клятвы Собора 1667 года». Вскоре же пришлось мне увидеться с Семеном Семенычем в доме покойного Елисея Саввича Морозова, и я, желая точнее узнать, каких именно держится он понятий о клятвах Собора 1667 года, спросил его: «Скажите чистосердечно, Семен Семеныч, как вы полагаете, можно ли будет присоединиться к церкви, ежели, как слышно, Собором упразднены будут клятвы 1667 года?» С. С. ответил: «Ежели и упразднены будут клятвы, не присоединюсь я к церкви, пока она не введет в употребление старые книги и старые обряды». Я еще спросил: «А когда и клятвы будут уничтожены, и старые книги будут введены в употребление, тогда согласны ли будете присоединиться к церкви»? С. С. ответил: «Не присоединюсь еще и тогда; а пусть церковь сначала признает, что предки наши и мы неизменно соблюли древнее благочестие и раздорниками не были, как она думает, и что она несправедливо и незаконно внесла на нас клятвы». Я еще спросил: «А ежели и это все будет исполнено, тогда, наконец, согласны будете идти в церковь»? С. С. ответил: «И тогда еще не пойду; а пусть греческие и российские архиереи попросят у наших за свои на старые обряды дерзости, — хоть ослаби, остави прочитают: когда получают от наших архиереев разрешение, тогда и будем с ними воедино».

Я заметил С. С.—чу: «Ты хочешь теперь, чтоб от ваших архиереев грекороссийские приняли разрешение; а греческий митрополит Амвросий от какого архиерея получил у вас разрешение, когда вступил к вам и сделался родоначальником ваших нынешних архиереев»? С. С. не знал что ответить. Но не в этом дело; здесь важно для нас, собственно, то, как рассуждал о снятии соборных клятв и какое усвоил ему значение один из знаменитых старообрядских начетчиков, принадлежавший к партии так называемых окружников. Он не только не допускал, чтобы по снятии клятв старообрядцы легко могли присоединиться к церкви, но еще приходил к тому заключению, что по снятии клятв сами церковные должны присоединиться к старообрядцам, подвергнув себя исправе. И если бы действительно последовало снятие или упразднение клятв, чего желают и некоторые литераторы, а не разъяснение только, тогда старообрядцы в полемике с православными непременно приняли бы новый оборот: держась того мнения, что клятвы положены, собственно, за употребление именуемых старых обрядов, они никак не удовлетворятся одним только снятием оных, а без сомнения пойдут по стопам Семена Семеныча, будут требовать еще, чтобы церковь признала себя погрешившею чрез произнесение клятв и очистилась от этого греха, т. е. чтобы посредством неправы сама к ним присоединилась. В этом удостоверяют и существующие во всех старообрядских сектах чинопрятия, посредством которых они принимают приходящих к ним от великороссийской церкви: ибо и самые окружники, по общему мнению, ближайšie к прав. церкви, без навершения крещения миропомазанием, или, по снисхождению, возложением рук, православных к себе не принимают. При таком воззрении старообрядцев на клятвы Собора 1667 года, повторю опять, невозможно

надеяться, чтобы чрез снятие сих клятв были отворены им двери к соединению церковному, напротив, оно дает им еще новое орудие действовать против церкви. Скажут (и говорят некоторые): пусть Собор 1667 года положил клятвы собственно на укорителей и хулителей церкви; но церковь по человеколюбию должна снять с них клятвы, дабы старообрядцам отворить двери к соединению церковному. На это мы скажем: церкви надлежит быть с немощными яко немощной, но только ежели есть предусмотрение — да немощные приобрящет; а ежели, как мы выше показали, того не предвидится, но еще поставлены будут в затруднительное положение хотящие трудиться в проповеди слова истины глаголемым старообрядцам, то какая будет польза ста снятия соборных клятв? В Христ. Чтении, в книжке за месяц май 1870 года, автор статьи «О единоверии» излагает даже и самые слова, коими бы, после такового, по милосердию сделанного снятия клятв, можно было отвечать старообрядцу на его недоумение, почему клятвы были положены прежде, когда теперь сама же церковь признала их ненужными. Вот эти слова: «Когда-де ревнители мнимой старины при исправлении книг и обрядов в патриаршество Никона упорно восстали против церкви в защиту этих книг и обрядов, не чуждых погрешностей; когда на перемену даже одной буквы в этих книгах они стали смотреть как на перемену веры, как на ересь; когда при том исправленные обряды и книги начали поносить самыми «хульными» именами, а церковь, принявшую эти исправления, обзывать «оскверненною ересью многими и антихристовою скверною», вследствие чего «мнози христиане отлучишася церковного входа и молитвы и о гресех своих покаяния, и исповедания, и причастия тела и крови Христовы лишишася»; когда, наконец, вожди восставших против церковного исправления провоз-

гласили потерявшею истину и православие не только церковь русскую, но и греческую (доп. к А. Истор., т. V, стр. 449 и 459), и таким образом впали в ложную еретическую мысль, будто истинная церковь, вопреки слову Основателя своего, прекратилась на земле, — Собор Московский 1667года строго судил такое неправильное мудрование, и на защитников его, как еретиков и непокорников, наложил проклятие. До зде из Христ. Чтения. Слова эти правильно объясняют происхождение соборных клятв; но желательно знать, от чьего же лица они должны будут провозгласиться старообрядцам? Ежели от самой церкви, то как церковь, выражая столь решительно, что клятвы Собора положены на еретиков и непокорников, обозвавших ее оскверненною ересью многими и потерявшею православие, похуливших имя Христа Спасителя Иисуса, и св. крест Христов, четырехконечно изображенный, и Св. таинство Тела и Крови Христовых, — как она таких же хулителей и в том хулении пребывающих, не покаявшихся, будет разрешать от клятвы? на каком основании и на какую потребу? Недоумеваю.

Если бы даже соборне сняты были клятвы только с присоединившихся от старообрядства ко св. церкви, и в таком случае возникает вопрос: зачем это делать, когда, по словам самого автора статьи о единоверии, клятвы положены только на хулителей св. церкви, а они уже более не хулители? Скажут, что прежде, быв старообрядцами, они были хулителями церкви, на которых и положена клятва: посему, обращаясь к православной церкви, они нуждаются в том, чтобы сия клятва была снята с них. Но не напрасно ли таковым вторично требовать сложения клятвы, когда клятва снята с них самим Собором 1667 года? ибо Собор постановил на таковых дотоле точно лежати клятвам, доколе пребудут во упрямстве своем.

Таким образом, из слов самого автора статьи о единоверии мы убеждаемся, что есть нужда не в снятии клятв, а только в разъяснении оных, на кого и за что они положены, на кого простираются и на кого не простираются. Если же церковь сняла бы клятвы без всякого разъяснения, объяснение же, на кого и за что оные положены, написанное автором статьи о единоверии, стали бы объявлять старообрядцам частные лица, то старообрядец не затруднился бы тогда заметить такому частному лицу: «Это говоришь ты, а церковь, сложившая клятвы, очевидно, не с хулителей церковных слагала их, но просто с употребляющих старые обряды: значит, она признала, что Собором 1667 года клятвы положены были именно за употребление святоотеческих обрядов и теперь, слагая сии клятвы, она сама созналась, что клятвы положены были неповинно и незаконно». За сим старообрядцы сумеют подвести и правила, которым подлежат незаконно износящие клятву, а наконец, сделают заключение, что церкви не нас-де следует увещевать к соединению, а прежде себя очистить неправую за незаконно произнесенную Собором 1667 года клятву и искать общения с нами. И произойдет, таким образом, новая бесполезная борьба.

Вот что может последовать за снятием или упразднением соборных клятв.

Мы это пишем не в предостережение церковной власти, о котором и помыслить не дерзаем, мы твердо веруем, что церковь, окормляемая Духом Святым, не может погрешить в своих определениях; но только самих себя и прочих частных лиц желаем вывести из затруднения к лучшему рассуждению. Я вполне соглашаюсь, что по вопросу о клятвах Собора 1667 года необходимо церковное решение; но не в том должно состоять оно, чтобы клятвы сии соборне были сняты или упразднены,

а чтобы только соборне разъяснен был смысл оных: за что и на кого они положены, кто подлежат им и на кого они не простираются; да еще необходимым признаю, чтобы церковною властью уничтожены были слишком резкие выражения, смущающие чтителей глаголемых старых обрядов в некоторых полемических сочинениях. Все сие необходимо для того, чтобы избавить великого труда проповедующих старообрядцам слово истины и слову их подать силу и чтобы самим старообрядцам угадился путь к соединению с церковью.

ПРЕДИСЛОВИЕ СОБИРАТЕЛЯ ПЕСЕН

Зачем вы начертали так
На памяти моей
Единый молодости знак
Вы, песни прежних дней?

Пора народного песенного творчества на Руси прошла и никогда уже не возвратится. От разлагающего прикосновения к душе народа понятий и вкусов в ней мало-помалу мутился, оскудевал и наконец совершенно иссяк тот чистый и светлый родник, из которого в течение веков почерпали свое высокое вдохновение творцы народных песен и их дивных напевов, оставившие потомству богатое наследство, но скрывшие от него свои имена. Теперь не только невозможно создание в народе новой песни в духе и складе древнего творчества, но за большую редкость почитается сохранение по местам прежде созданных и еще не совсем вытесненных из употребления чисто народных песен. В течение полувека, который я провел в постоянном и тесном общении с русскою народною песнью, в ее судьбе произошла поразительная и по быстроте едва вероятная перемена. Когда память воскресает и ставит предо мною образы некогда действительно бывших и, несомненно, слышан-

ных мною художников и звуки петых ими песен, рождается невольное сомнение: вправду ли все это было или то был сон? Каким же злым волшебством могло в такой поразительный срок погибнуть исконное народное творчество? И как могла столь поэтическая среда, создавшая такой чарующий мир, допустить в себя, взамен собственных изящных созданий, ту пришлую мерзость и пошлость, которою за последние десятилетия успели наделить русскую деревню наши большие и просвещенные города, преимущественно же

Чужой, дальний, незнакомый,
Славный город Петербург?

Без сомнения, тому могущественно содействовали коренные и столь же изумительно быстрые изменения в условиях всей нашей жизни, которые значительно сократили прежнее расстояние между преобразованными слоями народа и собственно народом и, усилив влияние городов на деревню, не только помутили область народного творчества, но простерли свое влияние и далее. Впрочем, в других отраслях духовной деятельности народа для него возможна еще оборона и помощь со стороны. Но песнь народа отошла навсегда, и нет в природе таких сил, которые могли бы возродить возвышенное и строго художественное настроение народа, создавшее в течение веков бесконечный цикл его вдохновенных песен.

Но если нет человеческих средств к задержанию того, что исчезает, повинувшись роковым и неумолимым законам, определяющим ход человеческих общезитий, то не только можно, но и должно каждому из нас доступными ему средствами стремиться к сохранению тех памятников народного творчества, которые еще не утра-

чены и остаются в народном обращении. С отроческих дней ознакомившись с произведениями народной поэзии и усвоив их самобытные разнообразные напевы, я перешел в юношеский возраст с богатым песенным запасом, и с той весьма далекой уже от настоящей минуты поры не переставал думать о сохранении для родного искусства носимых моею памятью сокровищ. Но при первом же приступе к исполнению своей мысли мне пришлось убедиться, что такое с виду совершенно простое намерение, как перевести на ноты напевы русских песен сообразно с их истинною природой, исполнить не так-то легко. Особенности наших народных напевов таковы, что они не каждому даются. И мои напевы весьма долго не давались разумению весьма опытных и искушенных в учебной науке художников, к которым я обращался в разное время с моей нуждой.

Первое мое обращение (около тринадцати лет тому назад) было к знаменитому в свое время московскому пианисту, который после нескольких попыток отказался от дальнейших со мной занятий, признав невозможным примирить те необычные для его уха сочетания звуков, которые он встречал в моем исполнении русской песни, с требованиями известных ему законов общеевропейской музыки.

По переселении моем в Петербург, в 60-х годах, сделано было еще два опыта, из коих один кончился ничем, а второй (с г. Вильбоа) привел к изданию в свет некоторой части моего песенного запаса.

Но так как г. Вильбоа, записав наскоро с моего голоса мои напевы, поспешил издать их в своем сборнике вместе с другими ему известными напевами, не проверив своего труда ничьим судом и даже обстоятельными объяснениями со мною, то этим опытом мои ожидания и требования удовлетворены быть не могли, тем более,

что в сборник г. Вильбоа вошли не все мне известные и достойные общего внимания напевы.

Наконец, в 70-х годах, при благосклонном посредстве М. А. Балакирева, судьба моих напевов отдана была в руки родного ему по духу художника Н. А. Римского-Корсакова, который на передачу их положил много дорогого для него времени и добросовестных усилий, и которому я приношу глубокую и искреннюю признательность за осуществление давней и никогда не покидавшей меня мечты увидеть когда-либо хранившиеся в памяти моей напевы изданными в виде, вполне достойном их художественного значения.

Песни, вошедшие в наш сборник, числом сорок, разделены на шесть разрядов: 1. Песни духовного содержания. 2. Песни в роде былин. 3. Одиночные. 4. Хоровые. 5. Хороводные. 6. Плясовые.

В первом разряде вместе с духовными стихами, помещен напев былины, которую пел в заседании Петербургского Славянского комитета олончанин Т. Г. Рябинин, на том основании, что выделять одну песню в особый разряд не приходилось, а по свойству (эпическому) напева ему самое приличное место было в ряду сродных ему напевов духовных стихов.

Все духовные стихи сборника слышаны мною во Ржеве; слова в стихах об Алексее Божьем человеке и о Лазаре, в стихе поминальном и заздравном, записаны также от ржевских певцов. Но слова стиха о Егоре Храбром, за утрату моего собственного списка, взяты мною из сборника П. И. Якушкина, причем необходимо было сделать некоторые перемены в правописании и размере. Из Голубиной книги дано лишь несколько стихов по собранию П. В. Киреевского, а к напеву былины Т. Г. Рябинина подобраны четыре стиха из сборника А. О. Гильфердинга.

Текст Алексея Божьего человека составлен мною из двух слышанных мною во Ржеве стихов, причем, за основу взято лучшее из двух разнопений, а из другого вставлены стихи, особенно поразившие меня своею красотой.

Обе песни второго разряда замечательны как по содержанию, так и по достоинству их напевов. «Песня о Ване Клюшнике» была очень распространена в народе, а другая — «Как Донской казак вел коня поить», по всем вероятностям, погибла бы вместе с множеством других забытых народом и ничьей памятью не удержанных песен, если бы она не попала в издаваемый ныне сборник. Никому из знакомых мне собирателей, знатоков и певцов русских песен, не случилось ни разу услышать ее, слышал только недавно скончавшийся певец и руководитель хора И. Е. Молчанов, припоминал смутно, что в молодости он ее слышал.

То же самое должно сказать и о другой замечательной песне, из разряда одиночных: «Что вились-то мои русы кудри, вились, завивались». И она обязана своим сохранением тому обстоятельству, что мне привелось ее услышать во Ржеве от одной певицы (той же самой, которая пела о «Донском казаке»), кроме которой и там ее никто не пел и не знал. П. В. Киреевскому обе эти песни сообщены были мной в 1850 году.

О песнях последних трех разрядов нужные замечания сделаны под самым их текстом. К ним считаю нужным присовокупить еще одно общее, ко всем им относящееся. Хотя под каждой песней и подписано, в каком именно месте я ее услышал, но это указание отнюдь не обозначает того, будто та или другая песнь с тою или другою местностью имеет особенную связь. По моему крайнему разумению, почти все они пелись в свое время почти по всей земле великорусской, распространяясь в

народ особыми неуловимыми для наблюдения путями. Мои указания на то, что я слышал одну песню в Москве, другую во Ржеве, третью в Калуге, изображают лишь до меня одного относящуюся случайность, на которой я остановил внимание читателей только по принятому в подобных изданиях обычаю.

Первая и ближайшая цель издания сего сборника, как и других ему подобных, состоит, конечно, в спасении уцелевших остатков древнего народного творчества от забвения и невежественного равнодушия. Но надежды издателей на этой насущной цели не останавливаются и стремятся далее ее. Они думают, что в сохраненных ими для искусства напевах наши родные художники найдут богатые и разнообразные темы для новых созданий и тем утвердят и упрочат успехи того самобытного направления в области русской музыки, коего высшими представителями почитаются Глинка и Даргомыжский, и коего знамя так высоко держат живущие среди нас их преемники. Еще отрадней мечта, что не теперь, конечно, а в другое, более счастливое время, когда, вопреки дружным ополчениям всех многообразных врагов народа, он отстоит себя их насильнических забот и дождетя для своих детей призываемой его чаяниями школы, при помощи такой школы, в оборот народный может проникнуть вновь хотя часть тех художественных сокровищ, которые ныне уходят из его владения и передаются на хранение ревнителям его самобытности и духовной свободы.

ПИСЬМО КОМПОЗИТОРА С. М. ЛЯПУНОВА¹
К ПРОФЕССОРУ МУЗЫКИ В ПАРИЖСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ БУРГО-ДЮКУГРЭ

Милостивый Государь.

Живой интерес, свидетельствуемый Вами к народной музыке всех народов, дает мне право поделиться с Вами собранием русских песен, составленным в последнее время Императорским Русским Географическим Обществом. Прилагаемый при сем выпуск есть только начало большого труда, предпринятого ныне вышеназванным Обществом, почтенная цель которого — собрать старую и настоящую русскую песню, изглаживающуюся и совершенно исчезающую, уступающую место новым сочинениям слишком дурного вкуса, очень распространенным между фабричными рабочими и другими мастеровыми всех видов. Эти банальные песни не представляют никакого серьезного интереса, и необходимо желать, чтобы собраны и воспроизведены были для потомства настоящие старые мелодии. По этому поводу специальный комитет, под председательством г. Т. Филиппова, почетного члена Географического Общества, взял на себя труд организовать экспедиции, которые, проходя по России, предпринимали бы собрание наших старых национальных мелодий во всей чистоте их поэтической красоты, такими, какими они сохранились в самых отдаленных углах нашей обширной империи. Было образовано три экспедиции, причем каждая состояла из двух лиц, одного для записывания текста, другого — мелодии. Первая

экспедиция, труд которой только что издан в первом выпуске, направившаяся в губернии Олонецкую и Архангельскую, была предпринята гг. Г. Дютшем и Ф. Истоминым. По смерти г. Дютша, прервавшей его дело, редакция музыкальной части была вверена мне, равно как музыкальная часть и следующей экспедиции, исполненной г. Истоминым и мною летом 1893 года. Как только наша работа будет окончена и издана, я поспешу послать ее к Вам, льстя себя наперед Вашим добрым приемом.

Примите, Милостивый Государь, мои отличнейшие чувства вместе с уважением, которые питает к Вам Ваш покорный слуга.

С. Ляпунов.

ПИСЬМО ПРОФЕССОРА ИСТОРИИ МУЗЫКИ В ПАРИЖСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ БУРГО- ДЮКУГРЭ К КОМПОЗИТОРУ С. М. ЛЯПУНОВУ

Милостивый Государь.

Если я замедлил уведомлением Вас о получении Вашей драгоценной посылки, то потому, что я желал ознакомиться с этим прекрасным сборником русских народных песен прежде, чем послать Вам мою сердечнейшую благодарность.

Россия — страна неисчерпаемого богатства и свидетельствует об удивительной музыкальной плодовитости. После прекрасного сборника Балакирева и Римского-Корсакова я не ожидал встретить в этом новом томе столько неподозреваемых сокровищ.

Столь обширное и столь артистическое предприятие, которому покровительствует Императорское Географическое Общество, будет иметь заметное и очень благодетельное влияние на будущность нашего искусства.

Каждое из этих вдохновений, истекающее из чистого человеческого гения, суть лучи вечной истины, открываемой в первобытной человеческой душе. Г. Филиппов и вы все господа поняли величие подобного артистического единения, которое состоит в том, чтобы не давать теряться этим драгоценным сокровищам, но собирать их дороною ценою и складывать их в менее интеллектуальную часть человечества. Вот в этом первом выпуске блистательное свидетельство успеха вашего грандиозного предприятия, о полном окончании которого я возсылаю самые горячие пожелания.

Верьте, Милостивый Государь, моим чувствам уважения и теплого сочувствия.

*Бурго-Дюкугрэ.
16, вилла Монитор,
27 января 1895*

**РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В
ЗАСЕДАНИИ ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
2 ДЕКАБРЯ 1882 ГОДА ВИЦЕ-
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВА
Т. И. ФИЛИППОВЫМ**

Ваши императорские высочества!
Богомудрые пастыри и отцы!
Вожделенные братия и сестры!

Святая земля, на служение которой учрежден наш недавно возникший союз, есть общая духовная родина всякого верующего христианина, без различия племен и особенностей вероучения.

Каждый христианский отрок, не лишенный благоденний воспитания, при самом начале своего обучения прежде имен и событий, принадлежащих истории его собственного народа, слышит и читает о событиях, передаваемых бытописанием Обетованной земли, и на всю жизнь запечатлевает в своем воображении величественные и священные лики ее древних обладателей и богоизбранных совершителей ее дивных судеб.

Имена Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и Рахили, Иосифа и его братьев, Моисея и Аарона,

Гедеона и Сампсона, Самуила и Саула, Давида и Соломона, Илии и Елисея, Исайи и Иеремии и множества иных, о коих «не достанет мне повествуящу времени», суть имена не только для нас священные, но и родные, близкие нам, наравне с самыми дорогими именами родной земли.

О них во всю остальную жизнь нашу непрерывно напоминает нам церковь в чтении священных книг и в пении своих торжественных и высоко художественных песнопений, а вместе с сими именами и о событиях, которые с ними связаны и которые совершались большею частью в пределах Св. земли, а если и вдали от нее, то с мыслью, постоянно к ней обращенною и простертою.

И самые места, свидетели сих событий и подвигов избранных мужей избранного народа, хотя бы и не виденные нами, но знакомые по имени, хранятся неизгладимо в нашей памяти чрез всю нашу жизнь и доносятся ею до нашего последнего часа.

Над всеми же именами, прославившими историю Св. земли, возносится Единое Имя, «еже паче всякаго имени», и над всеми виденными ею событиями возстает, в недостижимой и неудобозримой высоте своего божественного значения, единое событие, к коему вся прошлая жизнь человеческого рода была лишь приготовлением и без которого самое бытие его утратило бы свой верховный смысл и снизошло бы до загадочного и безотрадного движения от бессмысленного начала к бесцельному концу. Это от века утаенное и в предопределенный Божиим советом день открытое миру таинство, неизреченно, паче слова и разума, сочетавшее с землею небо и соединившее с человеком Бога, проявилось, с внешней исторической своей стороны, в целом ряде событий, о коих, кроме Св. книг и преданий, ясно проповедают священные урочища Св. земли.

Там Назарет, куда «послан был Архангел благовестити Деве зачатие»; там Вифлеем, где в смиренных яслях лежал повитым младенцем Превечный Бог; там пустыня, свидетельница искушения Непричастного греху; там Иордан, в струях коего нас ради крестился не Имевший нужды в крещении; там Иерусалим, избивший пророков и камением побивавший посланных к нему; там Гефсимания, свидетельница человеческого изнеможения и предсмертной скорби Богочеловека; там крестный путь; там страшная Голгофа; там Животворящий Крест и Живоносный гроб Господень, «источник нашего воскресенья»; там Елеон, откуда, по исполнении Божья о нас смотрения, Иисус вознесся во славе ко Отцу Своему. Там на Сионе стояла и та горница, где в день пятидесятный, в шуме бури и в видении огненных язык, «Дух сниде Святыи на святыя Его ученики и апостолы».

Туда, к этим святыням, от первых дней христианства, через длинный ряд столетий, постоянно стекались и доньше стремятся от всех племен и стран благочестивые поклонники, дабы лобзать и увлажать слезами признательности и умиления ту землю, коей касались пречистые стопы Господни и на которой совершилась тайна нашего искупления.

Вот почему я назвал Св. землю духовною родиною каждого верующего христианина и каждого христианского народа, не исключая из сего именованя и тех, которые не соблюли в целостности непорочного учения, проповеданного божественными апостолами и утвержденного всеобщим и согласным свидетельством неоднократно собиравшейся для сей цели вселенной.

Но если Св. земля не чужда народам и странам, уклонившимся от правого исповедания веры и от духовного общения с четырьмя священными престолами православного Востока, то для нас она имеет совер-

шенно особое значение, равно как и мы для нее, как состоящие с нею в неразрывном и преискреннем общении веры и единомыслия и потому имеющие право с дерзновением сказать про себя, что там, в земле чудес Христовых, «несмы странни и пришельцы, но сожителе святым и приснии Богу».

Неправославные христианские церкви и новейшие христианские секты имеют там своих представителей; но у некоторых из них, как, например, у церкви армянской, вовсе нет паствы, если не считать паствою некоторого количества заезжих и пришлых обитателей Св. земли армянского происхождения. Иные же, как, например, латинская и англиканская (в союзе с протестантскими сектами), хотя и считают немалое уже количество последователей из местных жителей Св. земли, но все они приобретены ими путем совращения и соблазна, к коему особенно латинская пропаганда имеет веками приобретенный навык и коему ниоткуда, ни с чьей стороны, она не встречает преграды или противодействия.

Природный же и единственно законный пастырь христианских обителей Св. земли был и есть православный патриарх Иерусалимский, церковь которого, вместе с прочими тремя вселенскими престолами православного Востока и с иными независимыми церквами, в том числе и с церковью русскою, входит в состав вселенского православного союза, иными словами, составляет упоминаемую в никео-константинопольском символе Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

В этом великом и священном союзе России отведено Божиим промыслом особое место. Среди всех православных народов мира, из коих иные еще страждут под чуждым игом, иные же хотя и освободились от рабства благодаря нашему заступлению и пролитию нашей крови, но слишком слабы и зависимы и едва способны

оберегать свою собственную самобытность, среди всех их один лишь русский народ облечен силою и могуществом, одарен обильными и разнообразными средствами для защиты православия и исповедующих оное народов от непрерывного и неослабного нападения их многочисленных, настойчивых и хитрых врагов.

Призвание России служить оплотом церкви и быть ее оградой и упованием отмечено в ходе ее исторической жизни поразительно яркими чертами. Самое совпадение года, к которому летопись относит начало нашего государственного бытия, с годом первого рокового разрыва между Римом и четырьмя православными престолами Востока, содержит в себе указание на то, что возникавшая к жизни на отдаленном Севере в половине IX в. держава предназначалась в утешение церкви за великую постигшую ее утрату. Не подумайте, что это мое личное и произвольное воззрение. Я, конечно, не отрекаюсь от него; но оно родилось не в моем уме и только мною усвоено. Это взгляд самих восточных братьев наших, который явственно выражен в их письменных памятниках, проявляется при всяком удобном случае в их беседах о наших общих судьбах и яснее всего запечатлен в одном из важнейших деяний нашей исторической жизни и священнейших памятников нашего духовного с ними общения, именно: в деяниях Собора, утвердившего учреждение в Москве патриаршего престола, где прямо провозглашено, что патриарх Московский и всея Руси учреждается в замену отпавшего от единства веры патриарха Древнего Рима.

Еще разительнее совпадение времени взятия Константинополя и разрушения Византийской империи со временем освобождения России от монгольского ига и начала ее государственного роста, который, постепенно увеличиваясь, достиг впоследствии исполинских

размеров, соответственных высоте и тяготам ее верховного призвания. По мере возвышения Москвы, в общем сознании всего православного мира более и более прояснялось и утверждалось убеждение в том, что единый под солнцем православный государь, самодержавный повелитель Руси, приял от Бога свою власть прежде всего «более всего для охранения Его церкви и для сокращения тех преисподних сил, которым за грехи христианства дано было поругаться его величайшим святыням и повергнуть в тягчайшую и позорную неволю все единоверные нам племена». Эту задачу, это поручение Божие, вся православная Россия считает своими и донныне, не отрекаясь от соединенных с ними жертв и подвигов: ибо отречение от них было бы отречением ее от самой себя, от священнейших заветов своей истории, от верховного смысла собственного бытия.

Я надеюсь, что досточтимое собрание не осудит меня строго за изложение этих «общих мест», этих несомненных аксиом нашего народного и государственного исповедания. Особенность нашего мудреного времени состоит именно в стремлении сдвинуть с их оснований все нравственные политические аксиомы и на место их насильственно водрузить пущенные в оборот производные измышления современного глубоко падшего и оскверненного ума. Посему напоминать при случае о колеблемых основаниях нашего государственного катехизиса — дело вовсе не лишнее, особенно когда речь идет о таких делах, как наше дело, которое только на этих основаниях и может быть утверждено и воздвигнуто.

Обязанности, возлагаемые на нас нашим призванием оберегать единоверные восточные церкви вообще и в частности церковь Иерусалимскую, как Дщерь Сиона и Матерь церквей, в настоящее время особенно трудны и требуют от вас согласных и самоотвержен-

ных усилий: ибо никогда, со времени его пленения, православный Восток, в особенности же церковь Иерусалимская, не испытывали таких потрясений и не подвергались таким многообразным опасностям, как именно в настоящую минуту.

Многим из вас, без сомнения, известно содержание первого выпуска «Палестинского Сборника», издаваемого В. Н. Хитровым. В этой поистине замечательной книге нашего достойного сочлена, много потрудившегося и для создания нашего Общества, с необыкновенным знанием дела и с ужасающе выразительностью изложена глубоко для нас печальная и бесславная история успехов в Св. земле латинской и протестантской пропаганды и соразмерных с ними наших поражений и духовных потерь.

Не смея утомлять вас повторением начертанных искусною рукою Василия Николаевича подробностей духовной брани, которую вел Запад с Иерусалимскою церковью за последние сорок и особенно двадцать пять лет (со времени назначения знаменитого Валерги латинским патриархом Иерусалима) и которая продолжается поныне и, конечно, будет продолжаться с прежним со стороны наших врагов упорством, я позволю себе привести вам на память лишь несколько заключительных строк из той главы книги В. Н. Хитрова, которая посвящена изображению этого именно периода борьбы.

«В 40 лет, — говорить г. Хитрово, — протестантская и латинская общины в Св. земле возросли с 2 тыс. до 13 тыс. человек, и в этом числе более половины, до 8 тыс. человек, составляют отторгнутые от православия; причем число это есть результат не всех сорока, а только последних 20 лет. Но и в таком отторжении почти трети православного местного населения (всех православных в Св. земле насчитывалось до 25 тыс. человек),

как оно ни прискорбно, я еще не вижу главного зла. Самая большая, самая неотразимая опасность для православия в Св. земле заключается, по моему убеждению, в том, что составляет, к сожалению, наибольшую силу западной пропаганды. Из списка известных мне иноверных учреждений, помещенного в приложении, видно, что почти половина их, а именно более 80 учреждений, предназначены для воспитания и призрения с лишком 5 тыс. детей. Понятно, что это число далеко не соответствует 13-тысячному населению протестантов и латинян, живущих в Св. земле; мусульмане только исключительно отдают своих детей в эти школы, а затем половина воспитывающихся в них детей принадлежит православным родителям.

«Если при этом мы припомним, продолжает автор, как живучи впечатления первого воспитания; если мы отдадим себе отчет в бедности и политическом угнетении православного туземного населения, то для нас станет ясным, что большинство этих воспитанников протестантских и латинских школ составит ежегодное приращение иноверных общин и что без принятия неотложных энергических мер противодействия им достаточно будет немногих лет, чтобы православие перестало существовать в той именно стране, где воссияло Солнце Правды и откуда свет Христова учения распространился по лицу всей Вселенной».

Изображением этих поразительных успехов наших врагов я не имею в виду будить в вас чувства негодования на их посягательства. Враги наши делают свое дело, исполняют то, что считают своим священным долгом: сворачивая, они надеются направить на прямой путь; губя и расхищая, они думают, что спасают и собирают. Одним словом, они «мнутся службу приносить Богу», и нам странно было бы ожидать от них иного поведения и

иных к нам отношений. Нам нужно оглянуться на себя и строго допросить свою собственную совесть: что делали за это время мы? Какие средства к защите от западного насилия изобрели и доставили мы нашим изнемогающим в борьбе единоверцам? Многие ли из нас были заняты мыслью о таковой защите? Даже многие ли из нас знали, что там, в пределах священной для всего мира и родной нам земли, нашедшие с Запада волки похитили третью долю овец нашего словесного стада?

Вообще, когда между нами возникает разговор о духе латинской церкви, о ее непрерывной, ни на миг не успокаивающейся деятельности, направленной к стяжанию душ чуждой паствы; о чудесах самоотвержения, совершаемых ее отрядами, рассылаемыми во все концы мира; о вещественных и умственных благодеяниях, оказываемых ими в неведомых никому углах земного шара, и когда рядом с этой кипучей и одушевленной деятельностью сопоставляется наше спокойное и ничего нам не стоящее бездействие, то мы обыкновенно выходим из затруднения совершенно особенным, самобытным приемом суждения. Мы изобрели на этот случай свою теорию, которая учит, что пропаганда вовсе не свойственна духу православной Церкви и в круг наших обязанностей вовсе и не входит; что с нас достаточно хранить, что имеем, и не искать чужого; что тревожная деятельность латинской церкви объясняется свойственно всякому заблуждению и пороку склонностью умножать число своих последователей.

Уклоняя таким образом «сердце свое в словеса лукавствия», чтобы в них обрести мнимое оправдание нашей лени, нашему равнодушию и нашей неумелости, мы не замечаем того, как мы оскорбляем честь и достоинство православного знамени. Кто же узнает об истине, если хранители ее будут беречь ее только про себя?

«Како уверуют, аще не услышат? Како услышат без проповедующего?»?

Вместо того, чтобы приискивать извинения своему явному греху, исповедуем его мужественно и устремимся на его победу. Мы слишком мало дорожим своим призыванием и любим более украшаться им как духовным преимуществом и правом, чем исполнять сопряженные с ним великие и ответственные обязанности.

От этих общих соображений обращаясь к нашим обязанностям по отношению собственно к Св. земле, остается присовокупить, что здесь нам не предстояло даже стремиться к новым духовным приобретениям; весь долг наш ограничивался обороною, в союзе с православным Иерусалимским патриархом, его паствы от духовного насилия, коему она подвергается от союзного ополчения наших общих западных врагов.

Что же мы делали для этой обороны и что сделали?

Нельзя сказать, чтобы мы ничего не делали; но надобно признаться, что сделали немного и что из сделанного нами не все пошло на пользу Св. земле, а многое обратилось ей даже в прямой вред. Я не стану пригвозждать вашего внимания к ошибкам нашего прошлого, и если упоминаю о них мимоходом, то отнюдь не для того, чтобы навести на кого-либо осуждение. Мы сами стоим при начале нашего пути и ступаем свой первый шаг: кто знает, что ждет нас самих, и благословит ли наши начинания Живый во Иерусалиме? Послужит ли нам в научение пережитый опыт и найдем ли мы в себе достаточно сил и духа, чтобы совершить что-либо истинно достойное нашего священного предприятия? Это такие вопросы, пред которыми мы стоим в настоящую минуту в полном неведении, со смирением вверяя наши начинания и судьбу всего нашего дела промышляющему о Своей церкви Богу и от Него единственно ожидая

помощи в предстоящих нам трудах и заступления в неизбежных испытаниях.

Итак, повторяю, не для того упомянул я о прошлом, чтобы навести на него порицание, но потому, что пройти его совершенным молчанием я не мог, не изменяя своей прямой обязанности. Есть некоторые черты в нашей недавней деятельности на Востоке, которые мы должны постоянно держать перед нашими очами, дабы избегнуть повторения содеянных ошибок. В последние 25 лет мы заметно отступили от нашего исконного и единственного верного начала, коим определялись наши отношения к православному Востоку и к населяющим его народам. Церковь, которую все православные племена Востока собирались в одну цельную, сплошную силу и чрез которую все они входили в неразрывный союз с их Богом назnaименованной покровительницей, должна была поосторониться перед подчиненным ей дотоле началом народности, последствием чего были многочисленные и прискорбные недоумения, разрыв вековых связей, расстройство и без того ослабленного вселенского союза, бесплодие или, по крайней мере, малоплодность наших героических подвигов и, наконец, потрясение православного Иерусалимского патриархата, у которого в самое горячее время борьбы с западными врагами были отняты необходимые и в собственность ему принадлежащие средства. Мы можем возблагодарить Бога за то, что в настоящее время все становится вновь на свое место, и в соотношениях между началами, признанными к совокупной и стройно согласованной деятельности, водворен прежний временно нарушенный порядок; что Иерусалим в своих лишениях частью уже утешен и в свое время, без сомнения, введен будет во все свои права. Одним словом, мы начинаем свою деятельность, с одной стороны, при весьма благоприятных предзнаменованиях и можем

быть спокойны за то, что верное направление наших действий зависит вполне от нашего разума и желания идти прямым путем и что никакое постороннее влияние не будет нас в этом стеснять или ограничивать. Я сказал: с одной стороны; ибо есть другая, очень печальная, сторона современного положения дела: это — смуты в церкви иерусалимской, которые возникли при избрании преемника недавно почившему блаженнейшему Иерофею и которые не скоро еще, как кажется, улягутся, судя по последним оттуда известиям. Впрочем, во всяком случае, эти смуты — явление случайное и преходящее, которое лишь на краткий срок может задержать правильное движение нашей деятельности в пользу Св. земли. Вообще же время, как я старался выше объяснить, для нас благоприятно, и нам остается им пользоваться, чтобы стать на высоте своего призвания.

О том, какими способами намерено наше общество достигать своих целей, говорит его устав. Во-первых, оно предполагает позаботиться о том, чтобы русские люди, у которых нет недостатка в любви и усердия к Св. земле, но есть несомненный и очень большой недостаток в точных о ней познаниях, имели более возможности ознакомиться с ее прошлыми судьбами и с ее современным положением и через то расположились к более деятельной ей помощи. С этою целью общество намерено употребить часть тех средств, коими снабдит его народное усердие, на исследование и издание памятников Св. мест, о религиозном и научном значении коих в настоящем собрании распространяться было бы излишне. Когда мы сравним то, что сделано по этой части западными учеными, с тем, на что может указать наша ученая литература, то мы почувствуем на лице своем краску. А между тем для Запада эти памятники не могут иметь такого живого значения, как для нас. Для него их исследование представляет ско-

рее отвлеченный церковно - археологический интерес; для нас же, сверх того и более того, эти памятники дороги тем, что с ними всем своим прошлым связано исповедуемое нами православие, которое в их неопровержимом свидетельстве находит подтверждение своим установлениям, обычаям и преданиям. В частности, изучение этих памятников доставляет обильные средства для объяснения минувшей церковной жизни присных и единоверных нам народностей, греческой и грузинской, из коих первой дано было просветить русскую землю и во всей истории христианства занять преобладающее, первенствующее место (*il a plu à la Providence, — говорит знаменитый Vignet, — que le christianisme fût eminentement grec*¹); а другая, с начала нынешнего века, с нашею судьбою связала навеки судьбу своей страны и своей церкви.

Позволю себе упомянуть при этом и о народности армянской, которая хотя и не находится с православною Церковью в общении, но имеет с русским народом тесную историческую связь, и которая, несмотря на разделяющие нас с нею недоразумения, не почитается навсегда для нас потерянной в религиозном отношении. И судьбы армянской церкви находят себе освещение в древних памятниках, хранимых Св. землею и еще далеко не исследованных наукою с надлежащею полнотою.

Вот сколько лишних и сильных для русского учебного побуждений направить свои труды на исследование древних памятников Св. земли, а для нашего Общества — изыскивать средства для возможно успешного достойного русского имени исполнения стоящих перед отечественными исследователями задач!

Не смотря на то, что Общество наше только приступает к своей деятельности, Совет с утешением может заявить собранию, что в этой отрасли его занятий уже положено доброе начало. Из прочитанного пред вами до-

клада секретаря вы узнали, что Августейший Председатель Общества изволил пожертвовать известную сумму на производство раскопок, которые, по всем соображениям, приведут к важным открытиям в области топографии древнего Иерусалима и в частности Голгофы.

Сверх того, благодаря щедрости Его Высочества, Совет получил возможность пригласить профессора грузинского языка в С.-Петербургском университете, г. Цагарелли, к ученому путешествию в Иерусалим и на Синай, и по дороге в Афон и Константинополь, чтобы на месте ознакомиться с тем материалом, с которым предстоит иметь дело новым исследователям церковной истории и древностей грузинских, и тем осветить нам характер и размеры нашего в этом деле участия.

Наконец, Совет остановился на мысли приступить к изданию нескольких памятников, которые имеют значение для истории христианского паломничества.

Выбор его остановился на этот раз: а) на описании путешествия по Сирии и Палестине монаха Епифания Агипокалита и б) на описании путешествия Иоанна Фоки.

Эти два памятника, принадлежащие к XII веку, среди других памятников византийской паломнической литературы, отличаются полнотою, обстоятельностью сведений о посещенных авторами местах и о памятниках христианских святынь. Последний из них предполагается издать на одном русском языке, а первый в греческом подлиннике, с древним славянским переводом (найденным в московской патриаршей библиотеке) и с современным русским.

Два жития преп. Мелетия Нового, подвизавшегося в горе Миупольской, относящиеся тоже к XII веку и до сих пор еще не изданные, поставлены на вторую очередь, и способ издания их еще не решен.

Подробное и обстоятельное изложение всех этих предприятий будет представлено Обществу в свое время учеными членами Совета, принявшими на себя труд издания; в настоящем же собрании я счел уместным слегка коснуться их, собственно, для того, чтобы поделиться с вами радостью о добром начале, положенном в одной из отраслей нашей общей деятельности.

С дальнейшим развитием этой деятельности может возникнуть для Общества нужда и в собственном постоянном издании, которое, служа его ученым целям, могло бы в то же время стать орудием всенародного оглашения его трудов, предприятий и нужд. Мысль об этом была уже заявлена в одном из заседаний Совета и признана весьма полезною, хотя немедленное ее осуществление встретило возражения, единственно, впрочем, с точки зрения вещественных средств.

Другая не менее важная задача Общества состоит в содействии русским поклонникам в исполнении их страннического подвига.

Хождение ко Св. местам из русской земли есть явление весьма древнее, восходящее до первых дней просвещения русской земли, а может быть, и предварившее общую при кн. Владимире купель Руси. Указание на это можно усмотреть в одном из древнейших и великолепнейших созданий русского народного творчества, в эпической песне: «Сорок калик со каликою». Действие, изображенное в этой песне, относится, как известно, ко времени кн. Владимира, который сам принимает к себе переходящих калик и угощает их. И эти сорок калик со каликою не похожи на новичков в своем деле, а представляют из себя цельную, крепко сплоченную дружину, самый состав которой предполагает уже как бы давним временем установившийся обычай посещать Св. землю союзною толпою.

Кому мое соображение покажется слишком смелым, того я попрошу обратить внимание на свидетельство памятника уже вполне достоверного, именно Киево-Печерского патерика, свидетельство, относящееся к 1022 году, до которого от преставления св. Владимира прошло всего семь лет. Там в житии преподобного Феодосия повествуется о стремлении святого, еще в отроческом возрасте, к Св. граду и о первой его встрече со странниками, туда ходившими.

«Также слышав о святых местах, иде же Господь наш, плотию походив, спасение содела, желаше тамо ити и поклонитися им».

«И се приидоша страннии во град Курск, их же виде блженный юноша радостен бысть и тек поклонися им и любезно целовав, вопроси: откуда суть и камо грядут, они же отвчаша, яко от Св. града Иерусалима есмы, и аще Бог изволит, вспять хошем ити. Тогда блженный моляше их, да его поймут с собою и доведут до Св. мест».

Итак, вот из какой глубокой, седой древности идет обычай русского народа ходить на поклонение Св. местам, и этот обычай, благодарение Богу, хранится неослабно, чрез толиких веков пришествие до нынешнего дня.

И ныне, как во дни св. Владимира и св. Феодосия, русская земля ежегодно посылает из среды своей смиренных и безвестных миру, но ведомых и близких Богу ходатаев, которые с меньшими, конечно, против прежнего времени трудами и опасностями, достигают Святой земли и там, предстоя страшным и спасительным святыням, слезами и воплем крепким преклоняют на милость раздраженного нашими безмерными неправдами Бога. Оттуда эти духом просвещаемые странники возвращаются в родные города и веси с запасом духовного утеше-

ния, обновленной веры и дивных сказаний о виденном и слышанном в земле искупления и, делясь этим духовным богатством со своими соседями и знаемыми, бросают в народ добрые семена, дающие плод свой и затрудняющие прозябание плевел.

Облегчить для этих молитвенников их дальний путь, оберечь их душевное настроение от влияния случайных и нередко весьма чувствительных дорожных невзгод и, что важнее всего, дать им на месте, в самой Святой земле, лишние способы везде побывать, все осмотреть, обо всем получить верное понятие и унести оттуда исполненное радостных и благодатных впечатлений сердце, будет одною из настоятельных, отрадных и, к счастью, исполнимых задач общества.

Исполнение этой задачи облегчается тем, что здесь нам придется строить на готовом уже основании; трудами Палестинского комитета в Иерусалиме возведены здания, которые дают удобный приют нашим богомольцам и которые только за последнее время, вследствие постоянной прибыли в числе русских поклонников Св. Гроба, оказываются несоответствующими действительной потребности. Весьма вероятно, что Палестинский комитет сам позаботится о расширении вверенных его попечению зданий, имея к тому готовые средства.

В настоящее время Совет может доложить собранию, что стараниями одного из его членов достигнуто удешевление проезда наших богомольцев по одной из железнодорожных линий, о чем, впрочем, вы знаете уже из сообщения г. секретаря.

Советом задуманы также некоторые меры к снабжению поклонников книгами, которые охраняли бы их настроение во время пути в Иерусалим и служили бы для них источником сведений о местах и событиях Св. земли, а по возвращении домой средством к удержанию

в памяти слышанного и виденного и к духовному просвещению вообще.

В чем должны состоять дальнейшие заботы Общества о русских поклонниках, на то укажет время и дальнейшее размышление всех наших членов, принимающих сердечное участие в судьбе русского паломничества.

Третья, самая трудная, задача наша состоит в поддержании и охране православия в Св. земле, то есть в помощи существующим местным обителям и храмам; в созидании новых храмов на местах, ознаменованных священными событиями; в приобретении таких мест и, если окажется возможность, в возвращении тех из них, которые захвачены западными; в помощи местному населению, то есть в учреждении для него благотворительных заведений и в особенности православных училищ, в коих оно ощущает крайний недостаток.

Трудность этой задачи состоит вовсе не в том, чтобы нельзя было взискать нужные для ее исполнения средства. Дело в том, что, при обладании достаточными средствами, мы не можем употреблять их для означенных целей с безусловною свободою, без особенно внимательного соображения наших действий с намерениями и расположением патриархии. А тут-то и ожидают нас трудности, для одоления коих от нас потребуются много благоразумия, терпения и даже смирения. В особенности трудно будет для нас то, что нужнее всего: учреждение православных училищ.

Заботиться о духовных нуждах православной иерусалимской паствы есть прямая обязанность ее духовного главы, а в силу этой самой обязанности ему принадлежит и право располагать все направленные к означенной цели действия, как свои, так и своих союзников, по своему предначертанию. Когда в пределы Св. земли вторгается враг латинец, или, как называют их восточные,

франк, его задача проста: забирать, сколь можно, более из чужого владения, ничем не стесняясь, и ни с чем не соображаясь, кроме своей еретической алчности.

Приходит туда союзник и брат, он не имеет для своих намерений такой свободы: ему недостаточно самому получить убеждение, что нужно для духовной пользы местного народа построить там-то церковь или завести училище; необходимо прежде достигнуть того, чтобы его убеждение разделил патриарх. А у патриархии могут быть свои напрасные предубеждения, ложные страхи, неверные соображения, дурное разумение даже своих собственных выгод; пойти с решительностью против — принесет мало пользы и очень много вреда; уступить — будет грех перед Богом.

Как же быть? На это никто не может дать определенных правил. Каждый частный случай потребует особенного ему приличного способа действий; важно уяснить себе общий дух и общее направление всех наших действий в Св. земле и, утвердив себя в раз избранном направлении, никогда от него не уклоняться. Дух же и направление наше ясно определяются целью, ради которой мы заключили между собою наш духовный союз; цель наша — служить Св. земле всеми средствами, которые изобретет наш разум и наше усердие: служить, ставя постоянно пред своими очами образ Того, Кто пришел, не да послужат Ему, но послужити, и поминая Его божественную заповедь: «Болий в вас да будет всем слуга!»

Не будем преткаться о немощи и пороки наших братьев, тем более, что и мы сами не имеем в них недостатка. Не удивимся иному их предубеждению, зная, что множество их порождено нашим собственным поведением. Не будем корить своим земным величием и могуществом их политического ничтожества и бес-

силия, поминая превратность человеческих судеб и повергая себя пред Богом, «иже многое не умножи и малое не умали»!

Нам есть с кем и без них вести счеты: кругом нас обстоят враги, которые усердно заняты мыслию нас ослабить и унижить и которые для этой цели устремляются на расстройство наших исконных природных союзов. На них обратим весь напор своих сил и с ними вступим мужественно в бой, не смущаясь неравенством средств! Уравновесить силы у нас есть способ: мы там свои, а они чужие; «они там татие, мы же братие». В этом последнем слове вся тайна успеха: как братьям, нам там все доступно; как «судьи и делители», мы явились бы пособниками наших общих врагов и в их руки предали бы и то, что еще уцелело от их захватов.

Вольное, не вынужденное смирение не унижает, но возносит. Ступив на его богоподражательный путь, мы привлечем на свое дело благословение свыше, а в нем откроется для нас изобильный источник нужных для нашего дела средств.

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ОБЕДЕ 21 МАЯ 1885 ГОДА ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА М. И. ГЛИНКЕ В СМОЛЕНСКЕ

Ваше преосвященство! Милостивые государи! На мою долю пала сегодня высокая честь — на торжественном празднике родного искусства обратиться, к сожалению, заочно, со словом приветствия к тому из русских художников, который состоит в ближайшем духовном родстве с гениальным творцом русской народной музыки, который еще на рубеже отроческого и юношеского возраста был отмечен им как будущий продолжатель его дела и верный хранитель созданных им художественных преданий и который прозорливым избранием Государя Императора поставлен во главе художественной части нынешнего торжества.

По общему закону, установленному для всего, что возвышается над обыкновенным средним уровнем, замечательные произведения М. А. Балакирева и его союзников по искусству не сразу завоевали себе общественное признание. Да и теперь это признание еще очень далеко отстоит от размеров, соответствующих истинной их ценности. К нашему стыду, и на этот раз чужие люди ранее своих уразумели меру значения предводимой Балакире-

вым музыкальной школы. Всякий раз, когда на европейских музыкальных торжествах исполняется какое-либо произведение этой школы, заграничные повременные издания преподносят нам вести о бурном восторге чужеродных слушателей. Очередь дойдет, конечно, и до нас. Балакирев и его друзья могут ожидать этого времени спокойно, в твердом сознании неминуемой и, Бог даст, недалекой уже победы.

Но, м. г., Балакирев не только высокий, вдохновенный и строгий художник, он в то же время высокий и избранный человек. Кто, подобно мне, имел бы возможность наблюдать за каждым днем его жизни, тот, наверное, не отрекся бы свидетельствовать вместе со мною, что он являет отрадный пример и редкое сочетание волевого непрерывного самоотвержения в служении ближним и чрезвычайной кротости с непреклонною, истинно христианскою свободою и независимостью духа.

Не только в наши небогатые доблестями дни, но и во всякое время и на всяком месте он был бы украшением и отрадою всякого человеческого общежития.

Господа! Я приглашаю вас поднять к устам приветственную чашу в честь и здравие высокого художника и редкого человека!

ВОСПОМИНАНИЕ О ГРАФЕ АЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВИЧЕ ТОЛСТОМ

Хвалить вообще труднее, нежели порицать. И это не только потому, что глубоко внедренные в нас чувства самолюбия и зависти, без нашей воли и сознания примешивающиеся ко всем отправлениям нашей внутренней жизни, поставляют изъяснениям нашей хвалы и признательности общую глухую преграду, но еще более потому, что недостатки и пороки составляют и самое обычное и для всех нас близко и по опыту известное явление, к изображению коего у нас всегда готовы живые и соответственные их роду краски, между тем как область добродетели и духовного подвига знакома нам большею частью по слуху, или по редким отрывочным проявлениям их в нашей собственной жизни, с помощью коих мы можем только несколько приближать к нашему сознанию высокие черты чужой души, причем естественно и в изображении этих черт у нас является вялость линии и бледность красок. Эта общая причина еще более, чем мои почти не перемежающиеся недосуги, не допускала меня до сих пор до изложения и обнаружения того, что я мог бы сказать в воспоминании о почившем в прошлом году гр. Александре Петровиче

Толстом, помянуть которого значит почти то же, что хвалить его.

Сверх того, к исполнению моего искреннего желания почтить его память представлялись и другие, по моему, весьма важные затруднения, — это сложность и особая самобытность внутреннего образа покойного графа, в котором строгие и важные черты так оригинально переплетались с нежными и привлекательными свойствами его нрава и сердца, и самые недостатки составляли большею частью только изнанку его достоинств, что надлежащим образом уловить это замечательное сочетание черт, по-видимому, противоположных и истинное соотношение между его высокими свойствами и слабостями способен только художник.

За всем тем, так как в течение полугода, минувшего со дня его блаженной кончины, никто другой из близких ему людей не выразил желания посвятить часть своего времени и труда на исполнение обязанности, несомненно лежащей на переживших его свидетелях его деятельности, и так как я тоже принадлежу к числу сих свидетелей и некоторое время моей жизни был к нему ближе многих, то я решился, презрев все трудности, покориться призыву долга и выступить, наконец, с моим малоискусным словом перед обществом, не особенно склонным ценить те именно свойства, которые составляли лучшее украшение высоко настроенной души почившего.

И пусть несоответственна будет с предметом хвала, пусть, вместо живого и цельного образа, предстанут перед читателем беспорядочно набросанные и общею художественною мыслью не совокупленные в едино черты, — все же это будет лучше предосудительного молчания. И я не сомневаюсь, что те, которым особенно близка и дорога память отшедшего и которые без сомнения жела-

ли бы видеть более достойное предмета изображение, не вменяют мне моей решимости в вину и простят мне слабость моего очерка ради тех побуждений, коими я руководился, приступая к его составлению.

Гр. Александр Петрович родился 28 января 1801 г.; воспитание получил домашнее и, очевидно, не законченное, судя по тому, что на 18-м году он поступил уже в службу юнкером (в гвардейскую артиллерийскую бригаду). Затем, через два года, он был произведен в офицеры, а еще через два года переведен в кавалергардский полк и назначен адъютантом к Дибичу. В 1824 г. был отправлен в экспедицию для обозрения берегов Каспийского и Аральского морей и для истребления морских разбойников, которая была снаряжена под начальством полковника Берга (недавно скончавшегося графа, заместника Царства Польского) и в которой он пробыл 1825-й и часть 1826-го года, принимая участие в зимних походах отряда и во всех его военных действиях. По возвращении оттуда он оставил военную службу и в конце 1826 г. был определен в ведомство иностранных дел и причислен к нашему посольству в Париже, во главе которого стоял в то время знаменитый Поццо-ди-Борго. В следующем году он отправлен с важным дипломатическим поручением в Константинополь, откуда ездил, как сказано в послужном списке, «в окрестные страны для военно-топографических описаний и с секретными поручениями»; из Константинополя возвращался в Париж — чрез Сербию и австрийские владения, — с поручением составить на пути записки об этих странах в политическом, статистическом и военном отношениях.

Затем, по объявлении в 1828 г. Турции войны, он вновь вступил в военную службу и в 1829 г. назначен флигель-адъютантом; до окончания кампании 1828 г. и во все продолжение кампании 1829 г. был во всех делах,

в коих находился гр. Дибич, и сверх того при отрядах, которые овладели Айдасом, Бургасом и пр. По окончании войны он думал вновь продолжать службу по министерству иностранных дел, куда и поступил в 1830 г.; но назначение его секретарем нашей миссии в Греции, которое так соответствовало бы впоследствии сложившимся его стремлениям и вкусам, в 1830 г. возбудило в нем (как я слышал от одного из товарищей его юности) сильное неудовольствие, побудившее его переменить ведомство и вступить в министерство внутренних дел, коим управлял в ту пору гр. Закревский и в котором ему было предоставлено управление хозяйственным департаментом*. В 1834 г., по собственному его желанию, он был назначен губернатором в Тверь, где испытывал замечательную встречу, которая оказала решительное влияние на его внутреннее настроение за весь последующий период его жизни и о которой речь будет ниже. В 1837 г. переведен военным губернатором в Одессу, где и оставался до 23 февраля 1840 г. и где заключился первый период его служебной деятельности.

С тех пор до 1855 г. гр. Александр Петрович оставался в стороне от всякой общественной деятельности; в мае же 1855 г. был назначен начальником нижегородского ополчения, с которым был в походе, не далее, впрочем, Киева.

20-го сентября 1856 г. последовал Высочайший указ о назначении его обер-прокурором Святейший Синода; в этом звании он пробыл около 6 лет (до 28-го февраля 1862 г.) и затем был назначен членом Государственного Совета, но обязанностей, с этим званием сопряженных, почти вовсе не исполнял: ибо, по расстроенному здоро-

* Причиной этого неудовольствия и отказа могла быть незначительность предложенной ему должности, которую он мог принять за знак недостаточного расположения гр. Нессельроде иметь его в своем ведомстве (*прим. Т. И. Филиппова*).

вью, числился постоянно в продолжительном отпуске и приезжал в Петербург лишь изредка, по особенно важным случаям.

Этот краткий очерк служебной деятельности гр. Александра Петровича, составленный по его послужному списку, я привел отчасти для удовлетворения любопытства многих его почитателей, коим оставалось неизвестно его прошедшее до вступления в должность обер-прокурора, и отчасти для того, чтобы указав на прежнюю довольно разнообразную службу, сопряженную с важными поручениями, обозначить скольнибудь степень общей служебной его подготовки к занятию важнейшей из бывших его должностей — обер-прокурорской, о которой я и буду преимущественно говорить, в качестве человека, многому из совершившегося в течение означенных пяти с половиною лет бывшего личным свидетелем, а кое в чем призываемого и к предложению своих мнений. Вообще же я буду говорить почти исключительно о том, что было с графом Александром Петровичем с тех пор, как я его узнал.

Я познакомился с ним в 1852 г., в первых числах того самого февраля, в 21-й день которого скончался живший в его доме Гоголь. В это время гостил у него приезжий из г. Ржева (Тверской губернии) протоиерей Матвей, который имел весьма важное значение как в его, так и в моей собственной жизни, и которого на тот раз я пришел навестить вместе с одним кимерским крестьянином, искавшим опоры против уловлявших его в свое согласие старообрядцев и вообще желавшим услышать слово назидания из уст вдохновенного проповедника. Среди завязавшейся между нами беседы неожиданно вошел к нам в комнату граф и своим появлением сначала смутил было моего деревенского товарища; но его привлекательная улыбка, осветившая несколько

строгие черты его лица, и вообще изящная простота, с которою он приветствовал нас обоих и в которой я сразу усмотрел следы не одной внешней благовоспитанности, но и внутреннего смиренного настроения, тотчас же возвратила нашему маленькому собранию на миг стесненную свободу и непринужденность. Он пробыл с нами недолго и, уходя, выразил мне свое желание, чтобы наше знакомство с ним на этом не окончилось. Вследствие того я был у него однажды после отъезда о. Матвея (в тот самый день — в пятницу на Масленице, когда Гоголь слег, чтобы более уже не вставать) и провел с ним около получаса, но особенного впечатления это второе свидание во мне не оставило и я не удержал в памяти ничего из этой первой нашей беседы с глазу на глаз. Затем разыгралась драма с Гоголем, которая заняла надолго все внимание впечатлительного домохозяина, пораженного этою до сих пор не вполне разгаданною и как будто умышленною кончиною; а потом, месяца через три, если не ошибаюсь, последовала кончина тестя гр. Александра Петровича, знаменитого лысковского владельца кн. Г. А. Грузинского, которая потребовала переселения графа в осиротевшее Лысково, и я перестал уже думать о моем новом знакомстве, причислив его к приятным, но мимолетным и не оставляющим глубокого следа встречам, каких немало бывает в жизни каждого человека.

Случилось, однако, иначе. Граф не забыл нашей встречи и в первый же приезд свой в Москву отыскал меня и возобновил со мною прерванное на время знакомство, которое с тех пор продолжалось уже без перерыва до самой его кончины и о котором я сохранию до конца моей собственной жизни самое драгоценное и поучительное воспоминание. Причина, по которой граф, так мало зная меня, искал моего знакомства, заключа-

лась, по всем вероятностям, в каких-нибудь преувеличенных отзывах обо мне нашего общего духовного отца (протоиерея Матвея), который, как выше уже замечено, играл в истории нашей внутренней жизни весьма важную роль и о котором я считаю необходимым войти, по настоящему поводу, в некоторые подробности, как для того, чтобы уяснить происхождение того душевного состояния гр. Александра Петровича, которое ниже будет изображено мною с достаточною подробностью, так и для того, чтобы одному из замечательнейших людей, встреченных мною на жизненном пути, воздать наконец своею позднею хвалою хотя малую частицу лежащего на мне безмерного и неоплатного долга.

О. Матвей (родился в 1792 г., ум. в 1857 г.), сын священника села Константинова, Новоторжского уезда Тверской губернии, воспитанник тверской семинарии, где кончил курс вместе с П. А. Плетневым (с которым в 50-х годах и возобновил свое давнее знакомство при моем посредстве), поступил дьяконом в с. Осечно (ныне известное по железнодорожной станции) Вышневолоцкого уезда, откуда по прошествии семи лет был переведен, по особому распоряжению архиепископа Филарета (впоследствии митрополита Московского), священником в карельское село Диево, Бежецкого уезда, помещиков Демьяновых, с которыми он был связан теснейшими узами дружбы и признательности, а оттуда через 13 лет переехал того же уезда в древнее село Езьско, упоминаемое в одном из исторических документов XII века в числе новгородских владений, где пробыл три года, до своего перевода во Ржев (1836 г.), который состоялся не без участия в том гр. Александра Петровича, бывшего в ту пору тверским губернатором.

Смолоду наклонный к подвижнической жизни и способный перенести всякое самое тяжкое лишение,

восторженным чувством художника любя великолепии православного богослужебного чина, в котором он не позволял себе опустить ни единой черты, и, что всего важнее, — обладая даром слова, превосходящим всякую меру, он, с первых же лет своего служения церкви, сделался учителем окрест живущего народа, и везде, где ни приходилось ему действовать, делался центром, около которого собиралось все, искавшее христианского пути и имевшее нужду в исцелении душевных язв, в восстановлении упавших сил и в ободрении на внутренний подвиг. В свою очередь и он, по собственному его признанию, был бесконечно обязан тому низко между нами поставленному, но пред Богом высокому обществу, среди которого протекли первые 24 года его учительской и пастырской деятельности. Он навсегда сохранил живое воспоминание и с восторгом и неподражаемым художеством речи передавал нам, позднейшим его ученикам, о тех поразительных проявлениях живого и деятельного благочестия между его деревенскими духовными друзьями, которых он был свидетелем, а отчасти и виною, и которые так и просились на страницы четьи mineи. О. Матвей не раз сообщал мне с некоторым даже удивлением о том впечатлении, которое его рассказы об этих высоких явлениях духа в нашем народе производили на Гоголя, слушавшего их, по библейскому выражению, отверстыми устами и не знавшего в этом никакой сытости. Мне это было понятнее, чем самому рассказчику, который едва ли вполне сознавал, какую роль в этом деле, кроме самого содержания, играло высокое художество самой формы повествования. Дело в том, что, в течение целой четверти века обращаясь посреди народа, о. Матвей с помощью жившего в нем исключительного дара умел усвоить себе ту идеальную народную речь, которой так долго искала и доньше ищет, не находя, наша литера-

тура и которую Гоголь, сам великий художник слова, так неожиданно обрел готовой в устах какого-то в ту пору совершенно безвестного священника, никому, кроме небольшого, сравнительно говоря, числа его духовных детей и провинциальных почитателей, ненужного и, как я вполне уверен, этой собственно стороне своего дарования (т. е. внешней, стилистической, если бы можно было так выразиться) не знавшего надлежащей цены.

Тот же склад речи лежал и в основе церковной проповеди о. Матвея, хотя сюда по необходимости входили и другие стихии слова (как, например, церковно-славянская), которые он умел необыкновенным образом между собою мирить и сливать в единое, цельное и исполненное красоты и силы изложение. Я знал во Ржевелиц, которым, по их образу мыслей, вовсе не было нужды в церковном поучении и которые однако, побеждаемые красотой его слова, вставали каждое воскресенье и каждый праздник к ранней обедне, начинавшейся в 6 часов, и, презирая сон, природную лень и двухверстное расстояние, ходили без пропуска слушать его художественные и увлекательные поучения.

О. Матвей не мог привлекать или поражать своих слушателей какою-либо чертою внешней красоты; он был невысок ростом, немножко сутуловат; у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, реденькие, немножко вьющиеся светло-русые (к старости, конечно, с проседью) волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и по внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска или Диева отличал только покрой его одежды. Правда, во время проповеди, всегда прочувствованной и весьма часто восторженной, а также при совершении знаменательных литургических действий, лицо его озарялось и светлело;

но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид.

Интонация и движения, коими сопровождалась слова о. Матвея, при всей их выразительности были совершенно естественны и свободны и всегда вполне соответствовали внутреннему содержанию его речи. Ясность его изложения достигала до того что даже самые возвышенные и тонкие христианские истины, которых усвоение в пору философствующему уму он успевал приближать к уразумению своей большею частью некнижной аудитории, которая вся обращалась в слух, как только он выходил за аналой, и молчание которой прерывалось по временам только невольным ответным возгласом какой-либо забывшей, где она, старушки, или внимательного отрока, пораженного проникающим словом. Одним словом, его поучение было совершеннейшею противоположностью тому виду церковной проповеди, в каком она предлагается в Казанском и Исаакиевском соборах очередными столичными проповедниками и в каком, за весьма редкими исключениями*, она остается совершенно бесплодною для народа, который каждый раз однако теснится около кафедры в томительном ожидании, не попадет ли в его засохшие от духовной жажды уста хоть капля освежающей и живительной воды.

Говорить о. Матвей мог, по-видимому, без конца; он не писал и даже не приготавливал своих слов и никогда не знал, куда увлечет его наитие минуты, которому он вверял себя без всякого опасения за то, что мы называем фиаско. Каждый праздник и каждое воскресенье он говорил и на ранней, и на поздней обедне: на первой — во время причастного стиха, а на последней, которую

* Самое блистательное из этих исключений о. Иоанн Никитич Балисадов (прим. Т. И. Филиппова).

постоянно сам служил, в обычное время, пред третьим: «буди Имя Господне», и тотчас после этого, вследствие чьего-нибудь вопроса, предложенного по поводу только что произнесенной проповеди, или по какому бы то ни было случаю, могло вдруг родиться и вылиться новое столь же продолжительное и красноречивое слово. И при всем этом неистощимом обилии никогда, во всю долгую жизнь о. Матвея, ни единый раз грубость не осквернила его проповеднических уст.

По назначении своем губернатором в Тверь гр. А.П., как человек государственный, не мог оставить без внимания вопроса о состоянии раскола во вверенной ему губернии и, очень хорошо понимая, что раскол и отчуждение от церкви в значительной части нашего народа поддерживались небрежением клира и продажностью чиновников, вошел в соглашение с бывшим архиепископом Тверским Григорием о том, чтобы в те места, где жители наиболее склонны к расколу, ему посылать самых испытанных в честности чиновников, а архиерею поставлять безукоризненных по жизни и учительных священников. Задача для обоих была нелегкая, и я не знаю, как было в других местах, но по отношению ко Ржеву, в бедных старицких и зубцовских, не предназначавшихся для такой специальной цели, а преосвященный Григорий перевел туда из села Езьска о. Матвея, назначив его к приходской церкви Преображения, окруженной старообрядческим населением, и тем дал дальнейшему ходу раскола во Ржеве совершенно иное и для православия весьма благоприятное направление*.

* За двадцать лет пребывания о. Матвея во Ржеве в городе произошла в этом отношении замечательная перемена, благодаря отчасти общему влиянию времени, но прежде всего благодаря проповеднической деятельности о. Матвея. И победа его была бы еще благотворнее, полнее и чище, если бы в последнее время своей жизни он не принял прямого и усердного участия в преследовании раскола, о чем будет сказано подробнее в своем месте (прим. Т. И. Филиппова).

В этой-то церкви и произошла первая встреча графа Александра Петровича с о. Матвеем, за которой последовало сперва предпринятое графом из любопытства знакомство, а потом и тесное взаимное между ними сближение, продолжавшееся до самой кончины о. Матвея (1857 г.). Рассказывают ржевские старожилы, бывшие тому, будто бы, свидетелями, что когда в середине обедни, совершаемой о. Матвеем, вошел в церковь граф, и сопровождавшие его местные чиновники, пролагая ему путь, произвели неизбежный, при их усердии, шум и смятение, то о. Матвей в произнесенной им за этою обеднею проповеди не оставил этого обстоятельства без смелого и для всех присутствовавших весьма внятного, хотя и не прямо на лицо направленного, обличения и что это именно обстоятельство, само по себе весьма естественное, но, по нашим нравам, необычайное, и поселило с первого же раза в гр. Александре Петровиче особенное уважение к о. Матвею. Мне никогда не случалось проверить этого рассказа спросом действующих лиц, но я нашел возможным упомянуть о нем, почитая его, по аналогии с другими случаями из жизни о. Матвея, вполне вероятным: так как и проповедник в обличениях своих никогда не принимал в расчет человеческого лица, и скромный граф, как невольная причина происшедшего в церкви беспорядка, был вполне способен без ропота принять полезный для него на будущее время урок.

Как бы то ни было, но с этой поры между ними устанавливается духовный союз на всю жизнь. Я не могу сказать, было ли уже в душе гр. Александра Петровича, еще до встречи с о. Матвеем, готовое расположение к усвоению строгих правил христианской жизни, которые он впоследствии исполнял с такою покорностью, или же эта встреча породила в нем первую мысль о обязательности этих правил для всех, следовательно, и для него

самого; но то несомненно, — так как я знаю это уже от самого графа, — что в лице о. Матвея ему впервые представился никогда до знакомства с ним не виданный им образец такой именно веры, которая выражается не в одних только благочестивых размышлениях, но во всем составе жизни, в каждой подробности действий, в ежеминутном ощущении присутствия и заступления промышляющего о своем создании Бога, в совершенном изгнании из сердца всякого человеческого страха и всякой житейской заботы, и которая одна только и заслуживает своего высокого именованя. О том, что было между графом и о. Матвеем со дня первого их свидания до моего знакомства с графом я распространяться не буду, как потому, что подробности их сношений за это время мне недостаточно известны, так еще более потому, что дело не в них, а в том нравственном итоге, к которому они привели графа Александра Петровича и который ясен будет и без того из описания внутреннего настроения графа за время последующее*.

Я узнал графа в такое время его жизни, когда он был совершенно свободен от всякого обязательного труда и, следовательно, имел полную возможность весь свой досуг употреблять по своему личному вкусу

* Заговорив об о. Матвее, я считаю почти неизбежным сказать хотя два слова о его отношении к Гоголю. Говорили, будто бы «Переписка с друзьями» была последствием того влияния, которое имел на Гоголя о. Матвей. Это совершенно неверное предположение. Гоголь не имел с о. Матвеем, до издания «Переписки», никакого сношения и ни разу не видал его в лице. Самое знакомство между ними, на первый раз заочное, началось тем, что Гоголь, подавленный бременем обрушившихся на него за издание «Переписки» оскорблений, послал свою книгу к о. Матвею во Ржев, при письме, в котором просил его суда над собою и над своею книгою. Имело ли последнее свидание Гоголя с о. Матвеем влияние на его предсмертное настроение — сказать наверное не могу; но считаю его весьма вероятным, сопоставляя роковой случай с другими ему подобными и мне известными, в которых такого рода влияние о. Матвея не подлежит сомнению (*прим. Т. И. Филиппова*).

и усмотрению. И все его дни, один как другой, были посвящены непрерывным заботам о внутреннем усовершенствовании, о победе над остатком не усмирённых ещё страстных движений сердца, о стяжании дара молитвы. Для достижения этих целей он ежедневно и помногу упражнялся в изучении св. Писания, знаменитых его истолкователей, а также в чтении бессмертных произведений великих отцов церкви, из коих особенно любил Св. Василия Великого, как одного из величайших учителей вселенной и недостижимо высоких художников слова. К той именно поре, о которой я говорю, относится появление в свете замечательнейших творений древних подвижников — Иоанна Лествичника, Иоанна и Варсонуфия, Исаака Сирина, Аввы Дорофея и иных в славянском (Паисия Величковского) и русском переводе, изданных усердием и трудами благочестивой Оптиной пустыни. Граф с жадностью вчитывался в эти возвышенные произведения, в коих открываются разнообразнейшие пути и способы внутреннего деяния, примененные к мере и духовному возрасту всякого, и изображаются особенные, чрезвычайные душевные состояния, бывающие плодом и мздой одержанной в подвиге победы.

Он усердно исполнял все постановления церкви и в особенности был точен в соблюдении поста, которое доводил до такой строгости, что некоторые недели великого поста избегал употребления даже постного масла. На замечания, которые ему приходилось нередко слышать о бесполезности такой строгости в разборе пищи, он обыкновенно отвечал, что другие, более высокие требования христианского закона, как, например, полной победы над тонкими, глубоко укоренившимися от привычки страстями, он исполнить не в силах; а потому он избирает по крайней мере такое

простое и ему даже доступное средство, чтобы выразить свою покорность велениям церкви и не поругать трудов и забот о нас тех великих учредителей христианского общения, которые, многократно собираясь со всех концов Вселенной, обдумывали все способы к его благоустройению и в числе их указали на пост, поставив его на ряду с молитвой.

При таком настроении он поневоле должен был избегать частых и не вызываемых нуждою встреч с людьми иного настроения, и в этом иногда не соблюдал даже меры; но зато он с необыкновенным любопытством осведомлялся о всяком доходившем до его слуха проявлении христианского подвига и тщательно разыскивал тех лиц, — без различия их состояния, — о благочестивой жизни коих получал от кого-нибудь сведения. Поэтому у него в доме можно было встретить людей весьма разнообразных, большею частью низменных званий и общественных положений, которых он принимал, соображаясь единственно с их внутренним, иногда действительным, а иногда, впрочем, и мнимым, достоинством.

При этом не обходилось, конечно, без разочарований, иногда довольно неожиданных и прискорбных; и если бы в мою задачу входило возможно подробное жизнеописание гр. Александра Петровича, то я мог бы без труда припомнить несколько случаев чрезвычайно характерного надувательства (которому подвергала его излишняя доверчивость и щедрость), весьма пригодных для наглых даровитых юмористических рассказчиков. Но с другой стороны, между смиренными посетителями графских палат встречались и такие возвышенные образцы нравственной чистоты, которые оставляли по себе воспоминание на всю жизнь и появление коих только и можно объяснить существованием какой-то

нам незримой, таинственной учительной силы в народе, идущей от древнего, доселе не иссякающего предания и по временам неожиданно и как бы совершенно случайно проявляющейся в этих безвестных миру, но Богу ведомых и ценных подвижниках веры.

Помышления графа обращались весьма часто и на общее состояние православной Церкви и на определение той задачи, которая по отношению к ней предназначена нашему отечеству. В последние годы своей жизни, после собственного участия в управлении делами русской церкви и после бедственных событий на Востоке, совершившихся не без нашей вины, он приходил, как известно его близким, к самому горькому и безотрадному заключению о том, что такое мы для Церкви и чего она может ожидать от нас вообще. Но в первые годы нашего знакомства он не только не был чужд надежды на постоянную верность России ее высокому всемирному призванию, но даже усваивал нам первенствующую роль в будущих судьбах православия, как единственному великому в православном мире народу, которого внешнее могущество предназначено было, по его убеждению, в орудие Божия о церкви промышленности. Впрочем, это были только временно посещавшие его душу надежды, в которых он искал отдохновения от глубокого и постоянного сокрушения о несообразном с нашим призванием ходе нашей общественной жизни и о заброшенном и униженном положении нашей церкви. Иногда это сокрушение переступало даже меру и ввергало его в безотрадное уныние, которое требовало врачевания, и я помню, что как-то раз по этому поводу о. Матвей очень долго говорил ему о вреде подобного настроения и в заключение привел вразумительные слова, обличавшие неумеренность подобной же скорби о судьбах и путях древнего Израиля одного из ветхозаветных пророков:

«Зло ты во ужасе ума твоего сотворился еси ради Израиля. Или возлюбил еси его паче, неже Сотворивый его?»

К православному Востоку гр. Александр Петрович и в то время питал глубокое сочувствие, весьма естественное в человеке такого настроения, и приходившие с Востока братья наши всегда находили в нем опору и готовность щедрой вещественной помощи, но никакой явно преобладающей склонности в пользу одного какого-либо из единоверных нам народов, какая впоследствии сложилась в его душе в пользу греков, тогда еще не замечалось, и он в своем вместительном сердце находил и отделял для каждого из них отдельный уголок.

Он усердно посещал церкви не только в праздники, но и в будни, и как человек, одаренный глубоким поэтическим чувством, горячо и сознательно любил красоту и великолепие нашего богослужебного чина, совершенно справедливо почитая его повсеместное почти разорение одним из величайших народных бедствий и одною из главных причин беспрерывно усиливающегося уклонения народа в раскол. «Как можем мы, — говаривал он, — силою одного приказа принудить народ уважать то, к чему сами въявь, на его же глазах, показываем такое откровенное презрение?»

Но преобладающею, над всеми другими возносящею и особенно для меня, по крайней мере, трогательною чертою благочестивого настроения графа была его неподражаемая благотворительность. По разным случайностям моей жизни мне приходилось иметь множество разнообразнейших встреч с людьми, готовыми делиться своими избытками с ближним; но никогда ни прежде, ни после знакомства с графом Александром Петровичем, мне не привелось видеть такого идеального, прямо евангельского способа благотворения, какого держался он. Некоторое время он очень часто

обращался к моему посредству между своими благодеяниями и теми, кто в них имел нужду, так что я могу свидетельствовать об этой черте его, как очевидец, и почитаю за истинную для себя радость, что, по отшествии его из нашей среды, когда всенародное оглашение его дел не может уже ни оскорбить его скромности, ни ему повредить, а нам оставшимся может доставить поучение и отраду, и на меня, в числе других, пал жребий сего свидетельства.

При всем преобладании в уме графа религиозной идеи, занятия его не ограничивались исключительно теми предметами, которые прямо отвечали этой именно потребности его духа; как человек, одаренный весьма тонким и изящным умом и в высокой степени любознательный, он еще смолоду старался заглаживать и пополнить недостатки своего первоначального воспитания усиленным чтением замечательных произведений человеческого ума по разным отраслям знаний и живым личным общением с людьми, достойно представлявшими ту или другую часть человеческого ведания, к чему имел все средства как по своему высокому общественному положению, так и по значению, которое имел в самых высших сферах его отец, гр. Петр Александрович. Живые встречи с такими разнообразными представителями умственной и политической деятельности, каковы Гумбольдт¹ и гр. де-Местр², Карамзин и гр. Капо-д-Истрия³, Жуковский и гр. Мордвинов, Поццо-ди-Борго⁴ и гр. Сперанский, Пушкин и Гоголь, митрополит Филарет и протоиерей Горский, Хомяков и Киреевский (с последним он познакомился, впрочем, только за год до его смерти, последовавшей в 1856 г.) и многие другие, исчислять коих по именам было бы затруднительно, не могли не оставить глубоких следов в его впечатлительном и способном к самым тонким постижениям уме.

Наконец, и его прошедшая разнообразная служебная деятельность, и приближение измлада к тайнам правительственных сфер, которые, благодаря его не прерывавшимся сношениям с людьми, в правительстве участвовавшим, не были от него вполне сокрыты, и во время его личного удаления от дел, все это давало ему поводы и способы судить о совершавшихся на его глазах государственных и общественных делах самостоятельно. И хотя в его воззрениях на ход этих дел было много такого, что не только шло совершенно вразрез с моими о них представлениями (которые в ту особенно пору не Бог знает чего и стоили), но нередко становилось в явное несогласие с главными руководительными началами его собственного образа мыслей, и что объяснялось только привычкою к исстари сложившемуся предубеждению, — за всем тем остается несомненным, что в этих мнениях, всегда мужественно и вслух всем им выражаемых, не было даже тени какого-либо личного соображения, и что они были внушены ему только заботою о благе и достоинстве родной земли, которые он понимал по-своему. Мы встретимся еще в дальнейшем изложении с некоторыми из его воззрений на общие дела, когда я перейду к воспоминаниям о его службе в Святейшем Синоде. Теперь же, в заключение моего неполного и слабого изображения почившего, в том его виде, в каком он представлялся мне во время своего досуга от дел государственных, и в устранение возможных нареканий на излишнюю идеальность моего рисунка, я приведу весьма выразительный отзыв о нем человека, который сам представлял собою образец идеальной нравственной чистоты и возвышенности помыслов и который, дорожа честью своего слова, никогда не обращал его в орудие похвал незаслуженных или излишних. Летом 1855 г. мне пришлось, чрез заочное посредство, познакомить графа

с И. В. Киреевским, от которого, по возвращении моем в Москву, вместе с благодарностью за устроенное мною знакомство, я услышал следующие навсегда сохранившиеся в моем сердце слова: «Легче становится жить после встречи с таким человеком, как граф Александр Петрович».

(Окончание будет)⁵.

А.В. ГОРСКИЙ

Ибо и скудость в доблестных мужах Промысел насылает на небрегающие о нем государства, как крайнюю кару, выше осады, выше голода и вообще выше всякого бедствия; потому что если бы и случились с ними таковые страдания, то было бы легко от них избавиться лучших людей представтельством.

(Георгий Схолария.

Надгробная речь
над Марком Ефесским¹.)

Ваше Императорское Высочество и мм. гг! 11-го октября в начале 11-го часа вечером, в ограде обители преподобного Сергия Радонежского, скончался, на 64-м году от рождения, наш почетный член, ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Васильевич Горский.

Его отшествие от нас, несомненно, блаженное для него, есть событие в высшей степени скорбное для оставшихся, и не только для духовно-учебного ведомства, которого он был лучшим украшением и законною гордостью, не только для родной ему академии, для которой он был истинным, горячо любящим и взаимно любимым отцом, не только для русской науки, представители которой, наперерыв друг перед другом искали чести видеть его в числе членов своих ученых обществ и учреждений,

но и для всей отечественной церкви, благу и чести которой посвящены были все его ученые труды, его 43-летняя педагогическая деятельность и каждое помышление его сердца². Нужно ли говорить о той личной скорби, переполняющей сердца всех, которые имели неоцененное счастье быть в числе его друзей и присных и которым была открыта его девственная, непорочная и беспредельно любящая душа?

В тяжкие минуты такой великой и горестной утраты естественно искать утешения в воспоминании о делах усопшего и в сколь возможно живом представлении его внутреннего образа, который, и по лишении видимого, телесного общения с отшедшим, остается нашим неотъемлемым сокровищем.

Я знаю, что для исполнения такой задачи потребны силы, каких у меня нет, нужен истинный и высоконастроенный художник, которого внутреннее устройство сообразовалось бы, хоть в некоторой степени, с постоянно возвышенным строем души блаженного почившего отца; но успокаиваюсь на мысли, что из членов нашего Общества никто, кроме меня, не изъявлял, сколько мне известно, желания принять на себя этот труд и сопряженную с ним честь, и надеюсь, что при таких обстоятельствах вы великодушно извините дерзость моей любви к усопшему, побуждающей меня говорить о нем, не соображаясь со своею мерою, и не окажете излишней строгости к моему бледному, неискусно и наскоро набросанному очерку.

А. В. Горский родился 16-го августа 1812 года в Костроме, где отец его был впоследствии кафедральным протоиереем; воспитывался сперва в местной семинарии, при ревизии которой бакалавром Московской духовной академии иеромонахом Афанасием (впоследствии ректором С.-Петербургской духовной академии и Астраханским архиепископом) был им замечен и, по вниманию к

его необыкновенным дарованиям и успехам, взят в Московскую духовную академию с философского курса, 16-ти лет от роду, чем и объясняется его чрезвычайно раннее (20-ти лет) окончание академического курса в 1832 году. По окончании курса в академии он был назначен профессором церковной и гражданской истории в Московской семинарии, откуда через год переведен был бакалавром в Московскую духовную академию и там быстро (в 1839 г.) достиг звания ординарного профессора церковной истории, в котором оставался до своего назначения в ректоры академии, последовавшего 23-го октября 1862 года. 27-го марта 1860 г. он был посвящен в сан иерея без предварительного вступления в брак, представив при этом первый пример изъятия из частного постановления русской церкви, не допускавшего, как известно, до степени священства людей безбрачных, вопреки правилу церкви вселенской и общему порядку, существующему во всех прочих единоверных нам церквах. Одновременно со званием профессора он занимал и должность библиотекаря академии, о чем, несмотря на видимую незначительность этой должности, нельзя умолчать, как о таком обстоятельстве, которое имело весьма важное влияние на ход его собственных занятий, и, как видно из сообщений его товарищей, принесло весьма благотворные последствия для академии вообще.

«Его библиотекарство, — говорит г. Смирнов в некрологе А. В. Горского, помещенном в № 265 *Московских Ведомостей*, — имело и для него, и для академии огромное значение: хотя и до этого времени (1842 г.) Горский отлично успел познакомиться с обширную литературою и своего, и других предметов, и перечитал множество книг и рукописей в академической и лаврской библиотеках; но с того времени, как он стал заведовать академическою библиотекою, он вовлечен был в мир книжный до такой степени, что отрывать его от занятий в этом мире

значило отнимать у него лучшие часы в жизни. Это знала и дорого ценила вся академия, которая пользовалась от него сокровищем добытых им обширных и разносторонних познаний. Памятником его необычайной любознательности и глубоких сведений по всем, можно сказать, отраслям знаний служат его заметки карандашом на книгах и рукописях: в этих заметках заключаются указания на какие-либо недостатки в книге, сообщаются дополнительные сведения, цитируются места из разных книг, где можно получить то или другое сведение о предмете сочинения; встречаются параллели, варианты, хронологические указания, лингвистические соображения и т.п. Но главное место в этих заметках предоставлено тонкому и меткому критицизму».

«Библиотеку знал он так, — пишет другой достойный его товарищ А. Ф. Лавров, — что в чрезвычайном случае, когда вдруг надобна была ночью какая-нибудь книга, он в темноте (вносить огонь в библиотеку не дозволяется) отыскивал ее только при помощи памяти и осязания».

С возведением в звание ректора (1862 г.), в котором он оставался до дня своей блаженной кончины, А. В. Горский, по предложению покойного митрополита Филарета оставил кафедру церковной истории и принял на себя преподавание догматического богословия, в котором имел столь же обширные сведения, как и в истории церкви.

В последний год своей жизни он не мог уже принимать прежнего неумолимо - деятельного участия в делах дорогого ему заведения, так как первые грозные признаки болезни, которая свела его в могилу, обнаружились с особенною силою еще в прошлом году и побудили врачей потребовать от него воздержания от трудов и забот управления и преподавания.

Вот недлинный перечень внешних событий в должностной жизни А. В. Горского. От него, конечно, впол-

не зависело иметь другое, более видное, и блестящее внешнее поприще. Нет никакого сомнения, что если бы он пожелал принять монашеское звание, то, при своих дарованиях, весьма скоро достиг бы высших иерархических степеней. Но любовь к науке в соединении с крайним смирением побуждала его твердо держаться против настойчивых приглашений вступить на столь обычный в то время и для многих столь привлекательный путь. Необходимо при этом заметить, что к монашескому званию он имел глубокое благоговение и главнейшие иноческие обеты (целомудрие и пост) он содержал во всей строгости, не давая их торжественно перед лицом Церкви и не облакаясь в черную рясу, так что мог бы принять пострижение с чистою и ясною совестью. Но он очень хорошо понимал, что с этим шагом были неизбежно связаны: разлука с академиею и двумя под рукою находящимися библиотеками, частые передвижения, заботы управления, одним словом, что при этом надобно было проститься с безмятежными учеными занятиями и вместе с тем подвергнуть опасному искусству независимость своего характера и образа мыслей, которою он дорожил как святынею. Вот почему он решился отклонить от себя не только ожидавшие его на том пути почести и власть, которые он «вменял уметы», но даже и счастье предстоять алтарю Господню, в котором он полагал высшее наслаждение своей личной жизни и которого он достиг, паче надежды, только на 49-м году своего возраста, когда митрополит Филарет, по своей к нему любви и высокому уважению, решился наконец отступить, ради его, от нашего неправильного, но крепко укоренившегося обычая, и применить к нему лично вселенский канон, целые столетия бездействовавший в нашей церкви.

Познания А. В. Горского не ограничивались кругом тех предметов церковной истории и догматическо-

го богословия, которые он преподавал с академической кафедры; это была, если можно так выразиться, живая энциклопедия наук богословских: казалось, будто он перебивал поочередно на всех кафедрах академии и по каждому предмету приобрел сведения, достаточные для того, чтобы руководить занятиями специалистов.

«С юных лет до самой смерти, — говорит в своем превосходном надгробном слове архимандрит Михаил (известный издатель Толкового Евангелия), — неутомимый труженик науки, ради удобнейшего приобретения этого блага презревший многое, считающееся благом в жизни, отвергший даже всякие считающиеся невинными удовольствия житейские, всегда в тиши уединения, как отшельник, или как евангельски приточный купец, продавший для приобретения одной драгоценной жемчужины все, что имел, он умел так обогатиться ученостью, что нельзя было не дивиться ее многообъемности и глубине... Эта глава была как бы богатейшею сокровищницей знаний, из которой каждый мог почерпать сколько мог и сколько хотел».

Прежде всего, из этого бездонного и для всех неизвестно отверстого кладезя мудрости почерпали целые поколения учеников А. В. Горского, рассеянных по лицу русской земли и на всю жизнь сохранивших признательную память к своему наставнику.

«Он учил нас, — говорит А. О. Лавров (в письме, которым он удостоил меня по смерти А. В-ча), — тройким способом: *всех вообще* на кафедре, увлекая нас своими глубокими изысканиями, историческими картинами, блестящими характеристиками древних отцов и учителей (доселе не могу забыть его характеристики Оригена); затем он *всех же нас* учил на другой своей кафедре — в библиотеке. Это тоже драгоценнейшие для нас его лекции, коими он вводил нас в полное обладание литературою

предмета. Но были еще его лекции — *lectiones privatissimae* — домашние. На эти лекции иногда он призывал нас поодиночке, по поводу прочитанных им наших рассуждений, или для сообщения своих мыслей относительно данной темы; иногда же мы и сами ходили к нему. И здесь-то, иногда за чашкою чая, в Бозе почивший благодетель наш, не щадя своего дорогого времени, вводил нас в глубину данных нам задач, обозревая литературу предмета, а если дело шло о представленном уже и прочитанном им рассуждении, указывая и на его достоинства, и на его недостатки, на последние с особенною строгостью».

Но не одни ученики и товарищи пользовались сокровищами его познаний; к его помощи обращались нередко и лица, облеченные властью в церкви. Так, мне лично известно, что знаменитейший из русских иерархов всего настоящего столетия, блаженно почивший митрополит Московский Филарет во многих важнейших вопросах церковного управления, в которых Святейший Синод требовал от него совета, сам искал совета и ученых указаний А. В. Горского и в них находил твердую наукообразную опору для своих правительственных соображений.

Бывший обер-прокурор Святейшего Синода гр. А. П. Толстой, отличавшийся замечательною любознательностью и на многие возникавшие в уме его вопросы и недоумения не находивший удовлетворительного ответа в обнародованных общедоступных источниках, весьма часто просил разъяснений от А. В-ча и на все свои разнообразные вопросы из различных отраслей богословской науки (церковной истории, патрологии, литургики, канонического права и т. д.) всегда, с оборотом почты, получал подробные и все его недоумения решающие ответы, сопровождаемые длинными цитатами и указаниями на источники для дальнейшего, в случае нужды исследования предмета.

Ученые достоинства А. В. Горского поражали и любознательных иностранцев; из числа их я позволю себе упомянуть о нашем недавнем госте аббате Стенли, который во время первого путешествия своего в Россию, посетив Московскую академию, был представлен А. В-чу нашим сочленом кн. С. Н. Урусовым и, как я сам слышал от другого спутника д-ра Стенли и свидетеля его ученой беседы с А. В-м, был поражен познаниями нашего ученого богослова, без приговления, прямо из запасов своей памяти, износившего самые точные и меткие суждения о разного рода темных и мало исследованных вопросах в истории англиканской церкви.

О том, как высоко ценились достоинства и заслуги А. В. Горского представителями русской науки, свидетельствует лучше всего их согласное стремление приобщить его к своим ученым корпорациям посредством избрания в почетные члены разных обществ и учреждений.

В 1863 году он был избран почетным членом Московского Общества любителей духовного просвещения, в 1864 году почетным членом Московского университета, в 1867 году доктором русской истории от совета С.-Петербургского университета; в 1869 году — почетным членом Общества любителей русской словесности и Киевской духовной академии, в 1873 году почетным членом нашего Общества и Казанской духовной академии. На извещение о смерти А. В-ча, полученное академиком и профессором С.-Петербургского университета И. И. Срезневским³, находившимся с покойным в близких дружеских отношениях, в Московскую духовную академию была отправлена от членов Академии наук, С.-Петербургского университета, обществ филологического, археологического и др., следующая, составленная г. Срезневским, телеграмма:

«Чтя великие заслуги усопшего, как ученого, писателя и руководителя, просим Академию присоединить к своей и нашу глубокую скорбь об утрате, всеми нами понесенной».

Я не позволю себе обременять вашего внимания исчислением всех ученых трудов А. В. Горского; желающие познакомиться с их заглавиями могут найти почти полный их перечень (числом до 40) в выше упоминаемой статье г. Смирнова (№ 265 «Московских Ведомостей»). Укажу только на некоторые из них, как, например: «Описание славянских рукописей синодальной (патриаршей) библиотеки» — труд монументальный, к сожалению не доведенный до конца, который до 1862 года, то есть до назначения ректором, А. В-ч совершал совместно с К. И. Невоструевым и в котором содержатся драгоценнейшие материалы для изучения истории славянского текста Св. Писания, наших богослужебных и святоотеческих книг, для славянской филологии и т. д. Исследование о св. первоучителях славянских, составленное по так называемым паннонским житиям, которые им были открыты и с тех пор доньше служат для всех исследователей деятельности св. солунских братьев главнейшим основным источником (напечатано в «Москвитяине» 1843 г.); Памятники духовной литературы времен Ярослава I — это всем ныне известные произведения первого (из русских) митрополита Киевского Иллариона: «Слово о законе и благодати» и «Похвала кагану нашему Владимиру» и его же «Изложение веры», которыми, со времени их открытия А. В. Горским, начинается изложение истории письменной русской литературы (например, в Творениях св. отцов) и т. д.

Утрата такого ученого была бы очень ощутительна даже и в тех странах, где существует наука в истинном строгом значении этого слова; для нас же, при слабости

ее насаждений на нашей благодатной, не удобренной трудом почве, и при скудости в людях, предающих себя на бескорыстное служение науке, потеря такого человека, как А. В. Горский, есть настоящее общественное бедствие, в частности же для духовно-учебного ведомства — чистое сиротство. В этой сфере деятельности, можно сказать, не опасаясь кого-либо оскорбить, не применится ин к нему.

Но важность этой потери представится нам во всем своем размере только тогда, когда мы припомним, что все силы своего необыкновенного ума и все сокровища своих знаний усопший обращал, как уже выше замечено мною, на служение Церкви, с судьбами которой Промыслу, по недоступным для нас Его намерениям, угодно было так тесно связать судьбы нашей родной земли и в этом таинственном и священном их союзе предугадать нам наше всемирно-историческое призвание.

Нравственные качества А. В. Горского были никак не ниже, если еще не выше, его ученых достоинств; основанием и в то же время вершиною их было истинное непритворное смирение, плод его непрерывного внутреннего подвига, укрепляемого и внешними средствами духовной борьбы (как, например, добровольным постом). Это дивное сочетание смирения с высотой разнообразных даров всегда приводило мне на память художественное изречение одного из великих подвижников древности: «Дерево, обремененное плодами, всегда клонит свои ветви вниз».

Но эта верховная христианская добродетель никогда не вырождалась в А. В-че в робкую малодушную уступчивость пред сущими во власти и не исключала в нем порывов праведного гнева и открытого негодования при встрече с действиями или намерениями, направленными против чести и спокойствия Церкви. Я мог бы привести

не одно доказательство в подтверждение этой возвышенной черты его характера, если бы не опасался возмутить наслаждение мирного о нем воспоминания.

О том, как он боялся встреч, питающих тщеславие, и как старательно укрывался от таких поисков, которые для многих были бы краем желаний, может свидетельствовать следующий случай из его жизни. Однажды во время его пребывания в С.-Петербурге ему было передано, через мое посредство, приглашение одного высочайшего лица, в котором намекалось на то, что за этим свиданием должно последовать другое, еще более лестное и вообще знаменательное для А. В-ча, знакомство. На это он отвечал весьма учтивыми извинениями, но принять приглашение решительно отказался, сославшись при этом на слова подобной ему ветхозаветной Самаритянки: «К князю силы я не имею слова, ибо живу посреди моего народа».

Зато когда из этого заброшенного, скудного образованием, но пока еще верного благочестию, народа являлся кто-либо к А. В-чу *ради помощи души*, своей, то находил в нем истинного брата и исполненного любви руководителя. Из лично мне известных примеров такого сближения я позволю себе упомянуть перед вами об одном более других характеристическом. Когда я жил еще в Москве, случай свел меня с одним сборщиком, крестьянином Тамбовской губернии Борисоглебского уезда В.Ц. Пеньковым, человеком неграмотным, но путем подвига и непрерывной молитвы достигшим замечательной духовной высоты, исполненным любви и самоотвержения и имевшим дар умиления и слез. По окончании срока его сборной книге он захотел побывать в обители преподобного Сергия, и я, желая доставить ему средства с большим удобством обозреть святую обитель и все ее достопримечательности, дал ему письмо к А. В-чу, в котором поручал моего не-

чаянного знакомого его благосклонному вниманию. А. В-ч не ограничился исполнением просьбы, заключающейся в письме, но, как человек высокого духовного опыта, сразу опознав свойства своего гостя, удержал его у себя в доме, делил с ним свою трапезу, сам обошел с ним все, что могло быть занимательного для пришельца в Троицкой лавре, и с тех пор, до самой кончины смиренного сборщика, всякий раз принимал его с тою же неизменною любовью и считал его в числе близких себе людей. Для меня этот братский союз ученого, которому я затруднился бы приискать в современном поколении равносильного соперника, с безграмотным простолюдином есть явление, в высшей степени трогательное и, думается мне, едва ли где, кроме нашей земли, еще возможное.

О том, сколько любви изливалось из сердца А. В-ча на вверенных его ближайшему попечению питомцев академии, вы можете, мм. гг., узнать из сообщений его почтенных товарищей по академии, напечатанных за последнее время в нескольких номерах «Московских Ведомостей». Там найдете вы трогательное изображение и многих других возвышенных и нежных черт его характера, ряд коих мог бы значительно пополнить и я, если бы имел в своем распоряжении достаточное для того время. Но так как для изложения всего, что можно было бы привести в честь и память безвременно оставившего нас замечательного мужа, потребовались бы целые дни, и так как мне пора уступить свое место моему достойному товарищу, то я оканчиваю свое слово, в заключение коего позволю себе заметить, что похищение из редких и без того рядов истинных служителей Церкви такого деятеля, на котором, среди многообразных ее нужд и окружающих ее опасностей, могли бы опочить ее надежды, есть событие, в котором открывается как будто намеренный выбор Провидения.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ЗАСЛУГАХ Н. Ф. ЩЕРБИНЫ

Славянский Комитет не может остаться равнодушным к потере, которую понес он, а с ним и вся русская литература со смертью Н. Ф. Щербины¹. Обнимая своим сочувствием все замечательные проявления общественной жизни в славянском мире, он естественно должен считать своею утратою потерю каждого замечательного славянского, а тем более русского писателя, даже в том случае, если бы этот писатель и не служил прямо тем ближайшим целям, которым Комитет посвящает свою деятельность, лишь бы только он не становился вразрез с этими целями и не противодействовал бы высокой и спасительной идее славянской взаимности и развитого в русском обществе сознания пренебрегаемых им обязанностей к родственным славянским племенам и к своей собственной народности. Тем глубже должна быть скорбь нашего Комитета при утрате такого деятеля, который с несомненным и давно всеми признанным литературным дарованием соединял глубокую и вполне искреннюю, не одними словами, но и самым делом доказанную любовь к своему народу и к нашим соплеменникам.

Поэтому я смею выразить надежду, что Славянский Комитет отнесется благосклонно к моему намерению почтить недавно отшедшего от нас, высоко одаренного и высоко честного деятеля словом сочувственного воспоминания и что даже недостаточность моего слова искупится на его суде ценою предмета, которому оно посвящается.

Быть может не всем вам, мм. гг., известно, что то направление, которому покойный Н. Ф. следовал в последний период своей литературной деятельности и которое роднит его с нашим учреждением, было им усвоено не сразу. Была пора, когда он не только не чувствовал себя расположенным примкнуть к деятельности славянофилов, но даже относился к ней с легкой иронией, которая нашла свое выражение в его не всем, вероятно, известных, может быть, и им самим под конец забытых юмористических произведениях, которые никогда ни проникали в печать. Особенно замечательно, по моему мнению, то обстоятельство, что отрицательное отношение к тем вопросам, в высокое значение которых он впоследствии так горячо уверовал и на служение которым он смотрел как на единственное достойное русского писателя дело, продолжалось во все время его пребывания в Москве, и что истинный смысл этих вопросов открылся ему только по переселении его в Петербург.

Я узнал Н. Ф. в начале 50-х годов, вскоре после прибытия его в Москву с Юга России, откуда он явился с запасом своих греческих стихотворений, отмеченных признаками замечательного поэтического дарования и доставивших ему общую известность в литературе. Мимоходом замечу, что, несмотря на свое полугреческое происхождение, Н. Ф. не получил строгого классического образования, и высочайшие образцы древней греческой поэзии никогда не были изучаемы им по подлинни-

кам, с полною основательностью. Тем, по моему мнению, удивительнее представляется его творческая чуткость, которою он угадывал существенные черты этих бессмертных образцов, и которая помогла ему в создании таких превосходных им подобий.

Стихотворения свои Н. Ф. печатал в «Москвитянине», который был в то время единственным периодическим изданием, служившим делу русской народности и славянства; но, несмотря на то, что он находился у самого источника народного и славянского направления, он оставался ему чужд, и даже встречи с такими людьми, как Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаковы, которые хотя и не принимали в «Москвитянине» тех годов прямого участия, но следили за ним с теплым сочувствием и были с ним в постоянных сношениях, не произвели на Н. Ф. такого действия, чтобы привлечь его к служению русскому и славянскому делу.

Для того чтобы в уме его совершился спасительный переворот, ему нужно было переехать в Петербург и сойтись лицом к лицу с теми наиболее видными из здешних литературных деятелей, которых слава составляет стыд наш: близкое знакомство с истинным характером и целями их деятельности само собою совершило то, чего не могли произвести прямые влияния Московских идей.

Перемена образа мыслей обошла Щербину не дешево: петербургская критика, прежде столь к нему благосклонная, с яростью опрокинулась даже на восхваленные ею самую Греческие его стихотворения, а затем, по обыкновению своему, коснулась в нем и того, что для людей, не утративших до конца чувства чести, остается навсегда неприкосновенным не только в литературном противнике, но даже и в личном враге.

Как ни отвратительно было само по себе это «уськанье, гайканье и улюлюканье», мы не можем, однако, не

признать за ним некоторой услуги: не оно, конечно, породило, но нет сомнения, что оно возбуждало и поддерживало то сатирическое вдохновение Щербины, которому мы обязаны созданием его превосходных эпиграмм, большею частью не обнародованных, но повсюду распространенных и всеми с жадностью перечитываемых.

Здесь не у места было бы вдаваться в подробный разбор этих замечательных произведений, из коих иные предназначены, по моему убеждению, сделаться украшением нашей литературы; притом же они, вероятно, всем вам, больше или меньше, известны, и потому в настоящем случае вполне достаточно будет воздать честь высокому нравственному и гражданскому их значению. Эпиграммы Н. Ф., поражая все недостойное в нравах литературных и общественных от низости продажных гликерий нашей журналистики до вольной или невольной измены народному делу со стороны лиц, призванных охранять его и служить ему на высоте общественного положения, с особенною меткостью бичевали пороки и заблуждения того ложно-либерального направления петербургской журналистики, которое господствовало известное время над всем печатным словом в России и, благодаря количеству в унисон вопивших голосов, заглушало долгое время всякий протест здравого смысла и честного чувства.

В настоящее время это направление низложено... Я не говорю, чтобы у него не было никаких надежд впереди. Нет! Как прежнее его господство было естественным последствием ложной системы, налагавшей тяжкие узы на цепкое свободное проявление общественной мысли, так и в будущем ему расчищается широкий путь газетою «Весть»² и тем, что скрывается за этою вывескою. Не дивитесь, что я свожу вместе эти два, по-видимому, диаметрально противоположные направления; их близость

и родство, при всем наружном различии, несомненны по закону соприкосновения крайностей (*les extremes se touchent*³), они служат одной и той же цели, каждое в своей форме одинаково препятствуя делу свободы и истины. Это древние ассирияне и египтяне, враждовавшие и между собою, но более всего и прежде всего враждебные Израилю, на которого они нападали с равным ожесточением, только с различных сторон и с различными приемами в тактике.

Но, предоставляя наше будущее охранению тех самых сил, которые в недавнем прошлом спасли нас от грозивших нам бед, мы можем считать пока господствовавшее в начале текущего десятилетия направление побежденным.

Честь этой победы принадлежит главным образом двум московским изданиям, которые в минуты общего шатания мысли устояли в истине и из которых одно, самое чистое и возвышенное по направлению и самое близкое и родственное нашему Комитету по духу, давно уже безмолвствует...

Затем соразмерная доля этой чести должна принадлежать и всем тем литературным деятелям, которые так или иначе послужили делу восстановления утраченного нашим обществом здравого смысла и поражению угнетавших его сознание злых сил; в ряду этих деятелей видное место должен занять Н. Ф. Щербина, как творец эпиграмм и как составитель «Пчелы».

Вам опять может показаться странным сближение столь несходных, по-видимому, предметов. Какая, подумаете вы, связь между написанною на нашего доморощенного Бабефа или Теруэн д'Эмерикур эпиграммою и составлением книги для чтения народа? А между тем связь есть, и весьма близкая, хотя и не сразу заметная: как составление упомянутой книги было плодом забот-

ливой любви к русскому народу, которому, на первых шагах обновленной жизни, расставлены были многообразные сети и соблазны, начиная от настержь растворенных дверей кабака до подметных грамот, так и создание эпиграмм, поражавших с особою силою соблазнительей народа, было выражением той же заботливости о народе и стремления уберечь его от разнообразных попыток к его насильственному растлению. Эти эпиграммы были шагом той самой «любоделной» «Пчелы», которая облетела все поле родного слова, чтобы из лучших его цветов собрать сладкие и благоухающие соты и предложить их в снедь и наслаждение русскому человеку.

Противодействие, оказанное нашим обществом и литературою развращающим народ влияниям, было замечательно слабо; наша литература не может похвалиться обилием книг, изданных с целью укрепить в народе те основные начала его духовной жизни, в сохранении и правильном развитии коих заключается единственное условие будущего преуспевания нашего Отечества и даже его целостности. Но если книг такого направления вышло вообще не много, то такой книги, какова составленная Н. Ф. Щербиною «Пчела», не появилось ни одной.

Она замечательна как по разнообразию и высокому литературному достоинству вошедших в нее образцов родного слова, так и по чрезвычайно умному их подбору, вполне соответствующему воспитательной задаче, которую имел в виду ее составитель.

Извлеченные частью из первоначальных источников, частью из творений лучших отечественных историков повествования о происхождении и первоначальной судьбе русского народа, о просвещении его христианством, о замечательнейших событиях, как скорбных, так и радостных, его 1000-летней истории, не только знакомят русского простолюдина-читателя с прошедшею

судьбою его земли, о которой он так мало знает, но в то же время осмыслят, укрепят и возвысят живущее в нем безотчетно чувство любви к ней. Затем статьи общеславянского отдела «Пчелы» должны расширить пределы его политических симпатий, которые ограничивались до сего времени своею родною землею и нашими восточными единоверцами, указав им на наших кровных братьев, которые преданы злoу судьбою в горькую неволю турка и немца и от нас одних чают своего избавления и о которых не только народ наш, но даже наше образованное общество и самая литература до самого последнего времени ничего не знала и знать не хотела. Те из вас, Мм. Гг., которые следили за журналистикою 40-х годов, конечно, помнят, что ни одной книжки толстых петербургских журналов того времени не выходило в свет без каких-нибудь пошлых выходок против Хомякова, Языкова, К. Аксакова... и против тех идей, которые вносились в область нашего сознания этими высокими деятелями.

Наконец, духовно-нравственный отдел, особенно замечательный по разнообразию и достоинству предложенных в нем статей и чрезвычайно искусно приуроченный к понятиям и вкусу нашего народа, ознакомит читателя с назидательными и пленительными по своей простоте рассказами о священных для русского человека местах и о подвигах наиболее чтимых в нашем народе святых, а также с высокими образцами поучений древних великих учителей вселенской церкви и некоторых отечественных проповедников. Там же читатель-простолудин найдет ряд весьма полезных для него статей о расколе, с которым русский человек встречается в настоящее время почти на каждом шагу и которому он удобно подчиняется, предоставленный собственным умственным и нравственным средствам, лишенный своевременной и разумной помощи.

Таким образом, составленная Щербиною книга предназначена содействовать не только умственному развитию народа расширением круга его познаний, но и воспитанию в нем религиозно-нравственных и патриотических стремлений, и, наконец, возбуждению в нем эстетического чувства, не производя при этом никакой смуты или тревоги в его внутреннем устройении, а только возвышая и очищая в его сознании те вечные и непреходящие истины, которые он и ныне чтит, но не столько разумом, сколько своим неясным чувством.

Я кончаю... хотя сказал, как вы сами, конечно, это чувствуете, далеко не все, что можно было бы сказать о деятельности Щербины; но я не хотел употребить во зло вашей снисходительности: для моей цели довольно того, что в среде высокочтимого самим покойным учреждения, ему, как общественному деятелю, художнику-поэту, остроумному сатирику и наставнику народа принесена дань хвалы и признательного воспоминания.

Да будет в мире место его и покой его — честь!

ПАМЯТИ И. Ф. ГОРБУНОВА

Скорбная весть о кончине И. Ф. Горбунова пронесется по всей России до отдаленнейших ее концов и вызовет всюду искреннюю печаль об утрате высококого художника родного слова и неподражаемого живописца быта и нравов всех слоев русского народа. Не будет, без сомнения, недостатка в сочувственных отзывах как о его общественной деятельности, так и о редких свойствах его души, чему начало уже положено в петербургских современных изданиях; как дань общей заслуженной признательности, принесутся ему согласные и достойные его заслуг хвалы; могут быть изысканы, предложены и приняты различные меры к увековечению его светлой памяти. На этом можно было бы, пожалуй, мне и успокоиться и незаметно присоединиться к многочисленному хору сочувственных голосов.

Но мои особенные отношения к почившему не позволяют мне молча проводить его в могилу и повелительно требуют слова. Как свидетель всего пройденного им пути, как последний за его смертью член того литературного кружка «молодого Москвитянина», в котором он получил свое художественное воспитание, я погрешил бы и против его братской ко мне дружбы, и против его близких и почитателей, если бы в минуту земной с ним

разлуки остался безмолвным и не послал бы ему прощального привета.

Мы познакомились с И. Ф. в 1853 году, в Москве у А. Н. Островского, который жил тогда у Николы в Воробине; его простота, любезный открытый нрав, замечательная скромность с первого раза привлекли меня к новому знакомому, а выслушанный мною рассказ «Утро квартального надзирателя» дал мне понять, что я вижу пред собою истинного художника, бриллиант чистой воды.

С той поры И. Ф. усвоен был кружком «молодого Москвитянина» и, по распадении кружка, оставался со всеми бывшими его членами в неизменных дружеских отношениях.

А. Н. Островский и П. М. Садовский в той области искусства, в которой собирался действовать И. Ф., были два гиганта недостижимой высоты и несоизмеримой силы: их постоянному наблюдению и влиянию И. Ф. был обязан тем тонким чувством меры, которым отличаются все его рассказы, и полною свободой от того, что французы зовут *charge*¹ и что обыкновенно соблазняет начинающих художников легкостью дешевого успеха. Разумеется, ничье влияние не оградило бы И. Ф. от этого слишком распространенного порока, если бы в собственной природе его дарования не было залогов строгой художественной трезвости. Но едва ли можно поручиться, что он хотя бы на время не впал бы в этот грех, если бы вместо Островского и Садовского он на первых порах своей деятельности попал под руководство, например, Самойлова. Общение и с другими членами «молодого Москвитянина» не осталось без пользы для развития в И. Ф. общего литературного вкуса и силы его природного юмора: Е. Н. Эдельсон и Б. Н. Алмазов должны быть упомянуты здесь па первом месте.

В 1853 году у И. Ф., кроме «Утра квартального надзирателя», рассказа превосходного, но немного грубоватого, было несколько маленьких рассказов из быта московских фабричных, тонко отделанных и чрезвычайно забавных, но сравнительно с позднейшими плодами его творчества незначительных.

Между произведениями его зрелой поры внимательный взор может отметить немало таких, которым, сверх их художественного совершенства, нельзя отказать и в важном общественном значении. Например, когда беднягу портного из Гусева переулка взяли в участок за его невинное намерение лететь с немцем в воздушном шару и когда из народа раздается голос: «И как это возможно без начальства лететь?», мысль не останавливается на забавном смысле этого частного случая, но простирается далее его, к более важным общественным явлениям.

Рассказ о заседании «Общества прикосновения к чужой собственности» вместе с взрывом неудержимого хохота вызывает (увы! вызывал) и взрыв негодования и уныния своим сходством с действительными нравами наших общественных деятелей, которые нимало не стесняются тем, что «грабить не приказано».

Рассказ «О краже брюк» есть правдивое и живое изображение изнанки быта судебных учреждений, вызывающее об исправлении зла.

В числе рассказов И. Ф. есть и такие, в которых сквозь комическую оболочку проступает заметная поэтическая жилка и живое чувство природы и под которыми не усомнился бы подписать свое имя перво-классный художник, таковы: «Лес», «Безответный».

И. Ф. знал в совершенстве язык древнерусский и мог подделываться под него с неподражаемым искусством.

Составленное им описание поездки древнего русского боярина в Эмс ввело даже опытных археологов в крайнее недоумение. Думая, что это подлинный статейный список XVII ст., ученый П. И. Савваитов долго не мог прийти в себя от удивления, вообразив, что рулетка существовала уже в XVII веке.

Равным образом И. Ф. был знаком и с языком церковнославянским и мог писать на нем свободно шуточные приветственные слова и поздравления по разным случаям. Такая переписка происходила неоднократно и между нами.

Многие части нашего богослужения он знал наизусть и не мог насытиться дивною красотой и велелепием священных творений богодухновенного греческого гения, переданных в чудотворном церковнославянском переводе. В свои предсмертные дни он с наслаждением слушал чтение Цветной Триоди.

Язык русской песни и ее напевы были ему знакомы, как редко кому.

Наконец, начитанность его в нашей новой литературе была поразительна; и нельзя надивиться количеству стихотворений наших великих, средних и даже малых поэтов, которое удерживалось в его изумительной памяти.

Этими беглыми, наскоро набросанными, заметками о тех составных частях, из которых сложилось умственное и художественное образование И. Ф., я должен поневоле на этот раз ограничиться; думаю, впрочем, что и в них достаточно ясно определяются основные черты его внутреннего образа и его отношения к тому, что составляет душу нашего народа: к его вере, языку, песне и вообще его словесному творчеству. В силу сих отношений ему по праву принадлежит имя народного русского художника.

Благословениями провожая его в неизбежный всем нам таинственный путь, мы смеем выразить упование, что детское незлобие его светлой души, которое привлекало к нему общую любовь здесь, и там исходатайствует ему милость прощения, в которой одной он и имеет теперь нужду.

**РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕРОМ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
29 ДЕКАБРЯ 1890 ГОДА**

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!

Из всеподданнейшего доклада Министра Финансов и только что произнесенной им речи, из отчетов Государственного Контроля и Министерства Финансов, представленных на рассмотрение Гг. Членов Государственного Совета, они могли вынести твердое убеждение в замечательном отрадном улучшении финансового положения нашего Государства за последнее время. Это улучшение согласно признается и живо чувствуется не только у нас, но и за пределами России как нашими друзьями, так и недоброжелателями, в печати, в деловых кругах и правительственных сферах Европы. Чтобы яснее представить себе истинную цену и точнее определить меру сего улучшения, я позволю себе сравнить нынешнее положение наших государственных финансов с тем, в каком они находились за первые семь лет настоящего, через два дня истекающего, десятилетия.

С 1881 г. по 1888 г. наша Государственная Роспись по обыкновенным доходам и расходам исполнялась постоянно с недочетами, которые в иные годы достигали 50 и даже 75 млн. руб., а в общем итоге за семь лет составили 203 млн. руб., в среднем же выводе по 29 млн. руб. в год. В 1888 г. та же Роспись исполнена с превышением доходов над расходами в 60 1/2 млн. руб., и в 1889 г. в 86 1/2 млн. руб., в итоге превышение достигло 147 млн. руб., которыми покрыты были недочеты в чрезвычайных бюджетах этих двух лет около 65 млн. руб., и затем образовалось около 82 млн. руб. вполне свободной наличности государственного казначейства.

Чем же объясняется такой внезапный и спасительный оборот наших дел? Главную причину его усматривают большею частью в тех обильных урожаях, которыми Бог благословил наши поля в 1887 и 1888 гг. И никто, конечно, не станет отрицать, что без этой явной и благодетельной помощи свыше такой успех, какого мы достигли в области наших государственных финансов, был бы невозможен. Он был бы невозможен и без той политики, которую ведет и направляет наш Всемилостивейший государь во внутреннем управлении родною землею и во внешних сношениях с иными странами и народами. Этой величаво спокойной политике Министр Финансов воздал почтительную и искреннюю хвалу, к которой с благоговением приобщаюсь и я и которую свободно и радостно могут повторить всякие чистые, не знающие лести, уста. Затем справедливость, которая по общеизвестному изречению древнего юриста воздает каждому свое (*suum cuique*), требует, чтобы ссылками на урожаи не заслонялись искусственно другие причины этого успеха и чтобы отдана была должная дань признательности нынешнему Финансовому управлению, которое умело вполне воспользоваться

благоденствиями мира и двухлетнего урожая и со своей стороны провело целый ряд важных государственных мер, в свою очередь содействовавших в высокой степени улучшению государственных финансов и упорядочению нашего бюджета вообще.

В области государственных доходов меры эти выразились: в увеличении размера акциза с вина и табака, в установлении акциза с осветительных масел и спичек, сбора с торговых свидетельств, выбираемых акционерными обществами; в повышении гербовых пошлин; в установлении более строгого учета по доходам частных железных дорог и, в особенности, в упорядочении железнодорожных тарифов.

По отношению к расходам задача Финансового управления была еще труднее. Стремиться к их прямому сокращению было бы напрасно. Такие попытки предпринимались неоднократно; на моей памяти, т. е. за то время, как я имею высокую честь и счастье служить в Государственном Контроле, их было две: первая в конце 60-х годов, когда по совместному докладу Статс-Секретарей Татаринова и Рейтерна высочайше повелено было разработать ряд намеченных ими и к этой цели направленных вопросов; вторая выразилась в учреждении в 80-х годах — при Государственном Совете — высшей комиссии для подобной же цели.

И несмотря на то, что оба раза дело было поручено людям высоко-даровитым и многоопытным, которые употребили на решение данной им задачи много труда и времени, усилия их кончались ничем. Оказалось, что сократить расходы правительственных ведомств так же невозможно, как возратить течение реки к ее источнику.

К повторению таких попыток, в ясном сознании их бесплодия, нынешнее Финансовое управление и не прибегало. Но в составе Государственной Росписи оно от-

крыло одну отрасль государственных расходов, — именно в смете системы государственного кредита, в котором оно успело — через ряд предпринятых им в 1889 и 1890 гг. превращений некоторых государственных займов, — уменьшить ежегодные платежи на 7700000 руб. зол. или на 12 1/4 млн. руб. кред. К этим 12 1/4 млн. руб. следует присоединить сумму в 8 3/4 млн. руб., на которую сократились расходы системы кредита вследствие пересрочки банковых билетов первого выпуска, предпринятой в 1887 г. и исполненной в 1888 г.

Таким образом, ежегодное сокращение расходов по смете системы кредита определяется в 21 млн. руб.

Затем задача Финансового управления сводилась к тому, чтобы действительное исполнение расходов не превышало бюджетных назначений. И эта задача решена им блистательно. За те же семь лет, о которых я уже говорил, общий итог сверхсметных кредитов простирался до 176 млн. руб., или по 25 млн. руб. в год. В 1888 и 1889 гг. сверхсметных кредитов вовсе не было, и кроме того, осталось неизрасходованных и закрытых кредитов: в 1888 г. 13 1/2 млн. руб. и в 1889 г. 11 1/2 млн. руб.

Совершенное упразднение сверхсметных кредитов оказалось возможным при предусмотрительном исчислении в сметах правительственных ведомств всех неизбежных расходов в соответственном с потребностями размере и потребовало удвоения суммы (с 3 млн. руб. на 6 млн. руб.), которая заносится в Роспись на усиление в течение года сметных кредитов и на покрытие расходов, недоступных предвидению.

По отношению к порядку составления росписей на 1888 и 1889 гг., исполненных с общим превышением в доходах: на 34 млн. руб. в 1888 г. и на 48 млн. руб. в 1889 г., необходимо указать на только что упомянутое мною включение в росписи всех предусматриваемых в

предстоящем году расходов (с целью устранения сверхсметных назначений) и на крайне осторожное исчисление доходов.

С соблюдением этих условий была составлена и Государственная Роспись на 1890 год.

Несмотря на то, что во время сведения ее в отчете Государственного Контроля было показано поступление обыкновенных доходов за 1888 г. в 898 1/2 млн. руб., и что Финансовому управлению было известно об успешном поступлении доходов за первые 10 месяцев 1889 г., обыкновенные доходы на 1890 г. ввиду слабого урожая были исчислены в весьма умеренной цифре — 891 1/2 млн. руб. На обыкновенные же расходы исчислено было 890 млн. руб. Таким образом, Роспись по обыкновенным доходам и расходам была сведена с избытком в доходах приблизительно в 1 1/2 млн. руб. (1440769 руб.).

На чрезвычайные расходы назначено было по росписи около 58 млн. руб., на покрытие коих имелись в виду 16 млн. руб. чрезвычайных поступлений и 1 1/2 млн. руб. предвиденного избытка в обыкновенных доходах; остальные же 40 1/2 млн. руб. предполагалось покрыть свободною наличностью Государственного Казначейства.

По современным сведениям о поступлении доходов за первые 11 месяцев нынешнего года общая сумма обыкновенных доходов, поступивших в этот период времени, составляет 813 1/2 млн. руб., т. е. более против соответствующего периода времени 1888 г. на 35 млн. руб. и 1889 г. на 12 млн. руб. Имея в виду, что в остальной месяц настоящего года поступление доходов ни в каком случае не будет ниже прошлогоднего декабрьского поступления, общую сумму доходов в счет росписи 1890 г. можно предвидеть по крайней мере в цифре 939 млн. руб. (927 млн.+12 млн.), т. е. более против предположения Росписи на 47 1/2 млн. руб.

А так как при исполнении Росписи расходов 1890 г. вовсе не было, как и в прошлые два года, сверхсметных назначений и даже от шестимиллионного Фонда к 1 ноября израсходовано было немного более 3 млн. руб., то можно с твердою уверенностью ожидать ко времени заключения Росписи 1890 г. по обыкновенным расходам некоторого сбережения, судя по прежним примерам, никак не менее 5 млн. руб., причем общая сумма обыкновенных расходов в счет Росписи 1890 г. определится в 885 млн. руб.

Приведенные исчисления позволяют предвидеть заключение Росписи 1890 г. по обыкновенным доходам и расходам с избытком в доходах на 54 млн. руб.

Чрезвычайных ресурсов поступало в первые 10 месяцев 1890 г. — 22 млн., более предвиденных Росписью (16 млн.) на 6 млн. руб. А так как сумма на предвиденные Росписью чрезвычайные расходы осталась без изменения (58 млн.), -то исчисленный по Росписи недостаток в ресурсах для покрытия сих расходов 42 млн. понизится до 36 млн. руб. Недостаток в сих ресурсах предполагалось по Росписи покрыть частью ожидавшимся превышением обыкновенных доходов над расходами (на 1 1/2 млн. руб.), частью из свободной наличности Государственного Казначейства (на 40 1/2 млн. руб.), но к этой последней мере прибегать, конечно, не придется.

Превышение в обыкновенных доходах над расходами, составляющее около 54 млн. руб., настолько значительно, что может не только вполне покрыть недочет по чрезвычайному бюджету, но послужить к дальнейшему увеличению свободной кассовой наличности Государственного Казначейства на сумму около 18 млн. руб. (54 — 36 млн.).

Если же к сему прибавить остаток от заключенных Росписей прошлых лет (от закрытия именных списков

кредиторов казны 1887 г.), который по самому скромному расчету будет не менее 5 млн. руб., то общий итог свободной кассовой наличности, который к 1 января 1891 г. определился в 218 1/2 млн. руб., к 1 января 1892 г. дойдет до 241 1/2 млн. руб.

Здесь следует, впрочем, оговориться, что часть этой наличности уже издержана Министером Финансов на расходы (55 млн. руб.), о коих он говорит на стр. 24 своего всеподданейшего доклада и которые я исключил из своего расчета с полным основанием, так как они выйдут из пределов Росписи, представляя собою в сумме 50 млн руб. употребление свободной кассовой наличности на досрочное погашение государственного долга.

Столь успешные, предвидимые уже ныне, результаты исполнения Росписи 1890 г. подтверждают еще раз устойчивость нашего финансового положенья и полную успешность тех мер, которые были предприняты для упорядочения нашего бюджета. Результаты эти в связи с благоприятными сведениями о нынешнем урожае служат залогом верности и тех предположений, которые внесены в Роспись 1891 г. при соблюдении той же осторожности и предусмотрительности, которыми сопровождалось составление Росписей за последние три года.

На этот раз не только соблюдена та же осторожность, но, можно сказать, в значительной, почти чрезвычайной мере была усилена. Об этом можно догадываться из некоторых выражений всеподданейшего доклада Министра Финансов. Государственный же Контроль вынес такое убеждение, как свидетель и ближайший участник в рассмотрении финансовых смет. По многими отраслям государственных доходов он предлагал цифры, значительно выше тех, которые были окончательно приняты Департаментом Государственной Экономии, основываясь на соображениях и данных, достойных внимания.

И хотя он уступил соображениям, клонившимся к более осторожному исчислению, но про себя питает надежду, не скрывая ее и от Государственного Совета, что без особенных, человеческому предвидению недоступных бедствий поступления 1891 г. если может быть и не достигнут цифры поступлений, ожидаемых в истекающем 1890 г., то не будут ниже поступлений 1889 г.

Выражением этой надежды я заключаю свои соображения, которые счел долгом представить на уважение Государственного Совета, по Государственной Росписи на 1891 год.

ПЕРЕПИСКА Т. И. ФИЛИПОВА С К. Н. ЛЕОНТЬЕВЫМ

Филиппов — Леонтьеву

8 марта 1879

Дорогой Константин Николаевич.

В Москве будет издаваться газета «Восток»¹, которая Вам будет очень сочувственна и издатель которой — Николай Никол<аевич> Дурново — просил меня быть между ним и Вами посредником, дабы привлечь Вас к деятельному в сей газете сотрудничеству. Положение тех именно дел, которые Вас и меня наиболее занимают и важнее которых, по моему убеждению, на свете нет, таково, что требует от нас всей нашей энергии, всего нашего мужества и полной преданности. Наступает кризис; на днях как мне передавали, будет отправлен к патриарху ответ Святейшего Синода (в редакции Преосв<ященного> Макария) на его запрос об общении нашего духовенства с болгарским. Чем разрешится узел — предугадать нельзя; ни содержания, ни тона изготовленного ответа я не знаю. И хотя по отзыву Ону², патриарх Иоаким III³ отвечает всем требованиям, созданным усложнениями вопроса; но очень легко может случиться, как уже случилось дважды, что наш ответ окажется неудовлетворительным

и породит последствия бесконечно важные и столь же плачевные. Если Вы в обители, то предложите старцам, да воздеют свои преподобные руки на Начальника мира⁴ с мольбой об утешении волн, взимающихся на Его священный корабль. Не о гибели корабля я пишу, —

Да ся пенит море и бесит,

Корабля бо Иисусова полонити не может.

Но я не могу без ужаса себе представить, что мы выбросимся из этого спасительного корабля в среду грозного и губительного волнения и — кто знает? — будем ли мы в состоянии на него опять взобраться. Все эти вопросы выше человеческих сил и соображений; но тут-то и предлежит подвиг тем, кому открыт истинный смысл событий, сам по себе весьма ясный, но искусственно заслоняемый предубеждениями.

Всею душою преданный Вам

Т.Филиппов.

Дурново живет на Остоженке в 3-м Зачатейском переулке, дом Соколова.

Леонтьев — Филиппову

23 апреля 1879 года,

Оптина пустынь

«Лучшее враг хорошего». От желания написать Вам, глубокоуважаемый Третий Иванович, побольше и лучше, побольше сказать Вам, я бессовестно опоздал Вам ответить на Ваше дружеское письмо.

Дела срочного и «насущного» до того много и все это так принудительно, что я Вам выразить не могу. Поэтому прошу Вас, поймите мое долгое молчание именно так, как я его объясняю. Получив Ваше письмо, я списался с Н. Н. Дурново и отчасти условился. Но до сих пор ни газе-

ты его не получаю и никаких о ней сведений не имею. Не знаю, как это возможно будет писать отсюда что-нибудь основательное, когда обстоятельства меняются каждый день и фактов новых и по-своему понятых здесь нельзя знать. Конечно, я сделаю все, что могу. Старцам Оптинским я передавал Ваши опасения за единение церквей; но если я не ошибаюсь, им или по отдалении вопрос этот не ясен, или уж вообще печальное состояние православия в самой России сделало их настолько пессимистами, что они ничего хорошего и не ждут, а только стараются сами жить поправильнее и паству свою получше пасти. Что ж, а если в самом деле — ждать хорошего нечего? Это ведь не противоречит учению. Благодать может отойти от народа, которого высшие классы отступают от веры. Оправданы будут лица, «претерпевшие до конца»⁵, а не нация и не государство. Это, впрочем, мое личное мнение и больше ничего.

Я нередко думаю и боюсь, что именно разрешение «Восточного Вопроса» ускорит наше разложение. И если бы я видел хоть какой-нибудь прок в этих югославянах, то я бы сказал себе: что ж, славянский союз будет еще богаче содержанием, чем та Россия Петровского стиля, в которой мы родились. Но увы! Чего ждать, напр[имер], от болгар... Вы сами знаете. С первого шага Бельгийская конституция. Прямо из пастырской грубости в европейское хамство. Дорого бы я дал, чтобы знать правду о том, что там, в Болгарии, делается... Что делают все эти противные Дриновы и Каравеловы⁶. Мне все кажется — это правда, что единственно порядочного человека — Балабанова выгнали тогда из палаты⁷... Хотя у Каткова это опровергалось; но я и Каткову не верю, он ведь очень непоследователен (я думаю, преднамеренно) и основательно преследуя либерализм у нас, снисходителен почему-то к болгарскому либерализму.

Едва-едва решился похулить слегка «конституцию»; тогда как при его влиянии он мог бы сделать пользу, заранее позаботившись об этом. Мало дальновидности или мало добросовестности — не знаю? Или он изнемогает, трудясь головой один, потому что помощники его бездарны, а способным и дельным он ходу не дает. Кто ждет развития дальнейшей казенной либеральности на Востоке, тому относительно православия остается одно — в душе жалеть о турках. Они гораздо менее были вредны для церкви, чем можем быть мы.

Все это так печально и вместе с тем ко всему этому день за день так привыкаешь, что иногда спрашиваешь себя только: стоит ли писать что-нибудь против этого смрадного и всесокрушающего потока?

Прибавьте к этому личные обстоятельства, до невозможности просто дошедшие, благодаря равнодушию, несправедливости людской. В министерстве все не хотят ни отказать мне и не советуют брать назад бумаг, которые я представил, ни должности не дают. То есть, лучше об этом и не говорить. Я покоен сердцем — только потому, что думаю: бессмысленное поведение людей относительно меня — нельзя иначе объяснить, как Божественной волей. Не скоты же люди и не дураки совсем, а если Катков поступает со мной как свинья, и если министерство ведет себя глупо относительно меня, если друзья не протягивают мне серьезной руки помощи, то это безумие есть лишь проявление какого-либо тайного Промысла Божия. Иначе, согласитесь, без этой веры отчего бы не покончить разом все? Это вовсе уже не так трудно. Правда ведь?

Остаюсь глубокоуважающий Вас и преданный Вам К.Леонтьев.

NB. Я очень обрадовался Вашему повышению, но все-таки я желал бы, чтобы Вам были поручены выс-

шие церковные дела, а не «бирки». Для бирок и кроме Вас нашлись бы, а Обер-Прокурор или комиссар для церковных дел Востока кроме Вас — в России нет. Духовенство вообще по делу греко-болгарскому ужасно близоруко. Ужасно.

ПЕРЕПИСКА ПО ПОВОДУ КНИГИ ФИЛИППОВА
«СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ВОПРОСЫ»

Филиппов — Леонтьеву

22 февраля 1882

Дорогой Константин Николаевич.

Через Преосв[ященного] Алексия⁸ Вы получите мою книгу «Современные церковные вопросы», где найдете три рассуждения о греко-болгарской распри, четыре чтения о нуждах единоверия и т. д. Если бы настроение духа Вашего позволило Вам написать отзыв о ней для «Московских Ведомостей», то это было бы очень полезно для дела. О греко-болгарском вопросе никто не может написать так, как Вы; даже и близко к Вам подойти никто не может. События, совершившиеся после отлучения болгар, дают так много для освещения самого отлучения и смысла всей распри, что здесь бездна. Кроме статьи в «Московских Ведомостях», весьма было бы кстати поместить что-либо и в «Р[усском] Вестнике». «Восток» откликнется; думаю, что и «Современные» Из[вестия] отзовутся. «Русь»⁹ ополчится, но тут-то и будет случай сказать ей, что она такое: подлинная ли Русь или мельхиор?

Здесь встретят бранью.

Как Вы поживаете? Я с семьей, слава Богу, благополучен; но что же значит личное и семейное счастье, когда общие дела отечества в таком положении. Напишите мне о себе, только поразборчивее.

Целую Вас. Ваш Т.Филиппов.

Леонтьев — Филиппову

1882, 24 февраля, Москва

Наконец-то Вы, после такого долгого молчания, обрадовали меня словечком, истинно-дорогой мой Тертый Иванович! Книгу Вашу получу с радостью и, конечно, сделаю все, что могу; хотя предупреждаю Вас, что на успех надежды очень мало <...>

В книге Вашей дело идет, между прочим, и о греко-болгарской распре. Это один из самых крупных камней преткновения. Ведь Вы не захотите, чтобы я писал не то, что думаю (или не то, что Вы думаете сами, ибо мы по этому пункту совершенно согласны)? А разве Катков допускал когда-нибудь в «Московских Ведомостях» защиту тех, кого привыкли у нас звать так глупо фанариотами. Как же быть? Конечно, в газете можно притаиться немного, сжаться, извернуться, написать поменьше, чтобы, не давая себе высказаться, привлечь только внимание на книгу. Но и этого мы легче достигнем, если Катков (он ведь, кажется, еще в Петербурге?) напишет два слова сюда своим клеветам. «Поместить заметку Леонтьева о книге Филиппова» — иначе едва ли я без него добьюсь чего-нибудь. Вот в «Востоке» я могу разойтись привольно, но сам-то Восток не расходится. В редакции Каткова про Вас иные говорят так: «Умный человек с большим талантом и познаниями, но, жаль, представитель казенного православия» (какое же это такое не казенное-то?).

А меня считают уж и не пойму чем — скорее всего художником, в скверном значении этого слова, т. е. чем-то неосновательным. Третьего дня я вынужден был прервать это письмо; и вчера узнал, что Катков приехал из Петербурга, и потому я тотчас же по прочтении Вашей книги, поеду к нему сам и постараюсь даже и посредством уступок достичь цели. Не прочтя книги, говорить неудобно <...>

Филиппов — Леонтьеву
4 марта 1882

Дорогой Константин Николаевич.

Я давно не писал Вам единственно потому, что лишился бодрости духа, а с нею и расположения к размышлению. Бог знает, вышел ли бы я со своею книгою, если бы 9/10 ее не было отпечатано еще в 1876 году и не ждало дополнения и предисловия. Типография наконец стала меня понуждать, ибо она несла убыток от напрасного лежания отпечатанной книги. Вот и решился наконец пустить книгу без того предисловия, какое я задумывал и в котором должен бы был выразить весь бедственный для мира смысл проклятого болгарского вопроса. Думаю, что в «Московских Ведомостях» Ваши статьи о моей книге будут приняты любезно по крайней мере ради меня; впрочем, кто знает, попробуйте. «Восток» будет Вам рад до бесконечности. Здесь будут Вам рады «СПБ. Ведом [ости]» и «Гражданин». Оба эти издания приветствовали появление книги кратко, но выразительным и весьма приятным для меня отзывом. Если бы у Вас собралась крупная статья, то и «Р[усский] Вестник», может быть, поместил бы. Последствия-то теперь очень ясны и нашим

выводам очень помогают. Теперь пока кончаю; а удосужусь... напишу побольше.

Ваш искренний Т.Филиппов.

Леонтьев — Филиппову

8 марта 1882, Москва

Тертий Иванович!

Три дня уже тому назад послал в редакцию «Московских Ведомостей» статью о «Современных Церковных вопросах», и до сих пор ее еще не напечатали. Я сделал с моей стороны все, что только мог. Ездил по ужасной погоде в редакцию два раза: во второй раз решительно ворвался к Каткову и довольно долго уговаривался с ним. Он сам желал обратить внимание на Вашу книгу и был рад моему предложению напечатать в газете отзыв сдержанный и без подписи. Относительно более развитой статьи в «Русском Вестнике» мы с двух слов оба поняли, что нам не сойтись. Он сказал мне так: «Вы с Филипповым оба придаете Вселенскому Патриарху особое значение и хотите создать из него какого-то анти-папу¹⁰, а я с этим никогда не соглашусь; отсутствием централизации православие существенно разнится от католицизма и т. д.» Спорить я с ним не стал, ибо прежние наши споры его не убедили, и решил ограничиться беспристрастным указанием на то, что это вклад, и т. д. — я Вам выразить не могу! Я ни разу так не стеснял себя в печати, и не будь это о Вашей книге и о предмете столь дорогом для меня, — то я бы не дописал бы и маленькой заметки.

И что же? боюсь, что и то ему показалось слишком Леонтьевским... Если завтра не будет напечатано, поеду сам опять к нему. Я, впрочем, предупредил его, что он

может вычеркивать и переделывать как угодно, лишь бы прекрасный труд не прошел без внимания.

Пока прощайте; я сделаю и кроме этого все, что могу; это долг не одной личной дружбы и благодарности, а долг единомыслия.

Но если бы Вы только знали, до чего мне все тошно и все скучно! Я и об «России» очень мало теперь думаю, и благодаря тому, что цензура кое-как меня кормит, только и думаю (как слабый и худой монах): «как бы поесть, поспать и вздохнувши о гресех (очень искренно) опять поспать...»

Скучно! очень скучно!... Задушили.

Ваш К.Леонтьев.

Филиппов — Леонтьеву

СПБ, 24 марта 1882

Дорогой Константин Николаевич.

Когда даже такие охранители отеческих наших преданий, как Катков, с таким насилием для себя дают клочок своей газеты для скромного приветствия книги, воинствующей за возвышеннейшие и священнейшие из всех преданий человеческого рода, то дело, значит, очень плохо. И тот, кто в наши дни еще хранит в душе упование и веру, того не грех поставить наряду с Авраамом, занесшим нож на Исаака, в котором ему наречено было семя. У нас одна может быть надежда: что может Бог от камня сего¹¹ воздвигнуть чада Аврааму. Но захочет ли Он и входят ли Его таинственные намерения нас воскресить, кто нам это скажет? Кто уразумеет Господень, или кто советник Ему бы[с]ть?¹² Обречены мы или еще долготерпим о нас Господь, — вот страшный вопрос, перед которым исчезают, как мел-

кие песчинки, вопросы: университетский, питейный, земский и т. д.

Благодарю Вас от сердца за Ваши строки и за Вашу настойчивость. В «СПБ. Ведомостях» будут гостеприимнее, если не поддадутся страху. «Восток» будет даже в восторге, если Вы ему что-нибудь дадите. Если болезнь Ваша не помешает Вам, то потрудитесь побывать у книгопродавца Андрея Николаевича Ферапонтова, на Никольской, и спросить у него, получил ли он посланные ему сто экземпляров моей книги, и если получил, то почему медлит объявлением о них в газетах?

О болезни Вашей я думаю совокупно с женою, и оба мы Вас умоляем не давать себя резать: совершенно необходимо испытать прежде гр[афа] Маттея и Ганемана¹³. При первом удобном случае повидаяюсь с кем следует, и пока пришлю Вам совет заочно. А там что Бог даст. Только жене случалось воздвигать больных, уже приобщенных к смерти и положенных под образа. С Благовещением и скорым Воскресением поздравляю Вас и обнимаю.

Ваш искренний Т.Филиппов.

ПИСЬМА 1885—1886 гг.

Филиппов — Леонтьеву
СПб. 11 сентября 1885

Возлюбленный и вождеденный
Константин Николаевич!

Вчера был у меня Владимир Сергеевич¹⁴ и смутил меня, сообщив о Вашем подозрении. Помилуйте! Если в обыкновенное время мои чувства к Вам не возбуждали в

Вас никакого сомнения, то ныне кольми¹⁵! Неужели Вы думаете, что я не тронут посвящением Вашей замечательной книги моему имени? Тем более ценю эту высокую честь, что Вам не простят этого шага мои презренные, но сильные враги, коим дано «творити пакость три лета и пол»¹⁶.

Круг моих друзей редеет; некоторые из них уже приступили к предательским изворотам и проделкам, ища души моей. Такая ли это пора, чтобы удалиться от тех друзей, с коими меня неразрывно связует золотая цепь единомыслия в предметах священных, составляющих основу жизни временной и вечной?

Ввиду ополчения возмогающих лжебратий, нам, верным нашему Богу до смерти, нужно еще ближе жаться друг к другу и молить непрерывно Господа и Спаса, да оградит нашего чистого, благородного, народолюбивого Государя и наш благочестивый народ от новых сетей, расставляемых лицемерием, и не предаст в их ловитву Церковь Свою Святую, юже стяжа кровию Своею¹⁷. Времена чрезвычайно трудные для Православного Христианина и для верных слуг Государя и родной земли.

Кончаю за недосугом! Обнимаю и целую Вас.

Ваш искренний Т.Филиппов.

Леонтьев — Филиппову

1 октября 1885 г. Москва

Тертий Иванович!

Сегодня Покров. К обеду пойти не мог, потому что одна из чередующихся 4-х болезней моих усилилась и потребовала опять долгого заключения, но я сделал вот что: разделил акафист Божией Матери всех скорбящих пополам (из грешной лени), половину сейчас прочел, а

половину оставил, чтобы прочесть позднее, и сел Вам писать. Получивши Ваше письмо от 11 сентября, которое Вы почему-то называете «малодушным» по сообщению М. И. Бологовской¹⁸. Почему это я успокоился, что Вы на меня не гневаетесь, а благодарить и выразить мое удовольствие по этому поводу опоздал, просто потому, что обременен теперь литературным трудом, а сил телесных все меньше и меньше, и я вынужден соблюдать в занятиях строгую меру и несколько медлительную очередь. Простите поэтому мою невежливость.

Что касается до «подозрений» моих, то были «факты», которые заставляли меня задуматься. Говорить я о них в этом письме не буду, так как Вы подозрения эти Вашим дорогим и милым письмом рассеяли, но если Бог приведет свидеться, расскажу все.

Посылаю Вам письмо К. П. Победоносцева, присланное им еще из-за границы. Я знаю, оно Вас как доброго человека и христианина порадует хоть немного. Он лучше отнесся ко мне и моей книге, чем мы ожидали. Не знаю, что будет, когда я (к Новому Году) издам 2-й том (где будут все те статьи «Варшавского Дневника», которые, помните, заставляли его говорить при Вас у Мещерского в доме, что есть только в России два публициста: «Катков и я» и «что я будто бы беру дело глубже за корни, чем Катков»). Захочет ли он тогда сделать для меня то, о чем мы не раз с Вами говорили, но пока он, видимо, отнесся к делу добросовестно и посвящение мне простил, если не по движению своего сухого сердца, то по рассуждению все-таки серьезного ума. Не знаю, как Вы на это взглянете, а я предпочитаю предполагать хорошее в людях в случаях сомнительных.

<...> Победоносцев показал, по крайней мере, вид, что «посвящение» его не оскорбляет, а Катков — так тот, при своей гордости не скрыл от одного близкого ему че-

ловека, что ему «смысл этого посвящения кажется странным; отчего же не посвятить книгу человеку, которого он (т. е. я) уважает и любит, но зачем же говорить об умственном одиночестве, когда многие из этих статей были помещены у нас в «Русском Вестнике». Так он сказал своему близкому человеку, «близкий» мне это передал, а я говорю: «Разве можно сравнивать: тот в течение 10 лет лично заботился обо мне как друг, и в умственной сфере не только по церковному вопросу, но и по множеству других у нас почти полное единомыслие; этот допускал мои статьи с большим разбором и отвергал их нередко из-за второстепенных оттенков, а что касается до личных отношений, то этого и сравнивать нельзя, тот меня больного сколько раз не забывал посещать, несмотря на всю кратковременность пребывания в Москве, поддерживал меня добрыми письмами издали во дни жесточайших испытаний» и т. д. и т. д.

Впрочем, в этой маленькой «ревности» великого (конечно, он все-таки «великий» человек, хотя в церковном деле становится явно вредным) человека есть и хорошая сторона: значит, он моей книге придает серьезное значение. Тот «близкий ему» человек, о котором я только что говорил, надеется, впрочем, (особенно благодаря тому, что Катков болгарам теперь очень недоволен) «привести», как говорится, в «Московских] Ведом [остях]» очень тонкую статью «и нашим и вашим» — с целью рекламы для моей книги. <...> до сих пор все обстоятельства слагаются для моей книги довольно благоприятно. Либеральная «Русская Мысль» отозвалась о ней весьма уважительно, Гиляров-Платонов¹⁹, который меня 10 лет «игнорировал», напечатал теперь большую и очень лестную статью: «глубоко одно», «верно другое» и т. д., хотя и с весьма странными возражениями (напр[имер], что для настоящего православия нужно не то, что я зову

«Византизмом», избави Боже! а надо вернуться ко временам до Константина, что же это? Языческого императора нужно? Гонения? Политеиста-государя непременно. Мусульмане за веру собственно не гнали, они преследовали политические и даже просто гражданские поползновения христиан. Надо отвергнуть и Никейский Символ веры, ибо до Константина его не было и т. д. — чудно что-то?). А все-таки его статья доставила мне удовольствие. Подумаю еще, может быть, пошлю и Аксакову книгу с небольшим письмом, Вы как хотите, а я славянофилам много обязан и Вас очень уважаю. Так позвольте, мол, «отвергнуть» и т.п., и это будет совершенно искренно, я славянофилов старых люблю и уважаю, а они никак не могут понять, что мы из них вышли. Это для них неприятный сюрприз и наша последовательность их раздражает. <...>

Два слова о Петербурге. Вы пишете, что времена очень трудные. А когда эти времена были легки? Для кого-нибудь они всегда были трудны. При Николае I для одних, при Александре II — для других и т. д. Для вас, деятелей центральной политической машины, теперь, может быть, и очень трудно, а нам издали все очень нравится; я здесь каждый день слышу похвалы: направление общее правильно, чутье — верно. <...>

Письмо Победоносцева, пожалуйста, при случае возвратите.

Леонтьев — Филиппову

18 апреля 1886

Москва

А теперь (благодарю Бога!) я и противу Каткова считаю себя неправым и понимаю, что он не хочет для меня ничего сделать. Если бы я публично и приватно не-

годовал бы на него за Греко-Вселенскую патриархию и т. п. (как делаете это, например, Вы), то я не счел бы это грехом злопамятства и осуждения, а разве усомнился бы в том, что правы ли мы оба в нашем более или менее самоуверенном предрешении судеб Божиих, но у меня было не то; на вопрос церковный я смотрел покойнее, ибо думаю нередко: «Бог еще знает, кто из нас окажется правее...» Пусть Катковское преобладание государства и погубит православие Греко-Российское, но «врата адовы не одолеют церкви» и потому может превознестись на место недостойных все то же Православие, но какое-нибудь Индо-Китайское и т. д. Нет, я не за это весьма громогласно в Москве напал на Каткова, а за его личные качества и за его личные ко мне отношения!!! И вот я не так давно узнал из верных рук, что ему все это доложили (опять же люди, которым я лично не спускал при случае) и он прав, что не мироволит ко мне. Не мне, «богомольному» все-таки человеку, было так поступать во всеуслышание. Поступая так просто, роняешь даже тот священный принцип, которому хочешь служить: «Вот, мол, они, религиозные-то люди — все тоже! Не лучше нас!» И в наше время не на человека самого и не на дьявола сведут, а на религию, того и гляди! «Не сильна она, не порабощает их дотла».

Да, плохи мы грешные, плохи! И нужен и физический даже бич, чтобы нас заставить сделать еще хоть 2—3 шага на пути очищения и строгого покаяния!..

Катков для меня теперь противу меня прав, а знаете, кого я всей душой теперь ненавижу? Не угадаете. — Гете. Да, от него заразились и все наши поэты и мыслители, на чтении которых я имел горькое несчастье воспитаться и которые и в жизни меня столько руководили! «Рассудочный блуд, гордая потребность развития какой-то моей личности»... и т. д. Это ужасно! Нет, тут нет середины!

Направо или налево! Или христианство и страх Божий, или весь этот эстетический смрад блестящего порока!..

Поздно уразумех и смирихся...

Филиппов — Леонтьеву

СПб. 23 апреля 1886

Дорогой Константин Николаевич!

Благословенно смирение, основание и венец Христианских добродетелей! И благословен Бог, всеявший семя его в сердце Ваше и даровавший Вам зрети своя прегрешения и отстранять взор свой от «сучца иже во оце брата твоего»²⁰! Остальное, Бог даст, приложится во время свое!

Спешу Вас уведомить, что у меня есть намерение в двадцатых числах мая быть в Оптиной пустыне, куда я везу своего сына пажа; 23 мая у меня будет в Москве заседание, а 24 я могу выехать. И если буду иметь вагон, то упокою кости и утробу Вашу.

Между тем прошу Вас немедленно прислать мне подробное описание Ваших недугов, дабы я мог привезти с собою совет и наставление гомеопата и маттеиста: ибо Ваше телесное спасение только в них.

Относительно отпуска я похлопочу, чтобы он был несколько попродолжительнее; может быть, в этом буду иметь успех.

Приветствуя смирение Вашего сердца, я позволяю себе заметить, что в рассуждении о Каткове и его воззрениях на церковные вопросы Вы перешли черту, для человеческого смирения проведенную перстом Божиим. В личных злых чувствах к нему мы оба виноваты, как Христиане, наученные прощать и не умеющие исполнить повеление; но в том, кто прав по делу Церкви,

сомнения нет и не должно быть. Если бы и не сбылось Ваше гадательное предположение, что Бог вместо ныне сущих православных народов изберет иных (Он силен и от камене воздвигнуть чада Аврааму), то наше ли дело ускорять собственное изгнание из дому Божия? И разве призвание китайцев и японцев в лоно Церкви требует нашего из Нее отпадения? И разве можно служить Русскому государству, во имя коего Катков закаляет Церковь, ругаясь Церкви и попирая Ее? Что же станется с Русским государством, если оно пойдет по этому проклятому и погибельному пути? Если оно совлечется своего высшего и, можно сказать, божественного призвания, то какая польза ему, аще (не только Босфор и проливы, но и) мир весь приобращает? Русская земля, Русский народ, Русский Царь — врозь с Православною Церковью: что же это будет? Я говорю это лишь к примеру и нимало не боюсь (хоть и глубоко скорблю) за Церковь, Которой дано обетование неодолимой силы, способной противостоять не только Каткову (я разумею здесь Каткова собирательного, вообще все семя Феофане²¹), но и всему аду.

Этот образ мыслей и проистекшие из оногo дела наши навлекли на себя видимый гнев Божий и явное проклятие: плод сих мыслей и дел — современная Болгария, змий сей, егоже созда(ла) Россия ругатися ему. После таких указаний не опыта, но самого перста Божия, продолжать еще прежнюю осужденную последствиями политику — это сатанинская гордость, избегающая сознания своих грехов и заблуждений, и добровольное смежение очей пред солнечным лучом, озарившим истину! Этого Каткову прощать нельзя, ибо это не наше, а Божье, повелительно требующее от нас защиты. В остальном же мне нечего и прощать ему. Хотя есть признаки, что он ищет души моей, в чем помогают ему и мои друзья; но если Господь покроет меня, то наступлю на аспида и

василиска и поперу льва и змия²². Если же Бог отнимет руку Свою, то и без дружеских сетей могу запутаться и «звероуловлен быти»²³.

Прочее да гоним, брате, искреннее незлобие к ненавидящим нас, ярость же души нашей да обратим на врагов Церкви, отечества и Государя, да исполнится на нас оное: гневайтесь и не согрешайте.

Жена моя сердечно Вас приветствует. Мы все находимся под впечатлением великого в правительственной области события, назначения Вышнеградского²⁴, радостного особенно потому, что избрание Государя пало на него, как можно думать, без всякого стороннего внушения. Теперь возможно спасение наших финансов и вообще нашего экономического положения. Боже! что значит истинный талант!

Обнимаю Вас.

Ваш искренний Т.Филиппов.

ПЕРЕПИСКА АВГУСТА — ОКТЯБРЯ 1887 ГОДА

Филиппов — Леонтьеву

10 августа 1887

Дорогой Константин Николаевич!

Прочтите мой некролог и скажите мне Ваше мнение. Если я упомянул о скитаниях мысли и о преувеличениях, то без этих указаний мое «поминанье» обратилось бы в то мычанье и бляенье, коим проводила Каткова в могилу большая часть его почитателей. Мое поминанье было первым членораздельным человеческим и высоко похвальным словом.

Об искуплении эпизодов предсмертными муками я упомянул потому, что один из всех писавших о Каткове не мог забыть тех резких оскорблений Власти, которые позволил себе покойный на глазах у всего мира и которые великодушно были ему прощены оскорбленной Властью, единою имевшею на это право. Мы же не должны забывать, что существует нечто более важное и дорогое, чем даровитый журналист.

Анархические выходки Каткова покрыты его заслугами, но умолчать о них было бы предательством по отношению к Государю. Пишу к Вам больной, только что, воротившись из Ржева: очень устал и бросаю перо! Прочтите мои слова брату Ерасту²⁵, а если старцам не будет скучно, то и им.

Обнимаю Вас.

Ваш искренний Т.Филиппов.

Леонтьев — Филиппову

24 августа 1887 г.

Оптина Пустынь

Статью Вашу о Каткове, Тертый Иванович, прочел не раз; сам для себя два раза, Эраста Кузьмича чтение прослушал, отцу Анатолию (скитона начальнику) прочел, от[цу] Амвросию поручил прочесть одной из его ближайших учениц (чтобы меня самого принять для долгой беседы, это целая процедура, но эти дамы по целым часам сидят в хибарке, которая выходит в лес, и ждут терпеливо, пока старец удосужится). Не знаю еще, прочла ли она ему; проезд это лето огромный, и от. Амвросий особенно постом решительно изнемогал. Мое мнение вот какое: разумеется, «Московские] Ведом [ости]» ни к селу ни к городу так раздражились и приплели тут и Фило-

фея; статья очень похвальная (и Эраст Кузьмич прав, говоря: «Что же они хотят, чтобы на Каткова как на святого смотрели!»), все нужное сказано. Но так как Вы, конечно, желаете, чтобы [я] высказался вполне, то прибавлю, что от намека на оскорбление высшей власти я бы на первый случай воздержался бы. Выгоднее было бы для дела позднее это сказать при случае, и притом заручившись возможностью хоть сколько-нибудь яснее выразиться, чтобы не подавать им повода придирааться к тому, что это темная инсинуация и т.п. Вот и все.

От[ец] Анатолий восхитился Вашим слогом, и так как он ужасно увлекающийся и горячий (в вопросах мирских) и прямой человек, то сейчас же и воскликнул: «Во как! Я думал, Филиппов человек очень ученый и государственный, но я не знал, что он такой хороший писатель!» Прибавил только то же, что и я Вам, еще не читавши статьи, писал: «Немного рано!».

Теперь о деле Филофея²⁶. Присылайте материал; постараюсь хоть чем-нибудь да пригодиться Вам. Не требуйте только решения, пока с материалом не ознакомлюсь: здесь вопросы духовные со всех сторон. Полагаю, что надо разрешить мне, как человеку постороннему и дела лично вовсе не знающему (я и с Вами ведь ни разу не успел об нем говорить), разрешить указать, откуда и какие материалы. Как Вы об этом скажете? Для меня такого рода апология с материалами, да еще касающаяся религиозных тонкостей (присяга, архиерей и т. д.), во все дело новое. Эраст Кузьмич объяснил мне кой-что в Вашу пользу — основная и очень ясная его мысль та, что так как Вы-то сами дело это и подняли против Билах, то Вам-то и нельзя было уклониться от роли свидетеля (как бы хотелось Вашим возражателям, видимо подозревающим у Вас какую-то личную вражду к пр[еосвященному] Филофею). Я думаю, что этой основной мысли достаточ-

но для моей удачной аполонии. Итак, об этом все. Если только сумею справиться, то я буду очень рад, что удовольствие Вас защитить послужит поводом или возбуждением к литературному труду. Я рад внешним толчкам. Вот нужно будет скоро начать также описание замечательной новой женской общины в Шамардине (в 15 верстах отсюда). Настоятельница — удивительная женщина, и они с от[цом] Амвросием вдвоем и оба больные создали эту общину из ничего в три года. Почему я рад этим внешним толчкам и почему внутренних движений мало, я думаю, не надо уже объяснять. Вам известен мой печальный «детерминизм». Хотя я и забыл почти французский язык и делаю на нем отвратительные ошибки, но есть у них тоже превосходные и незаменимые оттенки. Напр [имер] — *unc resignation melancolique*²⁷. Вот мое давнее (с 80 года) состояние, которое, конечно, еще более подновилося, когда я увидел, что «гора» нового «Гражданина», по крайней мере по отношению ко мне, родила если не «мышь» (12 к[оп.] с [ср.] за строку хорошая цена), то во всяком случае, не то восьмитысячное чудовище, на котором я на минуту возмечтал триумфально доехать до близкой могилы. Нет, видно выгоднее быть Воскобойниковым или Петровским²⁸ у Каткова, чем Леонтьевым у кого бы то ни было! <...>

Филиппов — Леонтьеву
СПб. 3 октября 1887

Дорогой Константин Николаевич!

Ослабленная колена исправите²⁹! Пишите поскорее что-нибудь для «Гражданина», достойное Вашего имени и тех начал, которым мы служим, несмотря на бурю противных ветров. Не запинаясь о недостатки издателя,

который достиг-таки нами искомой цели и потому имел право на нашу дружную поддержку. Первые шаги слишком важны, чтобы оставить его без Вашей помощи.

Моему прямому участию воздвигают неожиданные преграды, которые, впрочем, разорятся «невдолге», как писывал Писемский. Я только что воротился из занимательной и поучительной поездки в Царство Польское и С[еверо]-З[ападный] край. Был на празднике 8 сентября в Холме. Возвратился с грузом самых отрадных воспоминаний, из коих иные очень льстят моему самолюбию. Так, например, на обеде, который дан был в мою честь профессорами Варшавского Университета, ко мне обращено было два приветствия: одно от Ректора Лаврова, другое от Будиловича³⁰. Оба меня тронули, но последнее было мне особенно дорого тем, что содержало в себе признание моих воззрений на греко-болгарскую распрю. События учат разуму и односторонних, но умных, конечно, славянолюбцев; Ореста Миллера, как горбатого, одна могила исправит.

Спросите у старцев, не усматривают ли они в моем путешествии, помешавшем мне изложить Вам мое судебное показание о Митроп[олите] Филофее, препятствия промыслительного. Когда я свидетельствовал пред судом о его участии в деле Мазуриной, я исполнял свой прямой и ясный как день долг. Оглашение этого участия было сопряжено с сильными душевными страданиями, но когда пришлось избирать между Преосв[ященным] Филофеем и Богом, тогда колебание было бы преступлением. Когда по возвращении из суда после полуночи я рассказывал в своем семействе подробности моего показания в присутствии моего одиннадцатилетнего сына, он вскрикнул: «Боже мой! как это серьезно». Тогда я привлек его к себе и сказал: «Сегодняшним примером, который оставляю тебе в наследство, убеждаю тебя: всякий раз, когда твоя

совесть очутится в противоречии с сердцем, предпочти внушения совести движениям сердца. Пусть разобьется сердце, лишь бы осталась целою совесть».

Теперь безымянная сволочь, с благословения, впрочем, Вашего тезки, вновь протащила пред очами всей России грех иерарха, испытавшего падение в данном случае, но всю жизнь проведенного в молитвенном и постническом подвиге и, без всякого сомнения, помилованного и прощенного Судиею, не на лица зрящим и коснувшимся его в здешней жизни ради очищения и, может быть, примера.

Следует ли нам еще третицею вызывать из гроба страдальческий лик почившего иерарха, когда к тому нет повелительного побуждения, более уже для меня, а не ради восстановления его имени и чести! Иное дело, если бы могли его совершенно обелить; тогда нечего было бы и раздумывать. Не говорю об этих проклятых 30 т[ысячах], которые у него провалялись даром и прием коих я вовсе не осуждаю (взяв их как дар искреннего усердия, без прозрения истинной цели приношения, он еще не делал ничего дурного), но несомненно то, что на его глазах была заточена и доведена до слабоумия благодетельница его епархии, из сумм которой он получил и тот запнувший его впоследствии дар, и он не позаботился вспомнить о ней, как будто пропала какая-нибудь иголка, а не живое существо, вверенное его особому попечению. И когда посторонние люди, движимые состраданием, презирая трудности и опасности, освободили страдальцу из заточения и наложили руку на преступницу, он не устремился на помощь жертве, но отстаивал хищную злодейку. И так снять с памяти почившего Владыки всего пятна нельзя. Что же при этом означало бы мое заявление, что я, несмотря ни на что, сохраняю уважение и любовь к памяти Преосв[ященного] Филофея! Мне бы

могли сказать: «Уважай и люби, если тебе это приятно, но не мешай нам делать свои заключения».

Стало быть, весь смысл Вашей статьи сводился бы к защите меня, как Вы и поняли. На это я согласиться никак не могу. Мое поведение в деле Мазуриной защитой можно только унижить, а подробное раскрытие моих (пропущено одно слово. — *Ред.*) привело бы меня в смущение. Расторгая узы заточницы, я не искал и не имел в виду ничьих рукоплесканий. Если Вы найдете несогласие между настоящим моим письмом и тем, которое я послал Вам до моей поездки, то помирите мое разноречие изречением: последние помыслы паче первых».

Остается еще один вопрос: оберегая себя от похвал и сопряженных с ними ощущений, не лишаю ли я себя случая исполнить желание моего духовного отца, который находил полезным мое всенародное заявление о моем уважении к памяти Преосв[ященного] Филофея. О сем да благоволят рассудить живущие в благословенной Оптиной Пустыни и внимающие себе старцы: Вы же их мнение сообщите мне, дабы я мог поделиться им с моим духовным отцом. Целую и обнимаю Вас. Хорошо, если бы это письмо Вы на всякий случай сберегли. Брат Ераст не спишет ли его для меня?

ПИСЬМА 1891 ГОДА.
ПОСЛЕ СТАТЬИ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
«НАД МОГИЛОЙ ПАЗУХИНА»

Филиппов — Леонтьеву
СПб. 8 марта 1891

Дорогой Константин Николаевич!

На благую минуту душа Ваша зачала и породила нынешнюю статью «Записки отшельника». Сейчас писал я И. Н. Дурново, что она достойна внимания Государя по глубине и самобытности мысли и по своему государственному значению. Не один же я испытал радость и получил пользу от Вашей статьи! Что же Вы скучаете! Прочел я се жене и дочери Корибутовой, и они были поражены ее правдой и смелостью Ваших суждений. Сыну прочту особо (он готовится к репетиции), и он поймет ее и оценит во всю меру ее достоинства. Нельзя же ждать Вам такого успеха, какого достигает «Новое Время», «что с камнем и древом блудило», или достигал Катков, «великий купец» и существенный искажитель истинного образа наших охранительных начал. Лучше малое праведнику паче богатства грешных многа: не о личной Вашей праведности говорю я, а о правде Ваших мыслей. И так пишите еще и еще, хоть изредка, это нужды нет; повторением слишком частым можно набить оскоми-ну. Изредка же такая истинно свободная, безбоязненная речь производит впечатление ободряющее, праздничное, как «упования исполнена». Упования не суетного, не человеческого, почивающего на произвольном обоготворении народного характера, а истинно Христианского, церковного. Я едва ли могу уступить кому бы то ни было (древним ли славянофилам, Достоевскому ли) в любви и уважении к русскому народу; но те черты, которые я чту в нем благоговейно, воспитаны и утверждены в нем Церковью, Которой и подобает то поклонение, которое мимо ее вздумали воздавать самому народу и ему одному. Это своего рода передержка.

Теперь о Церкви. Может быть, после того, что Вы сказали о смертной опасности от смешения сословий, Вам следовало бы сказать и о необходимости — еще более настоятельной — восстановлении Церкви хотя бы

и не во всем подобающем Ей велелепии (что по нашим временам невозможно), а, по крайней мере, в известной степени, хотя бы только почина в этом стремлении со стороны Верховной Власти, Которой Церковь нужнее воздуха.

Целую и обнимаю Вас. Мои Вам кланяются и Вас приветствуют. Старцам земное поклонение. О[тцу] Ерасту братское целование. Сегодня сподобился общения с Господом Иисусом.

Ваш Т.Филиппов.

Леонтьев — Филиппову

29 марта 1891 г.

Опт[ина] Пустынь

Вы, конечно, очень обрадовали меня Вашим письмом, Третий Иванович. Года, должно быть, полтора тому назад я получил от Фета-Шеншина восторженное письмо по поводу моей брошюры «Национальная политика». Он приравнивал ее (по размеру задачи) к Эйфелевой башне и прибавил следующие слова: «Так как Вы, вероятно, пишете не для нас, дураков (т. е. публики русской), а для людей власть имеющих, то сообщаю Вам то-то и то-то...» Это «то-то» значит, что покойный Новосильцев (неизвестный мне лично), придворный чин и сосед Фету по имению, поверг эту книжку мою на благоусмотрение Государя: «чтобы он мог на досуге во время путешествия прочесть ее».

По правде сказать, хоть мне и понравилась резкая выходка Фета («не для нас дураков»), но писал я и пишу обыкновенно вовсе не мечтая, как он думает, о влиянии на сильных мира сего. Я пишу (как я и не раз Вам, кажется, признавался) чаще всего с какой-нибудь нравственно-

практической целью, или даже просто хозяйственной. Погашение процентов внести в срок в анафемский Калужский банк, с которым связала меня судьба 17 лет тому назад, лошадь купить, чтобы летом по окрестностям кататься (так как ходить далеко я уже не в силах); к Рождеству и Пасхе близких утешить, бедным кой-каким помочь; племянницу в Орловском монастыре содержать, старый-престарый долг сюрпризом заплатить уже забывшему его доброму кредитору и т.п. Вот для чего я пишу или, точнее сказать, — печатаю. (Писать можно бы с истинным и несравненно большим удовольствием посмертные записки свои.) Но мыслей своих («вздорных парадоксов») у меня много: не знаю иногда, куда их деть; вот сижу иногда и думаю: «Для того-то нужно 50 р., для того-то — 25... и т. д. О чем бы теперь написать?»

Решу, под каким-нибудь впечатлением, о том-то и пишу. И что же мне делать, если редакторы, издатели, критики и т.п. люди, от которых, как там ни толкуй, наше имя больше всего зависит, — отучили меня смотреть на мою деятельность как на нечто серьезное по весу и влиянию. Мне все кажется, что те именно, которые могут горячо сочувствовать духу моих писаний, сами и без меня все это теперь понимают. А иные даже и давным-давно понимали, напр[имер] хоть бы Вы. Возьмем еще для примера тех же покойных гр[афа] Д. Л.Толстого и Пазухина³¹. Разве они знали мои сочинения? Толстой, как мне наверно известно, главным образом положился (когда взялся так твердо за дело моей пенсии) на слова князя К. Д. Гагарина, а Пазухин тоже в первый раз в глаза мои книги увидал в 87-м году, когда я же ему их дал, после знакомства нашего у того же Гагарина. Однако они и без моего влияния начали делать именно то дело, о котором я едва мечтать смел. Вижу, что пока Россия идет (почти) во всем превосходно и радуюсь самой живой граждан-

ской радостью. Но идет она так благодаря исторической судьбе своей и другим людям, а никак не благодаря мне. Что толку, что многие стали теперь называть меня «пророком» (между прочим, даже и здешний очень бойкий становой). Влад[имир] Андреевич Грингмут, один из близких Каткову людей, заведующий ныне отделом иностранной политики в «Московских Вед[омостях]», несколько лет тому назад напечатал в ежедневном «Гражданине» статью обо мне (тайком от Каткова, ибо боялся его гнева за то, что Грингмут находил меня в ней правее его по греко-болгарским делам); (Вы, вероятно, помните эту статью: «По поводу одной ошибки Тургенева», еще Вы сами отозвались на нее в Вашей обо мне заметке в «Дневнике» «Гражданина»). Грингмут там выразился так: «Вообще промежуток времени, когда новая (или великая, не помню: есть у меня эта статья его, да далеко искать... некогда, пишу на память) мысль перестает казаться парадоксом и не стала еще общим местом, — невелик, но Леонтьев даже и этим промежутком не наслаждался. Когда он 15—10 лет тому назад писал против болгар, никто не хотел его слушать, а теперь (в 86) все до того согласны с его мнениями, что находят — не стоит об этом толковать... «Верно!» Баттенберги, Каравеловы, Кобургские, Стамбуловы³² — повлияли на перемену взглядов в России, а не я; может быть, Вы еще могли иметь по этой части прямое влияние в Петербурге, потому именно, что Вы живете в Петербурге и давно на виду... А я? Вот я вам что, Т.И., скажу... Вы советуете мне написать об освобождении церкви. Давно мечтаю об этом. Мечтаю еще написать и другое: «Союз Восточный и Союз Славянский» (антитеза: первый — величие и крепость, второй — гибель; первый — естественное своеобразие, второй — подражание Италии и Германии; первый — новый период созидания, второй — обыкновенная либеральная

революция). Членами Союза Восточного под рукой России должны состоять: 4 православные королевства: Греция, Румыния, Пансербия, Болгария; 2 мусульманских: Персия и Турция (состоящая из остатков Азиатской Турции, Сирии, Палестины, Аравии и Египта с изгнанием англичан и международной нейтрализацией Суэцкого канала). Царьград с надлежащим округом — Русское наместничество (Византийское); Соборная централизация Восточных церквей; в этом союзе — единоверные (все 4) государства конституционные и эгалитарные (иначе они не «понесут», им без этой возни скучно будет, а это опаснее всего), а 2 иноверных — самодержавные и по-своему, так сказать — церковные. Я думаю, Вам теперь и из этого грубого абриса видно то равновесие влияний взаимных (и враждебных, и дружественных — все равно), которое я имею в виду. Разумеется, что это возможно только после счастливой и кровопролитной войны, которой, конечно, не миновать — рано или поздно.

Предполагаю, что противниками нашими будут: Австрия, Германия, Италия, Турция и Англия, союзниками: Франция, Сербия, Черногория и, может быть, Греция (если ей обещать все острова, много в Македонии и т. д. кроме Царьграда, а то и обмануть один раз — не грех «во славу Божию»).

При таком сочетании сил — я в победе нашей уверен по многим (историческим более чем цифровым сообщениям) причинам, о которых здесь умолчу.

Францию можно вознаградить и Тунисом с Триполи и Бельгией и, пожалуй, и в Италии чем-нибудь (ей же будет хуже — не переварить), Австрию изгнать из Боснии и Герцеговины и раз навсегда обратить ее очи с юга на север, чтобы сохраненные Габсбурги стали бы для нас орудием против смирившихся Гогенцоллернов. Это естественно и согласно с преданиями, а чехи, хорваты и даже

несносные либеральные хамы галицийские хохлы — как знают... На взгляды А.А.Киреевых, Шараповых и т. д. смотреть Государю незачем.

Вот что нужно! Это призвание. А такая конфедерация, в которую войдут миллионами либеральные, конституционные и католические — мадьяры, хорваты, чехи, поляки и т. д... — это революция. Это гибель России! В чем будет тут духовное единство? Где архитектоническое, архистатическое равновесие реально-политических сил? Не в однородности же Славянских языков искать истинного единства? Не в численном же перевесе Славянского племени видеть силу и спасение? Еще Василий Великий по поводу неудачного соединения двух каких-то провинций в Империи говорил: «Не в количестве (жителей) надо искать основания, а в самой сущности вещей».

Вся эта масса либеральных людей в Союзе Западном, как католиков, так и православных (только по имени большею частью), соединится в усилиях с нашими внутренними либералами, с жидами, с нигилистами, чтобы подкопаться и под Церковь, и под Самодержавие. В союзе же Восточном — с одной стороны (с европейской) будет единство Веры с различием в политическом строе (4 конституции), с другой — Единство монархических принципов при различии Веры. Католиков и либералов будет гораздо меньше, и они будут подавлены.

Вот мой взгляд, долгими годами выношенный. Печатать этого не следует. Но можно подать через Вас секретную записку Государю. Или даже, чтобы писать еще вольнее — обратиться прямо к Вам в форме большого и подробного письма (тут есть и переписчик великолепный!), а Вы письмо это и поднесете Государю... Через Министра Иностранных Дел — избави Боже! И Гирс, и Шишкин³³ (я думаю) слишком мелки для такого взгляда

да. А Капнист³⁴ — это кукла, не глупая, но и не умная, строго говоря. Они только повредить делу могут. Вы меня спросите: «Почему я не возьмусь за это». Не могу, не могу, без сильного внешнего толчка. Или война, или откуда-нибудь с неба 3000 на уплату долгов, чтобы упали, потому что именно с тех пор как я стал для своих главных нужд обеспеченнее, голос совести моей стал несравненно строже относительно старых долгов, и я его заглушить не в силах. Я с тех пор как живу в Оптиной, уплатил уже около 3000 (считая, конечно, и %, и погашение в банк; это уж не совесть, а неизбежность). И вот как только задумаю или такие «мемуары» Государю подавать, или продолжать один из трех начатых (в разное время) и брошенных романов в Православном духе, так сейчас и скажу себе: «Ну, без моих проектов Россия обойдется, как обходилась до сих пор, а чтобы роман продолжать, мне нужно года два подряд статьи мелкие бросить». И то и другое гадательно, а деньги за статью Мещерскому, Бергу или Цертелеву верны со всеми своими добрыми плодами.

Вот в чем препятствие: во мне самом... В настроении, которого я победить не могу, да и не очень желаю.

А не то, чтобы я, собственно, «скучал», как Вы предполагаете.

Все это, разумеется, не мешает мне Ваше сочувствие по-прежнему горячо ценить и тому радоваться, что Государь обратит на статью внимание.

Те «христиане» наши, которые «на сахарной воде» и думают, что «любовь» состоит в давании всем воли, очень бы удивились, а может быть, и вознегодовали бы, если бы узнали, что отец Амвросий, который по слабости и множеству забот почти ничего уже не читает, эту статью мою два раза прочел и, видимо, очень доволен моей «строгостью». И когда один живущий здесь верующий

юноша (из новых, экс-нигилист по взглядам) сказал ему: вот в «Свете» Комарова издеваются за это над К.Н., —то отец Амвросий очень горячо ответил: «Важность не в «Свете» каком-нибудь, а в Государе и в людях, подобных Филиппову». Истинно духовные люди вовсе не так сентиментальны и за мужика ничуть «Богу не молятся!»

От племянницы отца Эраста получил письмо, из которого с радостью узнал, что Вы обещали подумать о ней. Она, конечно, беспокоится, но я написал ей, что аккуратнее Вас и памятьнее на добро едва ли найдется человек в России (никогда не догадался я спросить: мать Ваша не была ли немка! А ргіогі — думаю, что немка: Вы с точки зрения культурной в высшей степени русский, но в темпераменте Вашем совсем не видно тех несносных русских недостатков, которые бесят на каждом шагу и во всех слоях и которые хороши разве только тем, что делают народ и общество наше непригодными для свободы и равенства!).

Пишу и кончаю еще две статьи для «Гражданина».

Марье Ивановне прошу передать мое глубокое уважение. Я с удовольствием прочел в книге Колышко³⁵ об ее цветах на Парижской выставке. И это навело меня на мысль послать ей на Пасху дюжины две яиц моей краски, которая тоже славится и годилась бы на выставку.

Есть малахитовые, есть китайского фарфора, яшмовые и т. д. Доедут сохранно, но к первому дню едва ли поспеют, потому что неудобно красить их слишком заблаговременно, — портятся и нельзя их долго в корзинке держать, потому и сквозь скорлупу проходит тяжелый запах. А здешние дамы, как монахини, так и помещицы, подолгу их в корзинах с мохом держат и всем показывают. Мне бы желалось, чтобы и Мария Ивановна удостоила бы их точно такой же чести. Тщеславие и гордость моя гораздо живее этим затрагивается, чем статьями. Статья-

ми другие приобрели больше моего и денег, и влияния, и славы. Ну, а уж яйца красить, как я, не умели ни Катков, ни Аксаков, ни Достоевский, ни Салтыков!...

Ваш неизменный К. Леонтьев.

P.S. Князь-то как горячо заступился за меня против скоморохов «Нов[ого] Вр[емени]». Меня это очень тронуло. Вл. Соловьев собирается печатать (кажется, в «Русск[ой] Мысли») статью «Идейный Консерватизм», где главная речь будет обо мне. Но как, не знаю... Кажется, и так, и этак! Посмотрим!

NB. Я старался, сколько мог, чтобы почерк был по-лучше. Писал медленно, лучше не мог.

КОММЕНТАРИИ

При жизни Тертия Ивановича его произведения выходили отдельными статьями в различных журналах, а также в виде брошюр. Кроме того, издавались сборники статей Т. И. Филиппова, посвященные отдельным вопросам. В 1882 году вышел сборник «Современные церковные вопросы», посвященный проблемам Греко-болгарского церковного конфликта и положению русского старообрядчества. Наконец, в 1896 году основные статьи Филиппова, опубликованные им на протяжении трех десятилетий, были помещены в книге с намеренно нейтральным названием: «Сборник Тертия Филиппова».

В XX столетии произведения Т. И. Филиппова не издавались. Вышла лишь его переписка с К. Н. Леонтьевым. В предлагаемом читателю сборнике представлены основные статьи Филиппова, не публиковавшиеся более столетия.

Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствии с современными нормами.

О началах русского воспитания

Первоначально напечатано в книге «О состоянии 1-ой Московской гимназии и речи, произнесенные в торжественном собрании 1854 года 3-го октября» (Москва, в университетской типографии, 1854); Отдельным изданием статья была периздана в 1890 году. Данный текст печатается по: Сборник Тертия Филиппова. СПб., 1896. С. 1—13.

Речь 28-летнего учителя гимназии «О началах русского воспитания» стала его дебютом в публицистике. В ней отражен фундамент того мировоззрения, которому Филиппов и его единомышленники были верны всю жизнь и всегда руководствовались во всех делах.

¹ Протоиерей Кочетов.

² Творение Григория Богослова.

Записка о народных училищах

Первоначально была напечатана отдельной книжкой под этим заглавием, без имени автора (СПб., Синодальная типография, 1882). Текст с незначительными сокращениями печатается по: Сборник Третья Филиппова. С. 128—165.

В своей «Записке о народных училищах» автор весьма смело раскритиковал позицию западных либералов из министерства народного просвещения. Филиппов справедливо обращал внимание на антинациональные и антихристианские проекты развития в России школ для народа, согласно которым фактически устранялось всякое влияние духовенства на учебный процесс, а сама школа становилась рассадником нигилистического яда.

¹ По проекту устава общеобразовательных учебных заведений министерства народного просвещения, законоучителю дается только три часа в неделю для преподавания его предмета в самом кратком виде.

² По этой цене (*фр.*)

³ Гизо Франсуа (1787—1874 гг) – французский историк и политический деятель, в 30—40-х гг. XIX века фактически определявший политику Франции.

⁴ Дух Бесед. 1861.

⁵ Гиляров: О первоначальном обучении народа: Твор. Св. От. 1862, кн. 2.

⁶ De l'éducation par M. Dupanloup.

⁷ Mémoires, t. III, p. 84.

⁸ По праву первого, занявшего ничейную территорию (лат.).

Не так живи, как хочется...

Народная драма в трех действиях. Соч. А. Н. Островского. Москва. 1855.

Первоначально — в «Русской Беседе», 1856, 1, С. 70—100. Текст печатается по: Сборник Третья Филиппова. С. 14—42.

Эта рецензия на пьесу А. Н. Островского дала возможность Филиппову высказать свое мнение о состоянии мировой и русской культуры, а также нелицеприятно, на правах старого друга и единомышленника, высказать суждение о творчестве самого Островского. Статью Филиппова можно рассматривать как образец славянофильской критики и эстетики.

Несколько слов о несторианах

Впервые опубликовано: «Русский Вестник», 1862, август. С. 798—820.

Текст печатается по: Сборник Третья Филиппова. С. 105—127.

Статья посвящена сохранившимся на территории современного Ирака христианам — несторианам, представителям одной из дохалкидонских восточных церквей. Филиппов не только одним из первых ознакомил русскую публику с самим фактом существования несториан, но и высказал ряд суждений о проблемах русской Церкви.

¹ Так называется западное побережье Индостана.

² Так ранее называли территорию современного Йемена.

³ В противоположность несторианам, монофизиты признают во Христе не только единое лицо, но и одну природу.

⁴ Так назывался до 1918 года г. Ереван.

⁵ В оригинале фраза приведена Т. И. Филипповым по-гречески.

Приветственное слово Сербскому митрополиту Михаилу, произнесенное в заседании Славянского комитета 26 октября 1869 года

Первоначально вышло отдельной брошюрой в 1869 году. Далее было издано в книге Т. И. Филиппова «Современные церковные вопросы». СПб., 1882. С. 1—5. Текст печ. по: Сборник Тертия Филиппова. С. 166—170.

¹Кир (*греч*) – букв. «господин», принятое в Греции и на Балканах обращение к священнослужителю.

²А. В. Горского.

Краткое сказание о житии Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских

Читано на заседании Славянского Благотворительного Общества 14 февраля 1870 года и первоначально напечатано в книге: «Первые 15 лет существования С. – Петербургского Славянского Благотворительного Общества» (СПб., 1883. С. 47—49). Текст печатается по: Сборник Тертия Филиппова. С. 171—173.

Филиппов был активным сторонником введения в гимназический курс церковнославянского языка, без которого, по его справедливому мнению, труднее будет развиваться национальное русское мировоззрение. В своем «Кратком сказании о житии Кирилла и Мефодия» он изложил духовно-нравственный подвиг Солунских братьев.

Решение греко-болгарского вопроса

Читано в заседании С-Петербургского отдела Славянского благотворительного комитета 5 мая 1870 года. Текст печатается по: Современные церковные вопросы. С. 135—180.

В статье «Решение греко-болгарского вопроса», написанной в разгар церковно-политического конфликта, вызванного созданием отдельной автокефальной болгарской церкви, Филиппов не только высказал свое суждение о состоянии православия на Балканах, но и предложил созвать впервые после 787 года (!) церковный Собор, который должен был разрешить конфликты, порожденные вмешательством политических страстей в церковную жизнь. Эта статья сделала Филиппова знаменитым во всем христианском мире, но одновременно с этим сам Третий Иванович вызывал яростную неприязнь всех многочисленных антиправославных сил в России и за ее пределами. Заметим, что сама по себе идея созыва Собора и в дальнейшем периодически высказывалась православной общественностью России и единоверных ей стран. Хотя сама греко-болгарская распря стала давно достоянием истории и отношения между Константинопольской патриархией и болгарской церковью вполне братские, но многие вопросы церковной жизни, высказанные Филипповым в этой статье, еще не потеряли актуальность.

¹ «Московские Ведомости», № 78.

² См. Кн. Прав. СПб., 1839. С. 36

³ Там же.

⁴ Там же. С. 44.

⁵ Там же. С. 68.

⁶ Допол. к акт. Ист., т.2, № 76. С. 120.

⁷ Собр. Прав., Изд. Ралли и Потли, т. 5. С. 152.

⁸ Там же. С. 153.

⁹ См. Царские и патриаршие грамоты на греческом и русском языках, или Ралли и Потли, т. 5. С. 160—163.

¹⁰ См. Ралли и Потли, т.5. С. 177—185.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Речь идет о византийских императорах Романе Лакапине (920—945 гг.) и Иоанне Цимисхии (969—976 гг.).

¹⁴ Времен. 1855, кн. 21.

¹⁵ По вопросу о болгарском патриаршестве. Берлин, 1869.

¹⁶ При прочих равных условиях (*лат.*).

¹⁷ Вдвойне дает тот, кто дает скоро (*лат.*).

Письмо к Ивану Федоровичу Нильскому

Первоначально издано в «Беседе», 1871, январь. Текст печатается по книге Т. И. Филиппова «Современные церковные вопросы». С. 235—270.

Публичные прения с исследователем русского старообрядчества профессором Иваном Федоровичем Нильским, проходившие в обществе любителей духовного просвещения, а также на страницах печати, в свое время стали одним из важнейших событий русской научной мысли. Рассмотрение частного вопроса о браке у радикальных раскольников «беспоповского» толка (то есть отрицающих существование иерархии) дало Филиппову возможность ознакомить русскую «образованную» публику с существованием особого мира русского Раскола, сохранившего в первоизданном виде многие черты жизни и быта Допетровской Руси.

¹ Коялович Михаил Осипович (1828—1891) – историк и публицист славянофильского направления, специалист в истории православия в западных русских землях прежнего Великого княжества Литовского.

² Речь идет о создании в 1846 году старообрядческой Белокриницкой иерархии, которую возглавил Амвросий (1791—1863 гг), митрополит Боснийский, изгнанный турками. Пристрастные суждения Т. И. Филиппова о рождении старообрядческой церковной иерархии вызваны тем, что при ее создании власти Австрийской империи, в чьих владениях находилось буковинское село Белая Криница, стремились спровоцировать дальнейший религиозный раскол в России. Но белокриничане остались полностью русскими по духу и по политической ориентации людьми.

³ Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке (вып. I и II) экстраординарного профессора С.-Петербургской Духовной Академии И. Нильского. Спб., 1869. Вып. 1. С. 123.

⁴ Там же. Вып. 1, С. 127.

⁵ Там же. С. 127—128.

⁶ Там же. С. 129.

⁷ Вып. 2. С. 80.

⁸ Вып. 1. С. 121—122.

⁹ Вып. 1. С. 259—260.

¹⁰ Константин Арменопул, севаст (правитель) г. Фессалоники, византийский юрист XIV века, составил корпус гражданского и церковного права. Гражданское право он отразил в своем «Шестикнижии» («Гексабиблосе»), а также в «Учебнике права», составленных в 1345 году. В качестве свода права труд Константина Арменопула был принят в нескольких славянских странах, а в Греции оставался действующим до XX века.

¹¹ Матвей Властарь (умер в 1360 году) — византийский канонист, монах из г. Фессалоники, автор «Синтагмы», наиболее полного свода канонического права Православной Церкви, впервые появившегося в 1335 году.

¹² Феодор Вальсамон (1140—1195 гг.) византийский канонист. Автор толкования на номоканон Фотия, вошедшего в состав «Пидалиона» — греческой Кормчей — и ставшего одним из важнейших документов канонического права Православной Церкви.

¹³ Феофан Прокопович (1681—1736 гг.) — церковный и государственный деятель, сподвижник Петра Великого, организатор гонений на старообрядцев.

¹⁴ У подножия стены (*фр.*).

¹⁵ Речь идет о богослужебных книгах, изданных при патриархе Иосифе (1642—1652 гг.), изменение которых при Никоне и привело к расколу.

¹⁶ Пенязь — мелкая монета.

¹⁷ Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке (вып. I и II) экстраординарного профессора С.-Петербургской Духовной Академии И. Нильского. Вып. 2. С. 75.

¹⁸ Там же. Вып. 1. С. 144.

¹⁹ Каждому свое (*лат.*).

²⁰ Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке (вып. I и II) экстраординарного профессора С.-Петербургской Духовной Академии И. Нильского. Вып. 2. С. 33.

Признательное приветствие единоверцев Вселенскому патриарху Иоакиму III

Приветствие написано по поводу учреждения в Кизической митрополии, в селении Майнос, единоверческого прихода. Напомним, что в этом селении жили «некрасовцы» — потомки донских казаков, участников Булавинского восстания, ушедшие в турецкие пределы после его поражения в 1707—1709 гг. Сами некрасовцы были старообрядцами — поповцами (имевшими свою церковную иерархию). В 1864 г. за отказ дать обязательство воевать с Россией турецкое правительство лишило их казачьих привилегий. Некрасовцы на Майносе, сохранив донсковоновские обряды, находились в каноническом подчинении Константинопольскому патриарху.

Первоначально напечатано в книге Т. И. Филиппова «Современные церковные вопросы». Текст печатается по: «Сборник Тертия Филиппова». С. 210—211.

О нуждах единоверия.

(Читано в собрании С.-Петербургского Общества любителей духовного просвещения 18 января 1873 года).

Текст печатается по: «Современные церковные вопросы». С. 271—303.

¹ Скриж., ч.1. С. 644—648.

² Допол. к Акт. Ист. Т 5, С. 483—488.

³ Там же. С. 485.

⁴ Там же. С. 458—467.

⁵ Имеются в виду высказывания старообрядческих лидеров времен раскола, протопопы Аввакума и Лазаря, которые, выступая против никоновских новшеств, стали со временем выступать и против всей Церкви.

⁶ Собр. постановлений по части раскола. Кн. 1. С. 35.

⁷ Христ. чтение. Май 1872. С. 46.

⁸ Доп. к акт. истор. Т 5. С. 505—506.

Три замечательных старообрядца

Текст печатается по: *Т. И. Филиппов*. Три замечательных старообрядца. СПб., 1899. С. 3—36.

В этой небольшой брошюре, полный текст которой полностью приводится в данном сборнике, Филиппов не только показал те проблемы и трудности, которые существовали в его время в церковной жизни, но дал яркую характеристику тем деятелям старообрядчества, с которыми ему приходилось встречаться.

¹ Речь идет о Блаженном Августине (354—430 гг.), епископе города Иппон (Гиппон), одного из западных отцов Церкви.

² Иероним (Стридонский) (342—420 гг.) — богослов, переводчик Библии на латынь, память в Православной Церкви 15 (28) июня.

³ Речь идет о попытках покушения на императора Александра II во время поездки на юг и на Садовой улице в Петербурге.

Предисловие собирателя песен

Это Предисловие было помещено в сборнике, составленном из 40 песен, собранных Т. И. Филипповым и гармонизированных Н. А. Римским-Корсаковым. Текст печ. по: Сборник Тертия Филиппова. С. 212—220.

¹ Сергей Михайлович Ляпунов (1859—1924 гг.) — известный композитор, пианист и дирижер, собиратель и аранжировщик русского музыкального фольклора, друг и единомышленник Т. И. Филиппова.

**Речь, произнесенная в заседании Православного
Палестинского общества 2 декабря 1882 года
вице-председателем общества Т. И. Филипповым**

Впервые опубликовано в журнале «Гражданин». 1882. №№ 100 и 101, печатается по: Сборник Тертия Филиппова. С. 221—238.

¹ Дождь шел по Провидению, чтобы христианство было в высшей степени греческим (*фр.*).

**Речь, произнесенная на обеде 21
мая 1885 года по случаю открытия
памятника М. И. Глинке в Смоленске**

Первоначально вышла отдельной брошюрой (СПб., 1885 год). Текст печ. по: Сборник Тертия Филиппова. С. 239—240.

**Воспоминание о графе Александре
Петровиче Толстом**

Впервые опубликовано в журнале «Гражданин», 29 января 1874 года, (№ 4)., С. 108—113.

Воспоминания Т. И. Филиппова о жизни и деятельности графа Александра Петровича Толстого, в 1856—62 гг. возглавлявшего Святейший Синод, могут быть интересны также и тем, что здесь перед читателем предстает образ священника Матвея (Матфея) Константиновского, который знаменит своим знакомством с Н.В. Гоголем. Кстати, о Матвея упрекали в том, что именно под его влиянием Гоголь сжег 2-й том «Мертвых душ». На самом деле все обстояло иначе.

Вот как об этом рассказывает протоиерей Феодор Образцов, воспроизводя по памяти разговор Тертия Филиппова и отца Матфея:

«Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь 2-й том «Мертвых душ»? – «Неправда и неправда... Гоголь имел обыкновение сжигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстанавливать их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов 2-й том; по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписаниями: Глава, как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было надписано: глава I, II, III, потом, должно быть, VII, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал... Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями» (*Образцов Ф.*, протоиерей. О. Матфей Константиновский, протоиерей Ржевского собора. По моим воспоминаниям // *Тверские Епархиальные Ведомости*. 1902. № 5. 1 марта. Часть неофициальная. С. 138—139 // *Владимир Воропаев*. Протоиерей Матфей Ржевский. «Русская линия», 11.04.2008).

¹ Александр Гумбольдт (1769—1859 гг.) — немецкий путешественник, географ и естествоиспытатель, иностранный член Петербургской Академии Наук, совершал научные путешествия по России.

² Жозеф де Местр (1753—1821 гг.) — французский христианский философ и писатель, в 1802—1817 гг. жил в России.

³ Капо-д-Истрия (правильно — Иоанн Каподистрия) (1776—1831 гг.) — российский дипломат, граф, грек по происхождению, в 1827—1831 гг. был правителем только что освободившейся от турецкого ига Греции. Был убит в результате инспирированного Англией переворота в Греции.

⁴ Поццо ди Борго, Шарль Андре (1764—1842 гг.) — российский дипломат, по происхождению корсиканец, после Французской революции в 1794 году эмигрировал в Россию и поступил на русскую службу. Был послом России во Франции и представителем на Венском конгрессе.

⁵ К сожалению, продолжения не последовало. Вероятно, причиной этого был уход с поста редактора «Гражданина» в апреле 1874 года Ф. М. Достоевского, а также напряженные отношения Т. И. Филиппова с князем В. П. Мещерским. Вторая часть «Воспоминаний» осталась в рукописи (См. ГАРФ, ф.1099, оп.1, ед.хр. 74).

А.В. Горский

Читано на заседании С.-Петербургского Общества любителей духовного просвещения и первоначально напечатано в «Журнале Министерства Народного просвещения». 1875. Ч. 182, ноябрь. Текст печатается по: Сборник Тертя Филиппова. С. 278—286.

¹ В оригинале текст приведен по-гречески.

² Честная слава его имени проникла и за пределы родной земли; оно было знакомо и на православном Востоке, несмотря на ваше бедственное разобщение с ним, вследствие несчастно сложившихся исторических обстоятельств (*греч.*).

³ Срезневский Измаил Иванович (1812—1880 гг.) — академик, выдающийся русский филолог-славист.

О деятельности и литературных заслугах Н. Ф. Щербины

Читано в заседании Славянского Благотворительного общества 27 апреля 1869 года и напечатано в книге «Первые 15 лет существования С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества». СПб. 1888 г. С. 11—14. Текст печ. по: Сборник Тертя Филиппова. С. 287—293.

¹ Николай Федорович Щербина (1821—1869 гг.) — русский поэт.

² «Весть» — газета крепостников-конституционалистов, требовавших ограничения самодержавия в интересах дворянской олигархии.

³ Противоположности сходятся (*фр.*).

Памяти И. Ф. Горбунова

Первоначально напечатано в «Новом Времени». 28 декабря 1895 г., № 7123. Текст печ. по: Сборник Тertia Филиппова. С. 294—297.

¹ Груз, тяжесть; заряд (*фр.*).

Речь, произнесенная Государственным Контролером в общем собрании Государственного Совета 29 декабря 1890 года

Печатается по: *Филиппов Т. И.* Речь Государственного Контролера в общем собрании Государственного Совета 29 декабря 1890 года. СПб., 1891. С. 1—13.

Переписка Т. И. Филиппова с К. Н. Леонтьевым

Впервые опубликовано: *Нестор*, 2000, № 1. С. 166—204 (Подготовка текста, вводная статья и комментарии О. Л. Фетищенко).

¹ Газета «Восток» издавалась в 1879—1886 гг. Н. Н. Дурново. Т. И. Филиппов предлагал К. Н. Леонтьеву принять участие в работе газеты.

² Михаил Константинович Ону (1835—1901), первый драгоман (переводчик) русского посольства в Константинополе, позднее Чрезвычайный посланник в Афинах.

³ Иоаким III (в миру Христо Деведжи; 1834—1912) — Вселенский Патриарх в 1878—1884 и 1901—1912 годах.

⁴ Образ из гимна « с нами Бог», восходящего к пророку Исайе.

⁵ «претерпевшие до конца»... — Мф. 10: 22.

⁶ Марин Стоянов Дринов (1838—1906), Любен Стойчев Каравелов (ок. 1834—1879) — болгарские общественные деятели, либералы по своим взглядам, сторонники прозападной ориентации Болгарии.

⁷ Марко Димитров Балабанов (1837—1921), болгарский политический деятель и писатель.

⁸ Преосвященный Алексей (в миру Александр Федорович Лавров-Платонов; 1829—1890), преподавал каноническое право в Московской духовной академии; викарий Московской епархии, епископ Можайский, затем — Таврический и Симферопольский, с 1885 г. — епископ Литовский и Виленский (с 1886 г. — архиепископ). Епископ Алексей был одним из близких Филиппову русских иерархов.

⁹ Речь идет о славянофильской газете «Русь», издаваемой Иваном Аксаковым.

¹⁰ В католицизме антипапами называют тех пап, которые не были официально признаны католической церковью.

¹¹ от камня сего воздвигнуть чада Аврааму... — Мф. 3:9; Лк. 3:8.

¹² Кто уразуме ум Господень, или кто советник Ему бы[с]ть? — Рим. 11:34; 1 Кор. 2:16.

¹³ Известные в XIX веке гомеопаты.

¹⁴ Речь идет о философе Владимире Соловьеве (1853—1900). Его философия отличалась эклектизмом, смешением православных положений с мистикой и западными, в первую очередь немецкими шеллингианскими воззрениями. Проповедовал утопическую «теократию» и «Соединение церквей». Соловьев позднее совершенно отошел от чистоты православия и оказался в творческом тупике. Но в 1885 году Соловьев еще был вполне православным человеком и находился в дружеских отношениях с Филипповым.

¹⁵ Тем более, несколько (*церк. сл.*).

¹⁶ «творити пакость три лета и пол»... — Откр. 13: 5. Здесь намек на К. П. Победоносцева, обер-прокурора Святейший Синода.

¹⁷ «...юже стяжа кровию Своею» — цитата из ирмоса 3 гласа «Утверждение на Тя надеющихся...»

¹⁸ Речь идет о Марии Ивановне Бологовской, дочери философа-славянофила И.В.Киреевского.

¹⁹ Гиляров-Платонов (1824—1887) — видный философ, экономист и публицист национального направления. С 1867 года издавал газету «Современные Известия».

²⁰ «сущца иже во оце брата твоего»... — Мф. 7: 3; Лк. 6:41.

²¹ Ироническое обозначение последователей Феофана Прокоповича (1681—1736), церковного деятеля времен Петра Великого, при котором церковь оказалась подчинена государству.

²² наступлю на аспида и василиска и поперу льва и змия — Пс. 90:13.

²³ «звероуловлен быти»... — слова из второй молитвы ко причащению Св.Тайн св. Иоанна Златоуста («от мысленного волка звероуловлен буду»).

²⁴ Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1895) — крупный ученый- математик и предприниматель. Был членом совета министерства народного просвещения, член Государственного Совета (о чем и говорится в письме), в 1887—1892 гг. — министр финансов.

²⁵ Эраст Кузьмич Вытропский (1829—1913), послушник Оптинского скита, письмоводитель св. преподобного Амвросия Оптинского.

²⁶ Филофей (в миру Тимофей Григорьевич Успенский (1808—1882), митрополит Киевский и Галицкий в 1876—1882 гг.

²⁷ uncs resignation mulancolique — унылое смирение (*фр.*).

²⁸ Речь идет о сотрудниках изданий Каткова. Николай Николаевич Воскобойников (1839—1882), публицист, с 1875 г. помощник главного редактора «Московских Ведомостей»; Сергей Александрович Петровский (1846 — 1917), публицист, после смерти Каткова — редактор-издатель «Московских Ведомостей».

²⁹ Укрепитесь, руке ослабленыя и колена расслабленая (Ис. 35: 3).

³⁰ Антон Семенович Будилович (1846—1908), филолог-славист, ординарный профессор русского и церковно-славянского языков Варшавского университета, публицист патриотического направления.

³¹ Пазухин Алексей Дмитриевич (1845—1891) — государственный и общественный деятель, один из теоретиков контрреформ, инициатор введения института земских начальников. Статья Леонтьева «Над могилой Пазухина» стала одним из самых значительных произведений Леонтьева.

³² Леонтьев перечисляет болгарских политических деятелей. Александр Баттенберг (1857—1893), болгарский князь, правивший страной в 1881 — 1886 гг.; Фердинанд I Кобургский (1861—1948), болгарский князь; в 1908—1918 гг. — царь Болгарии; Стефан Николов Стамболов (1854—1895), в 1887—1894 гг. — министр иностранных дел и глава правительства Болгарии.

³³ Николай Карлович Гирс (1820—1895) — министр иностранных дел в 1882 — 1895 гг., Николай Павлович Шишкин (1830—1902) — дипломат, член Государственного Совета, статс-секретарь.

³⁴ Граф Дмитрий Алексеевич Капнист — русский дипломат; в 1882 г. — первый секретарь посольства в Константинополе.

³⁵ Иосиф Иосифович Колышко (1861—1938) — писатель, журналист; речь идет о его книге «Парижская выставка 1889 года» (Спб., 1889. С. 402—405).

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
О началах русского воспитания	25
Записка о народных училищах	39
Не так живи, как хочется	81
Несколько слов о несторианах.	115
Приветственное слово Сербскому митрополиту Михаилу, произнесенное в заседании Славянского комитета 26 октября 1869 года	140
Ответ Сербского митрополита на речь Т. И. Филиппова	145
Краткое сказание о житии святых Кирилла и Мефодия, Просветителей Словенских	146
Решение греко-болгарского вопроса	149
Письмо к Ивану Федоровичу Нильскому	201
Признавательное приветствие единоверцев Вселенскому патриарху Иоакиму III	241
О нуждах единоверия	244
Три замечательных старообрядца	283
Предисловие собирателя песен	311

Речь, произнесенная в заседании Православного Палестинского Общества 2 декабря 1882 года вице-председателем Общества Т. И. Филипповым	320
Речь, произнесенная на обеде 21 мая 1885 года по случаю открытия памятника М. И. Глинке в Смоленске	340
Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом	342
А.В. Горский	362
О деятельности и литературных заслугах Н. Ф. Щербины	374
Памяти И. Ф. Горбунова	382
Речь, произнесенная Государственным Контролером в общем Собрании Государственного Совета 29 декабря 1890 года	387
Переписка Т. И. Филиппова с К. Н. Леонтьевым	395
Комментарии	428

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (*вышел*)

Русское Православие (*выйдет в 2008 г.*)

Русское государство (*вышел*)

Русский патриотизм (*вышел*)

Русское мировоззрение (*вышел*)

Русский образ жизни (*вышел*)

Русская география

Русское хозяйство (*вышел*)

Международные отношения

Национальные отношения

Русская литература (*вышел*)

Русское искусство

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Е. Н. Сапрыкина
Корректор А. Г. Мартынова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 05.04.2008 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 17,8 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.